КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

1925

КНИГА ВОСЬМАЯ ОКТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 8

ОКТЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД


1ª ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА — ПЯТНИЦКАЯ, 71
Главлит № 45060.
Гиз № 14027. Тир. 8000.

Из Египта.

Рассказ.

С. Быстров.

I.

Деревенька наша, состоящая всего из 27 избенок, огородами спускалась к речному заливу, а гумнами притыкалась к самой опушке леса.

Из окна было видно, как растягиваясь на обе стороны, будто живая, извивалась и ползла широкая вольная река; за рекой начинался заливной луг с редким кустарником и грустными одинокими дубами. Дальше тянулись поля, небо и, как край света, горизонт...

Когда в осенние ненастные ночи черный ветер разбойно бушевал в сырых и мрачных глубинах леса, а осатаневшие от злобы река и залив сипели и свистели крутящейся пеной в своих просторных логвах, и тяжелые водяные капли-пули гулко шлепались о крышу, стены и окна, тогда все мы, крестьяне, от мала до велика, тихонько тулились по крохотным избушкам, и, повинуясь судьбе, сидели покорно, как закоченевшие жучки, приютившиеся на зимовье под одряхлевшей древесной корой, облепленной намерзшим снегом. При свете гасницы-копчушки отец, бывало, хмурый, молчаливый, пошивает хомут, густо пахнущий пропотнившимся и прокисшим войлоком, дегтем, лошадиным калом, сестра Анютка, одетая, спит поперек кровати, я в тоске валяюсь на печке, и, усиливая эту тоску, перед матерью жужжит прялка и, крутясь на нитке, чуть касаясь пола и повинуясь руке матери, танцует веретено. Делать нечего, тоска!.. Надоест лежать, слезу с печки, накину на плечи нагольный полушубок и выйду на двор. Под сараем у чана, отфыркиваясь, лошадь хрупает корм, где-то на конце деревни, сливаясь с шумом леса, чуя волка, горько лает собака, из-за реки доносится слабый, колеблющийся гул церковного колокола, отбивающего ночные часы... Дождь... дождь... дождь... Ко мне подходят и ласкаются мокрые собаки.

— Игрун, вузы-вузы... — пытаюсь я для потехи притравить собак. — Вузы, Игрун!.. Но собаки, виляя хвостами, еще ласковей пристают ко мне.

Дамка в темноте подает мне лапу, пачкая мокрой грязью руку и рубаху. Тогда я отталкиваю собак коленом, запираю дверь на засов и, шлепая грязными босыми ногами по земляному полу сеней, иду в избу. Проходя мимо отца, я гляжу на него, он — на меня.

— Что же, Пашка, ужинать, что ль, будем? — говорит он, сурово оглядывая меня с головы и до ног.

— Ужинать, так ужинать... Мне все равно: ужинать, жить, спать...

Подойдут весна и лето, и мы с товарищами, как молодые лисенята, зорко рыскаем по низинам леса, по древесным дуплам, разбивая об стволы берез голых воробьят, стараясь больше оставить на шелковистой белизне березовой коры кровавых пятен; потом в реке ловим рыбу, купаемся, или, рассыпавшись по влажно-душистому лугу, рвем и едим щавель, купыри, сурепку...

Восемь нас ребят одногодков, жили мы, как вытряхнутые в лесу зверята, просто, жестоко, без смысла и цели. Утонул, купаясь в реке, наш товарищ Мишка Негодяев (осталось нас семь!). Два дня смотрели мы на это место не со страхом, а с куриным удивлением, потом забыли и продолжали купаться по-прежнему. Проезжавший на сытенькой лошадке урядник разбил за что-то рожу Петрухе Парамонову, и мы смеялись над тем, как Петруха, сорвав у плетня лопух, обтирал им кровь и, глядя на окровавленный лопух, уныло покачивал головой.

Учиться ходили за реку, в село, за пять верст. Зимой, когда рассветало, мы в обтрепанных нагольных полушубчишках или зипунишках с толсто обмотанными от тяжевых онуч ногами, с синими холстинными в виде конверта с пуговочкой для застежки сумками через плечо, звонко скрипя лаптишками по снегу, медленно тащились по сдавленной морозом за ночь дороге, а за нами бежали собаки, обнюхивая невидимые пахучие пути и бросаясь в сугробы за брошенными кусочками хлеба. Нашему учителю, семинаристу — жадюге до денег, малорослому, коротконогому, сутулому от полноты, зиму и лето ходившему в теплом, промучнившемся пиджаке, мы, видимо, очень мешали, потому что, ощерив мелкие, сплошные, нечистые от пищи зубы и сердито царапая пушистую лысину, он все поглядывал в окно на двор и недовольно покрякивал; иногда уходил с урока. Кроме надворного хозяйства, состоящего из бродивших по двору грязно-розовых свиней, кур разных пород и четырех серых коров, он держал пасеку с пчелами и был пайщиком в одной из ветряных мельниц. Заречных ребят он не любил и называл нас зверилами.

Походив одну зиму, я бросил школу, и тогда моим учителем сделался отец.

Еще мальчишкой, живя в селе, он прислуживал в алтаре и потому в народе слыл за религиозного человека. Этим мнением отец дорожил. Нервный, желчный, но угрюмый, он ходил обычно с опущенной вниз головой, поддергивая плечами и сам с собою разговаривая. И вдруг, бывало, поднимет голову, желтые, колючие глаза его заиграют, загорятся, воткнутся в тебя, зашевелятся ноздри, думаешь, вот-вот заорет, затопает

ногами, бросится на тебя... Глядишь, а он, уже тихий, потухший, только скажет:

— За кормом в рыгу надо бы сходить...

Скажет и закатится длинным, скрипучим кашлем. Прокашлится и, отдуваясь, прибавит:

— Да... допрежь всего к господу-богу прибегать следует...

Но иногда он расшевеливался, и тогда речь его, развязная, самодовольная, но какая-то хрупкая и фальшиво-вдохновенная, увлекала меня, и яркие образы речи крепко застревали в памяти. От отца я узнал, что самое главное в жизни — бог, наша жизнь — не наша, а богова.

— Бог, он добрѐ грузён, — вдохновенно выкрикивал он, очевидно, много вкладывая в слово «грузён», — грузен и «от века до века» не смеется... И сын тоже не смеется, а дух святой и подавно: птице не положено смеяться. На то и бог-птица, чтобы не смеяться!.. И все они очень сурьезные, и шутить с ними не моги. Захотелось, к примеру, богу теплого тела человеческого, и Авраам, не говоря худого слова, взял дрова, сына, ножик и полез на гору, чтобы зарезать и расчастовать для бога сынишку. И расчастовал бы, ежели бы не ангел. И который человек нéслух, он для господа — дьявол...

Еще узнал я от отца, что на простом, некрещеном человеке «очень много поганой коросты, и падает та короста в свячёную воду, как змеиная шелуха, потому как святая мира ей неподходяща». А когда Владимир-князь крестил в море-океане язычников, «коросты этой, очень гнойкой и толстой, не тоньше корки с переседелого в печке хлеба, в море сгрудилось до чорта: ходить, как по плотам, возможно было. А которые рыбы хватали ее, одним минтом вверх пузом опрокидывались. Даже киты околевали»...

II.

Какое уныло-горькое бытие, какая мертвая беспросветность до тринадцати лет под сенью дремучего леса, за синей сказочной рекой, вдали от страны, от людей!.. Да, «зверила»!.. Мост через реку был верст на семь ниже деревни; в лавочку, за попом, к обедне речку переплывали на самоделковых четыреугольных, как рыдваны, лодках, вычерпывая по пути грубыми деревянными ливками воду. Не доставало половецкого или татарского набегов, да спешного рассыпного бегства по лесным трущобам, кудесника с жезлом, шалашей славянских, потайных землянок...

Так жили мы, когда где-то далеко, за лесами, за горизонтами, будто сорвав разбрюзшую, со светлыми гремучими свищами плотину, грузно покатилась революция, таща в себе все, глубоко осевшее и застоявшееся.

Стáяли суровость и уныние с деревенских ликов: мужики стали хлопотливее, бабы — ласковее к мужикам, а мы, ребятишки, глядя на отцов и матерей, завертелись, загаркали звонче широкими ртами, будто сладковатого, густого бражного сусла напились перед праздником.

Откуда-то из леса, будто вынырнул, пришел пешком агитатор; собрался сход. Прибежали и бабы с сосунками на руках, а на крылечке да на лавочке

у сеней выползли со втянутыми в беззубые рты губами старушенки и глухие старики, смотревшие от солнца из-под ладонки. И так необычен был поголовный сход, что собаки, подкручивая хвосты, перегибаясь телом и поудобнее укладываясь на завальнях перед окошками, сами не зная на кого, заливались тоже необычным лаем: поглядит на народ, поднимет вверх морду, повякает, повякает и маленечко подвоет; потом зевнет до боли в челюстях, вовякнет и примется за блох.

Агитатор и читал по газете и говорил осипшим голосом, а мужики выкрикивали:

— Правильно!..

— Это тебе мы могём!..

— Чего уж?.. Худо ли?..

— В нас, паря, не сумлевайся: и печенка, и мозги, и всякая часть на своем месте: не окривели...

— Во-во!.. Загребай, значит, поглубже, с тинкой чтоб, с ракушками!..

Потом, слышу, заговорил отец:

— Православные! Людюшки! Значит, восчувствовал господь. Земным царям он не потатчик: хоть сам и царь, а других не любя. Не могут, значит, два медведя в одной берлоге обретаться. Я так чаял: в Египте, мол, родились, в Египте и сдохнем, а выходит обратное. К весне, стало быть, всякая живность оживает, а теперь — и человеческая.

Опьяняемый одобрительным и живым гулом родной толпы, он много говорил, раскидывая слова, как семена по пашне.

— Заиграем, родимые! — закричал он, потрясая кулаками, и слезы покатились из глаз по задергивавшемуся лицу. — Заиграем, зацветем, яблоков румяных народим...

Оборвался, закашлялся и, замахав рукой, отправился в избу. А когда отошел кашель и сам он поуспокоился, то сказал:

— Чего зевать-то? Лес под боком. Надо избу новую ставить.

И огласился лес стуком, ревом от падающих дерев, криками...

Вместе с другими мы нарезали, навозили, нашкурили лучших хлыстов на избу, заготовили дров, лык под поветью навешали годов на двадцать...

Сразу всем понравилось и прижилось, как дома, случайно занесенное слово «буржуй». Бабы и девки уж злобно косились на проезжавшую без кучера в черной плетеной тележке с медными ободками по краям лесничиху в белой шляпке, со свернутым сиреневым зонтиком, называя ее буржуйкой-вертихвосткой. Но заглавной буржуйкой-верховодкой они считали попадью, которую видели только в церкви в черной, шелковой тальме.

Пришел Никитка Рыжов из училища и заявил, что больше учиться не желает.

— Почему так? — спросил я.

— Да что ж? Ивана Иваныча сверзили (туда ему, гладкому буржую-мучнику, и дорога), а новая-то, Клавдия Петровна, должно тоже за буржуев стоит: уж добре мудреные урки стала придумывать: как орех осенний — не раскусишь.

— Все они, дьяволы, такие, — сказал я совершенно серьезно, как взрослый, убежденный, что так должно и по-другому нельзя говорить.

— Дала, проклятая, задачку, «решай» — говорит, — продолжал Никитка. — Почитал я, вижу, труднящая-раструдняшая. «А ты-то, — говорю, — зачем?» И-их, как она на меня, как коза, ногами затопает... «Я, говорит, учительница, а ты, говорит, ученик, и я тебе уроки могу задавать, а не ты, а ты, говорит... ты, говорит, должон меня, учительницы, слухаться». Склал я книжки в сумку, «прощевай», говорю, и пошел. Я иду, а она на меня глазами ляпает...

— Другого не остается делать, — сказал я все так же серьезно. — И я бы то же сделал, — прибавил я, довольный, что мы оба не будем учиться.

Еще я заметил, что все — мужики, бабы и даже мы, ребята, — потому ли, что очень были заняты или удовлетворялись сходами и «митинками», реже ходили в церковь, меньше говорили и думали о ней, и, чего раньше никогда не было, по праздникам, во время обедни мужики выделывали срубы, а бабы, не взирая на гул колокола, полоскали белье на реке.

— Аксинья, ведь грех, — говорила какая-нибудь старушка.

— Чего ж грех? Своей церквы нет, а приходская далеко, — просто и бойко отвечала Аксинья, размеренно приседая под тяжестью мокрого белья, навешенного на оба конца хлуда.

— Ничего не поделаешь, коли неколи, — отвечали на то же замечанье мужики.

Однажды, после тихого и таинственного схода, отец запрег лошадь в телегу и с другими мужиками поехал куда-то за барским добром.

III.

Отец уехал, рано позавтракав; день тянулся длинно, томительно... Солнце спряталось за лесом, покрыв деревню широкой, прохладной тенью; уж пригнали стада, и над рекой тонко запищали кулички, но ни отца, ни мужиков не было. Не случилось бы несчастья... Правда, «леворюция» мужиков любит, но кто знает: распределяя, кому, что и где взять, нечаянно толкнет кого-нибудь страшной ножищей — и дух вон!

Вместе с Никиткой (одному было страшно!), с которым мы очень подружились с тех пор, как он бросил учиться, отправились мы в лес встречать мужиков с «добром».

Обходя сосновые шишки и острые сухие сучья и осторожно ступая босыми ногами по скользкой, хрустящей хвое, мы пересекли «Старый бор» и выбрались целиной на длинный, покатый книзу просек, по которому вилась бледно-желтая песчаная дорога и торчали межевые островерхие с черными цифрами на стесах столбы. Между двух стенок мелкого осинника и березника было далеко видно. Уставши за день от работы и беганья, мы покойно расположились у дороги — я бессознательно закапывал грязной, потрескавшейся от «ципок», ногой песчаную колею дороги, медленно продвигаясь по колее

вверх, Никитка строгал складным ножиком палку. Разговор зашел о революции.

— Как, по-твоему, Никитка, ходит она по земле или не ходит... еще как?

— Как ходит? — очевидно, не поняв меня, спросил Никитка. — Ходит народ, — просто продолжал Никитка, — ходит и буржуёв бьет... где не боится.

— А кто такая «Леворюция»? — спросил я.

— Буржуёв бить, — подумав, ответил Никитка, — а самим жить.

— А кто буржуй?

— Буржуй-то? Богатые люди.

— А почему говорят: бить буржуёв, а не богатых?

— Можно и так говорить.

— Буржуй... буржуй... — забормотал я про себя, не слушая Никитки. — Бур-жуй... жуй, жуй... А знаешь, Никитка, они буржуями потому называюся, что много и сладко жуют, как свиньи... Свинья как? Влезет передними ногами в корыто и хрюлом: бур-бур-бур... буркает, а потом жует. Вот и выходит: бур-жуй! Ты как думаешь, Никитка?

— Все может быть.

— Только свинья, Никитка, не жует, а чавкает.

— Почему не жует? Жуё-от...

— Лучше бы прозвали: бурчавки, а не буржуй.

Прождав до темной зари, мы вернулись в деревню.

IV.

Против Никиткиной избы, крайней в деревне, через дорогу, на свежих сосновых бревнах сидели: Евтюха, Никиткин отец, высокий, сухой и согнутый мужик с рыжей, узенькой бородкой, загнутой под подбородок, и Василий, толстенький, маленький, черненький, до страсти любивший поговорить и считавшийся самым бестолковым мужиком на деревне. Оба были в белых рубахах, разутые и без шапок.

— Куда ж он таперь делся, бог-от? — как-то радостно и рассыпчато говорил Василий: — сколько годов был, был, а таперь вдруг оборвался: нет.

— Стало быть, нет, — резко ответил Евтюха своим тонким, пискучим голосом. Очевидно, Василий уж давно надоел ему своей назойливостью. — Тебе, Вася, хоть говори, хошь нет: как каныш: бла-бла-бла, а без всякого понятия. Объяснял тебе: выдумали его, а ты с начала...

— С начала, — самодовольно усмехнулся Василий и, нисколько не обижаясь, продолжал: — Богом весь свет, Евтей Иваныч, стоит. Сказано: «света от света, бога истинна от бога истинна»... А ты говори-ишь!.. Без него, Евтей Иваныч, сонца и месяц с стоянки своей сорвались бы, и нас небом, все равно блюдом голубым, придавило бы. А ты: бога нет! Уж добре горазд ты на выдумки, Евтей Иваныч.

— Ты, Вася, не обижайся. Я тебе так скажу: кряковая утка куда умственнее тебя,—еще тоньше запищал Евтюха, встал и через дорогу пошел в избу.

— Э-эх! — горько протянул оставшийся один Василий. — Мужик, кубыть и обряжен и все, как есть, а вовякает, сам не понимает что.

Кряхтя и опираясь руками на бревно, он поднялся, сердито плюнул, выругался матершиной и пошел вдоль по порядку, бормоча:

— Ну, и полоумный народ теперь стал...

Бога нет!.. Бога может и не быть... Из другого тела, с другими глазами и ушами, с ноющим где-то в середине сердцем стоял я на мягкой теплой пыли дороги и смотрел вслед уходящему Василию. А белая церковь, а троица с березками и травой, а колокольный звон?.. За горизонтом, на краю света, есть черный обрыв, за обрывом — темнота... Без бога отец сорвется с обрыва и — пропал... Сердце сжалось у меня от тоски, как в прошлом году, когда отец заболел, его пособоровали, и мать плакала, а соседки слезливо жалели меня и Анютку, как сироток.

Придя в избу, отяжелевшим телом сел я на лавку и, повернув голову, стал смотреть на божницу с тремя иконами, изображающими Христа и богородицу в киотах и фольговых ризах и бумажного, наклеенного на доску Пантелеймона с ларчиком и ложечкой. Все три они стояли тихо, неподвижно, как разложенные по столу деревянные ложки, коврига хлеба с ножом и в виде креста деревянная солонка.

«Бога нет!.. Это не бог, а образ, — думал я про себя. — Бог живет на небесах, в раю, где растут райские деревья с золотыми и румяными яблоками... Бога нет!.. Но... но как же рай с деревьями, для которых нужна земля, как же он не сорвется с неба-воздуха? Может, они растут без земли? Без земли засохнут... Бога нет!..»

Тихий, необычно усталый, углубленный в себя, я лег навзничь на лавку с согнутыми коленками в ожидании приезда отца и ужина, и продолжал размышлять. Бога нет!.. Вообразив передний угол без образов, я почувствовал в душе какую-то пустоту. Потом я посмотрел на лоханку с помоями у судней лавки и представил себе угол без лоханки — та же пустота в душе.

— Что-то чуднò, — вдруг сказал я вслух.

— Чего ты, Пашка? — спросила мать, обтиравшая сырой тряпкой ручки рогачей.

— Мамака, скажи: бог есть или нет? — смело спросил я.

— Ооой, — испуганно протянула мать, глядя на меня и опуская рогач. — Да что-й-то ты, Пашка, очумел, что ли?.. Кто табе мог такую страсть-то сказать?

— Евтюха говорит — бога нет, а Василий отстаивает...

— Да ты их, Пашка, не слухай. Евтюха, он не простой человек: с пенька, с испокон века отрошник. Ты лучше помолись господу-богу. «Царица, мол, небесная, матушка-заступница, вразуми меня, дите малое, неразумное»... Помолись и спать ложись.

Наступила ночь, а отца все не было. Забеспокоилась и мать. Так и легли спать без отца.

Приснилась мне широкая бледно-зеленая равнина, без кустика, без деревца, изрезанная мутно-синими речками, с стоячими озерами. Сижу я у покрытого увядшим дерном шалаша против потухшего костра, затянутого бледно-серым пеплом, с двумя воткнутыми в землю рогульками по сторонам. Небо дымно-синее, тяжелое, низкое... И вижу я, летит на меня над землей и под реками громадного роста Христос, такой, каким я его знал по церковному образу вознесения перед кануном. Развевая одеждами, он летит очень быстро, и мне страшно от этой быстроты... Глядь, передо мной уж не равнина с Христом, а навозная куча на огороде; на куче сидит грач. Раскрыв розовый внутри рот и виляя копьевидным языком, он тяжело дышит от жары, косится на меня синим бессмысленным глазом... Сейчас он прыгнет боком и клюнет меня в нос. В испуге я проснулся. Отец, стоя на середине избы, в синих набойчатых портках и рубашке, разутый, весело говорил:

— Вставай, Пашка: подсоблять пойдем.

— Ты чего, батяка, привез? — спросонок заговорил я, торопливо слезая с печки.

— А вот пойдем, увидишь,—ответил отец, и самодовольно почесывая подмышками, пошел из избы.

V.

Под поветью сарая, где из дырок соломенной крыши отдельными хорами в гнездах сочно чиликали молодые воробьята, стояла телега с поднятыми на перекладину оглоблями на случай, чтобы не обгадила скотина. На дворе уж дожидались две соседки и человек десять ребятишек, пришедших посмотреть.

Что-то громоздкое, четырехугольное и мертвое на телеге было накрыто черным, зарудневшим от грязи торпищем и опутано толстой сноповозной веревкой. Отец, как жрец при жертвоприношении, подошел к возу и стал распутывать веревку. Распутав, кольцами собрав ее на руку и повесив на передке на выступ наклески, он медленно стал стаскивать цеплявшееся за углы торпище; на телеге, спиной к наклескам, ближе к передку, лежала совсем новая серо-зеленого цвета шифоньерка с зеркальной во всю длину и ширину дверцой.

«Вот она как, Леворюция-то», — самодовольно подумал я про себя.

Все, подходя и отходя, склоняя и так и сяк головы, осматривали шифоньерку, проводили пальцами по запылившейся полировке, по гладкому стеклу и хвалили вещь. Радость и самодовольство светились в глазах отца.

— Род наш, может, ста четыре годов живет на белом свете, а такой вещи и не видывал, — говорил он, открывая осторожно дверцу. — Всякими духами барскими пахнет.

И все подходили и нюхали.

Кроме этого в задке телеги стоял какой-то желтый косой сундук с точеными в прочных тоже желтых ремнях ручками, наполненный пятью-шестью пудами крупного золотистого барского проса. Засунув руку под шифоньерку, отец достал со дна телеги золоченую пустую раму и, показывая ее всем и точно оправдываясь, сказал:

— Никто не хотел брать. Мне жалко стало, чтобы вещия такая даром пропала: я и взял. Может, оборудуем, образ вставим.

Раму и косой сундук снесли в мазанку, а шифоньерку за неимением подходящего места в избе, пока поставили в сенях, в углу. Но чтобы «вещия» не попортилась от земляного пола, подложили под нее два длинных полена.

Потом, почти весь день, приходили к нам соседи, чтобы посмотреть «важную штуку». Так как почти в каждом дворе были «важные штуки» вроде дивана, буфета, комода или необыкновенного сундука, то во всей деревне настроение было праздничное, и те, которые не поехали, теперь упрекали себя.

Отец чаще обычного ходил со двора в избу и обратно, делал вид, что не замечает шифоньерки, но, проходя мимо Анютки, клал ладонь ей на голову и говорил:

— Анютка, гожа вещия?

— Гожа, батяка...

— То-то вот, — говорил он и шел в амбар, чтобы полюбоваться на сундук, на раму.

Уж перед вечером, когда отец пересыпа́л ковшом просо из «косяка» в сусек, я спросил у него:

— А это, батяка, не грех?

— Что̀ не грех?

— Да шкаф и просо-то...

— Какой же тут грех? Ежели бы мы, положим, с тобой украли или что. Мы не воровали. На то решение мира было, обчества то-есть. Миром, паря, греха нет. Это по закону.

— А что, батяка, бог есть или нет?

— Чего, — удивился отец. — Ты у меня, малый, мотри. Сатаненок!

Он вдруг воткнул ковш в просо и, засверкав глазами, обозлился. Но мне показалось, что он обозлился затем, чтобы поддержать репутацию «религиозного» человека, а на самом деле был только удивлен вопросом, как я вчера.

— Я тебе уши оболтаю, шибалок вонючий. Моду какую взяли: отца, ни матери, ни бога...

Слово «бог» вдруг разгорячило его. Выхватив из проса за ручку ковш, он из всей силы шваркнул им в меня; ковш больно ударил меня по заду. Из амбара через подворотню я выскочил на улицу и до ночи не приходил домой. За ужином отец ничего не помянул, но сидел хмурый.

После ужина, лежа на полу, я смотрел на молящегося посреди избы отца. Громко шепча молитвы и жестко скребя ногтями в голове, он вдруг, не изменяя ни положения тела, ни выражения лица, сказал: «мать, поди

ворота-то засунь» и продолжал креститься и кланяться по-прежнему. Эти слова отца во время молитвы теперь мне очень не понравились, и я, глядя на него со злобой, осудил его.

«Тоже молится, богу верует», — злорадно думал я про себя.

Не зато я осудил его, что он, молясь, разговаривает во время молитвы (он разговаривал и раньше), а зато, как мне казалось, что «притворяется», так как в этот раз он молился дольше обыкновенного. Я отвернулся от него лицом к подпечке и не глядел до тех пор, пока не заснул.

На другой день утром я по приказанью матери носил в мешке кошку к тетке в село за реку, потом, поругавшись с матерью, лениво и долго искал проклятого телка, спрятавшегося от жары к соседям в свинятник, и поэтому вчерашнего уговора с ребятами — итти вместе на реку с удочками — выполнить не мог. Уж кончив охоту, ребята кружком сидели на берегу и пекли картошку в костре из сухого коровьего помета, когда я подошел к ним. Сидя на согнутых коленках, Гаврюшка Софронкин доказывал остальным ребятам, что образа церковные — идолы, намалеванные куски обструганной тесины, а бога, может быть, и совсем нет. Я стоял сбоку Гаврюшки и, заложив руки назад, смотрел на него. Смутное, враждебное черное чувство сначала против его слов, потом против смуглого некрасивого лица с широким седлообразным носом и торчащими вверх ноздрями, против грязной холстинковой рубахи тоской забередило мою душу. Зачем так просто и легко говорить о том, что меня томит тяжестью?

— Попы, они очень много выдумливают, — говорил весело Гаврюшка. — В одной заморской земле они заставили народ молиться быкам и кошкам...

— Не бреши, — вдруг выкрикнул я. — А то хочешь, за эти слова я тебе в морду дам?

— Чего ты, паря, расхвалился-то? — шутливо и подражая взрослым, проговорил Гаврюшка.

Но эта шутливость, показавшаяся мне неуместною, желанье смартычанничать взрослого и молчание товарищей возмутили меня. Быстро шагнув к нему, я сказал:

— Хочешь?

— Тронь, тронь, — с недоуменьем, зашевелившись на месте и сам озлобляясь против меня, сказал он.

Боясь, как бы он не встал, я размахнулся и поскорей ударил его кулаком по мягкой, теплой щеке, так что у него зубы ляскнули. И через секунду, горячо сцепившись, мы уже катались по траве, как очумевшие от злобы собачонки, подчуя друг друга кулаками, царапаясь, рвя волосы и даже кусаясь. Минут через десять обессиленный, прижатый к земле Гаврюшкой, я лежал на спине и, тяжело дыша, слабо перегибался телом и взбрыкивал ногами, а Гаврюшка, крепко держа меня за горло рукой, сердито спрашивал:

— Говори: пустить аль нет?

Я молчал.

— Пустить аль даром?

— Пусти, — прохрипел я.

На свободе я вскочил на ноги и, кружась на месте, стал искать кирпичей.

Гаврюшка, схватив свою удочку, побежал к деревне, а я, отрывая от земли сухой коровий помет, швырял им в бегущего. Ребята шли за нами.

У избы мне встретился отец.

— Где ты себе морду в кровь исцарапал, — спросил он. — С ребятами, что ли, подрался?

— С ребятами.

— Почему так?

— За бога, — сердито ответил я и нырнул в сени.

— Мотри у меня, — кинул вдогонку отец.

VI.

После Октября Евтюха — «отрошнию», по словам отца, «встрял в коммуны». Длинный, сухопарый, с бородкой, подогнутой под шею, в председателях он вдруг распрямился, быстрее и шире зашагал по дорогам на село, в волость, даже в город, опираясь на бадик и раскидывая жилистыми коленями длинные закаляневшие полы шубы. Его пискучий призыв на собраниях, «товаришши, прошу слову!», звучал, как клекот орла, уверенно и властно. «Товаришши, так от миру, стало быть, положено», — звонко кричал он, и, когда ему возражали «да мы не все с эстим согласны», он горячо свистел в толпу: «Не вы и не я, а мир... мир так ставит! Мы что? Мы — лесники... А мир-то... он — всё: без миру пропадать надоть!..».

Внимательно и молча я слушал Евтюху и со схода уходил вздыхая и жалея, что мой отец не такой. Зато отец не любил Евтюху.

— Что ж, Евтей Иваныч, ай коммуне продался, — ядовито окликал он при встрече Евтюху.

— Да уж портки целовать к Серафиму-угоднику не побегу. Это — что хошь, Максим Аверьяныч, — отгрызался тот.

— То-то, то-то, — очевидно, не зная что ответить, говорил отец.

После «разговора» о боге с отцом и драки с Гаврюшкой я чувствовал себя каким-то расслабленным, дрожащим. Хоть дружба с Гаврюшкой и Никиткой скоро возобновилась, но в этой дружбе я теперь уже занял какую-то приниженную, как будто какую побитую роль и винил в этом отца. Странно, все мы трое чутко это понимали, неожиданно для меня деликатничали и всячески старались избегать даже намеков на бывшую драку и, кажется, все трое избили бы того, кто бы нам напомнил об этом. Думается, и остальные четверо товарищей чувствовали это, так как и они молчали. А чего молчать? Лучше было бы вывалить все наружу, и все бы сравнялось. Но все мы, «зверила», почему-то молчали.

Между тем отец со мной что-то делал. Как и всегда — утром, вечером, перед и после обеда и ужина — я крестился, шептал молитвы, но это была уже не тупая вера, а надвигающееся, сознательное неверие. Почти каждое

воскресение мы всей семьей ходили в церковь. Анютка за ее хорошую молитву получила от отца новый ситцевый платок. Чаще служились у нас на дому «закатистые» молебны, и за «трапезой» после молебна отец «беседовал» с попом о падении «леригии», о необходимости поддерживать ее и духовный сан, хвалил за простоту и правильность Василия, потом надоедавшего ему своим «стрекотаньем», и, расщедрившись, послал попадье «от усердия» в 12 фунтов судака.

Хоть и тринадцатилетний, хоть и «зверило», но я понимал, что отец «притворяется», «надувается», как лягушка в басне, зачем-то баюкает себя, и все чаще и чаще при взгляде на божницу у меня вертелись в мыслях «образ и лаханка». Я и Никитка опять пошли в школу, мы уж брали в библиотеке книжки.

Как-то по весне, бродя по лесным тропинкам, я наткнулся на перекрестке двух просеков на прозрачный родничок, обряженный в низкий дубовый срубик и защищенный от лучей солнца влажной тенью наклонившейся над ним плакучей березы. Как на хрустальной поверхности, на воде неподвижно лежал в форме конусовидной воронки ковшик из бересты, скрепленный на сдвинутых друг на дружку краях расщепленной палочкой, которая в то же время служила ему и ручкой. Достав из родника ковшик за мокрую ручку, размахнув им плавающих по верху насекомых и зацепив воды, сколько было можно, я стал жадно пить, закинув назад голову и глядя на березку. На облупившемся и будто скорчившемся от боли сухом сучке березы висело что-то вроде женской кофточки, сморщившееся и обвисшее от дождей, а пониже, на тоненькой веточке, тоже сухой, — два медных крестика на темных гайтанчиках. По народному поверью рубашки и кресты, снятые с больных и повешенные на дерево, передают болезнь немощного дереву: если дерево или сучок засохнет, то больной выздоровеет, если же нет, то — капут... Напившись досыта студеной и вкусной воды и бросив корчик в родник, я, пересиливая в себе чувство, похожее частью на гадливость, а частью на страх и даже ужас, взял двумя пальцами один из крестиков и потянул его вниз. Перечавревший гайтанчик неожиданно оборвался, и концы его упали мне на руку. Мысль о больном с мокрыми струпьями, сорванными и углубленными в гниющее мясо и сочащимися мутным зелено-желтым гноем и сукровицей, а также мысль об огноенной рубашке, крахмально зарудневшей от грязных серо-желтых и морщивших холстину пятен, была мне менее близка в момент прикосновения пальцем ко кресту, чем когда распавшиеся концы гайтанчика сами коснулись руки, огадив тело больше, чем холодный хвост ужа или мышонка, огадив до ужаса. Как ни жутко было, держа крестик «вверх ногами» гайтанчиком вниз, смотреть на него и думать, что вот из него что-то может по пальцам пройти в меня, я, по свойственному детям не менее, чем взрослым, упрямству, все-таки не бросил его на землю. И не только не бросил, а, набравшись храбрости, двумя пальцами левой руки взялся и за другой крестик, предупредительно отдернув руку так, чтобы разорвавшиеся концы гайтанчика уж не зацепили руки. Подержав оба крестика как убитых птиц, вниз головашками, я все же не

решился бросить их на землю. После некоторого размышления я осторожно положил их на серый, растрескавшийся от времени березовый пенек и стал мыть в роднике руки, думая, что болезнь с рук сойдет в воду и тот, кто первый напьется воды из родника, заполучит себе и болезнь. На душе стало легче.

Вымыв руки и обтерев их о подол рубахи, я поднял валявшуюся у родника лутошку, спихнул ею с сучка на травку «страшную» кофту, посмотрел на нее, представляя ее на больной девушке, чуть-чуть прикоснулся большим пальцем босой ноги к чистенькой голубой пуговочке и, обтирая об траву палец и конец лутошки, направился к деревне.

— А ведь ей-богу бога-то нет, — вдруг неожиданно для себя проговорил я вслух, взмахнув кулаком так, как Евтюха на сходах. — Бога нет и небо — воздух. И будь ты бог и расперебог, а все равно: всех звезд месяца и солнышка не сдержать, коли своей державы нет! Да-а... Не сдержать!.. А отец попадье судака послал... Лучше бы сами сварили да съели...

VII.

Напирая животом на ручку скрипучих рассохшихся граблей, отец сдвигал в сторонку с токовища растерянную и перегнившую с прошлого года солому, когда я проходил мимо нашего гумна домой. Мы оба сделали вид, что не заметили друг друга, и я, стараясь не замедлять и не ускорять шага, прошел с улицы в избу. Молоденький цыпленок, клевавший на загнетке кашу, чувствуя себя виновным, при моем появлении бросился на суднюю лавку, потом в закрытое окно, и, растерянно долбя клювом и толкаясь глупой головой в стекла, лез наружу, мечась и крича. Я поймал его, пеньковатого и теплого, и, боясь раздавить нежное молодое брюшко, выбросил через окно на завальню, куда уж, сердито кудакая, бежала белая и грязная от пыли наседка и, встряхивая перистой гривой, на навозной куче горланил петух.

Я сел на конник. Яркий луч солнца, волнуя летающую по избе пыль, горячо ложился на подоконник, с него спрыгивал на лавку, широко перелезал через покоробившийся стол из цельной доски и по грязному полу торопился спрятаться под печку, чтобы окончательно запутаться там и пропасть среди подпечного хлама. В избе колебался, то вспыхивая, то потухая, длинный массовый гул мух... Гуртом ползая по столу, они подскакивали, дрались, жужжа крыльями садились дружка на дружку, разлетались и, отряхиваясь и очищая передними ножками усики, нежились в солнечной ванне, тыкались хоботками в крохотные ямочки, шарили добычу... На полу, на окнах, на стенках, на грязном полотенце, под божницей, на потолке — везде жужжал мушиный звон.

«Нужен бог мухам или не нужен? Молятся они или не молятся» — думал я про себя. — Смешно бы было, если бы и они молились, клали ладан в кадило, пели «Ангел вопияше», носили кресты и... посылали судаков»...

Поглядев на божницу, я ощутил желанье поближе и повнимательней рассмотреть образа и поднялся с ногами на лавку. От густо засиженных мухами ликов Христа и богородицы, наряженных в фольговые потускневшие ризы и намалеванных краской цвета долго лежавшей в земле лошадьей или человеческой кости, отдавало сухой бездушной мертвечиной. У Христа с кукольными неподвижными глазами и будто литым пробором на голове над аккуратной бородкой жеманно играла жирная и самодовольная улыбка, а богородица с косящим глазком и унылой скромностью на лице зачем-то показывала ладони желтых рук; будто приросши спиной к ее животу, ни на чем сидел маленький и чистенький Христосик.

Разгоняя звенящих мух, я снял с полицы образ богородицы, перевернул его на-изнанку, кое-где затянутую пыльной паутиной с застрявшими в ней сухими, пустыми тараканами и тараканьими яйцами, поцарапал ногтем доску, тупо посмотрел и поставил на то же место.

Без всякой боязни я брал ее руками, рассматривал, ковырял пальцем — ясно, что крестики и кофточки в лесу были страшнее, чем эти, по словам Гаврюшки, идолы. Нет бога, «оборвался»...

Когда я оперся коленом на лавку, чтобы спуститься на пол, то увидел: в трещине бревна торчал нож с грязной ручкой и с облепленным мякишем хлеба лезвием. Острая мысль, не попытать ли ткнуть ножем икону и посмотреть, что из этого выйдет — заняла мое сознание. Решительно положив на стол нож, я снова поднялся на лавке и еще раз посмотрел на образа.

«Все-таки она с младенцем, — почему-то жалея икону богородицы, подумал я и, сняв икону Христа, положил ее на стол лицом кверху. — Увидим — бог это или нет»...

Нож был в руке, нужно было ударить, но я почему-то заколебался. Фальшивя перед собой, я повернул икону на-изнанку и стал соскабливать с доски паутину с тараканьими яйцами, нарочно цепляя концом ножа глубже и глубже доску. Та же самодовольная и жирная улыбка раздвигала губы Христа, когда я перевернул икону.

«Нету, нету, нету!» — думал я про себя, уж касаясь кончиком ножа губ Христа и заглушая в себе что-то словами: «нету, нету»...

Робость, деликатность, осторожность — что это было? — я не сумею точно определить. Но все время, пока я срезал у Христа губы, выскабливал до дерева его щеки, царапал глаза, потом отдирал фольговую ризу от доски, извлекая кончиком ножа мелкие, медные, как у гармоники, гвоздики, это «что-то» покалывало мою совесть.

Увлеченный холодным и жестким изуродованием иконы, а может быть и от жужжанья мух и вторившего кудахтанью курицы петуха, я не слышал, как со двора через сени вошел в избу отец.

— Ты что делаешь?

Помню только, как отец, как был, разутый и без шапки, сначала глянул на божницу, потом на стол, потом опять на божницу, на меня... Кажется, я взмахнул от страха ножиком на отца и потом бросил его к судней лавке, к лоханке... Хорошенько не припомню этого!.. Потом все смешалось

Тут был и веник-голик из-под порога, и беганье от отца по лавке, на печку, желанье подшмыгнуть под растопоренные руки, чтобы выбежать наружу, к реке, утопиться... Кажется, я кричал, как человек, которого сейчас вот-вот убьют, а на дворе на тяжелый полет курицы с сарая пронзительно крикнул петух, слышал задыхающееся звериное рычание отца... От трепанья за волосы я не чаял быть целой шее, голове, избе... Удары комлем веника по заду, а когда я вывертывался и отец своей подмышкой, как хомутовыми клещами, сдавливал мою шею, по спине были так больны, так садки, что я задыхался не оттого, что отец душил меня под мышкой, а от рвущей нестерпимой боли... Кажется, тут была сестренка Анютка, мать, может быть, соседки, телега с зеркальной шифоньеркой, накрытой заплатанным торпищем, золотистое просо... Потом что-то зазвенело в ушах, рука коснулась чего-то мокрого, потемнело в глазах, завертелось и, колыхаясь, куда-то понеслось, поплыло...

Когда уж ни на столе, ни на полу не было солнечного луча, а у ворот на улице мычала корова, вернувшаяся из стада, я очнулся, лёжа ничком на лавке, головой к печке, накрытый ватолой до шеи. В спине и заднице гудела острая и, как мне казалось, мокрая боль: нельзя было ворохнуться. Отец молча сидел у стола на коннике с опущенной на грудь головой, мать — возле меня на придвинутой к лавке скамейке, горестно подперев рукой щеку.

Очевидно, они давно и много ругались, о многом переговорили, и уж прежней горячки не было, но мать еще не успокоилась, потому что, послав Анютку отворить корове ворота и не зная, что я очнулся и смотрю прищуренными глазами, проговорила:

— Умрет парнишка, чего без него буду делать? Кто поить, кормить будет? Маялась, маялась с тобой, лядащим, у меня только и свету ночью, что Пашка. У, чтоб глаза мои на тебя, на окаянного, не глядели. Да, пра! Таких лядащих и смерть-то обходит. В позапрошлом году не издох...

— Молчи, мать, молчи, — тихо сказал отец глухим, даже хриплым голосом.

Эти слова будто подзадорили мать, и она еще громче зашумела, заругалась...

— Молчи... Я тебе помолчу. Ишь, добро какое, образ парнишка попортил... Что тебе другого-то нету, что ли? В городу на базаре, сколько хошь, возьмешь. У, пес проклятый, парнишку-то исполосовал как. Вот в больницу к доктору повезу да расскажу, чтобы все люди знали, какие отцы звери бывают...

— Помолчи, мать, не до тебя мне, — так же глухо сказал отец.

— Изувечил да и помолчи...

Я зашевелился и раскрыл глаза.

— Чадунюшка моя, чего табе, — нагибаясь, ласково заговорила мать. — Чего табе?

— Пить, — тихо попросил я, сразу почувствовав щекочущую сухоту в горле.

— Анютка, зачерпи в кружку свежей воды да дай суда,—сказала мать.

Когда я из ее рук напился, она осторожно подняла с меня ватолу. На мне не было порток и рубаха была закатана до шеи; на спине и ниже лежала сырая тряпица. Чуть повернув назад голову, я увидел окровавленный кусочек тряпки, и мне показалось, что боль в спине стала гуще, и я застонал.

— Больно, сынок, — по-матерински участливо спросила мать.

— Больно, — ответил я.

— Вот гляди и казнись, — обернулась мать к отцу. — Отец тоже... Все бы отцы такие бывали... Ты, чадушка моя, не ворошись: хуже будет, — нежно прибавила она.

Стыдясь, очевидно, меня, отец молчал. Побрызгав водой изо рта на сырую тряпицу, чтобы она не присыхала к избитому месту, и осторожно опустив ватолу, мать достала с бруса подойник и пошла доить корову. Через минуту вышла и Анютка.

Было тихо. Сквозь нарочно прищуренные веки, между ресниц, я видел отца, сидящего в той же позе. Положив левую руку на стол, а правую — на правую коленку и не поднимая головы, он сидел неподвижно. Цыпленок, что-то радостно тюкая, собирал с пола крошки и слышно наступал на пол лапкой; мухи к вечеру гудели тише, и где-то редко и боязливо сверчал под печкой сверчок. Со двора доносился голос матери:

— Тпрусь!.. Стой, стой, дурашка... Анютка, свинятник-то закутай...

Слегка подняв голову, отец поглядел на меня. От этого взгляда у меня чаще забилось сердце.

— Сынок, ты спишь? — вдруг ласково-тихим и хриплым голосом спросил он.

Я немножко помолчал и потом ответил:

— Нет...

— Больно?

Я еще помолчал.

— Больно, батяка...

Тогда отец поднялся с лавки и, испугав всполошившегося цыпленка и мягко ступая босыми ногами по сорному полу, направился ко мне.

— Вот что, сынок, прости ты, Христа ради, меня, окаянного: очумел я, не в разуме стал, — вдруг проговорил отец, опускаясь возле меня на колени.

Мне было страшно оттого, что отец сейчас поклонится мне в землю, но он на коленях подполз ко мне и, осторожно взяв меня за голову ладонями, поцеловал в щеку.

— Скажи, простишь ли? Сынок!.. — сказал он дрогнувшим от слез голосом.

— Прощу, — проговорил я, чувствуя и слезы на глазах, и то, что мы понимаем друг друга, и что без отца мне и жизнь будет не в жизнь.

— И на кой дьявол сдалась нам эта деревянка самая, — оживленней заговорил отец. — Это, Пашка, мудрая штука, только ты на ее без внимания

и, мотри, никому не говори, — прибавил он и встал, так как слышно было, что в сени входила мать.

Вдруг отец быстро пошел от меня к столу, потом поднялся на лавку и, взяв в углу обе оставшиеся иконы, каким-то дрожащим, лающим голосом обратился к матери:

— Мать, убери ты их отсуда к .... Убери, чтобы и духу их грибного тут не было, — вдруг страшно заорал он надорванным, рыдающим голосом и, очевидно, боясь, чтобы не расплакаться, как-то из себя выкрикнул: — И какой это дьявол их измыслил!..

Вдруг острый приступ кашля накатил на него, но он успел поднять вверх иконы и швырнуть их на пол так, что богородица подпрыгнула, как коробка, а Пантелеймон с ложечкой разлетелся на две части, а сам, спустившись с лавки, закашлялся тягучим, изводящим кашлем...

— Да что вы, ай грыбов поганых облопались!.. Перебесились, что ли, — сказала мать и, собрав иконы, вынесла их в сени.

Рассказы.

Вен. Пузанов.

I. Бацилла просвещения.

Небольшая реченка делила Репьевку на две улицы. На одной из улиц стояла изба нового руба, крытая под солому — в скобку,—Колгина Аким Палча, а напротив, через реку, стояла такая же изба, и тоже Колгина, и тоже Аким Палча — его брата.

Колгины были мужиками дюжими, рыжими. Лица их были крыты веснушками, на один манер кроены. Колгиных в деревне путали, и от этого происходило сумление общества. Мужики применялись: различали Аким Палча с бородой и Аким Палча бритого, но проходило время, первый брился, а второй запускал бороду. И снова происходило сумление.

Дорога от Репьевки до города лежала шляхом. Летом за сорок верст набьешь целый нос пыли, зимою ветер, дующий без загорожи зло и свирепо, проморозит до кишек, весною и осенью на грязном, как боров, шляху поломают колевины ступицы, порвут шлею, изобьют скотину, а потому в город репьевцы заглядывали редко — по особому случаю.

Осенью, под Николу, отмолотившись, Аким Палч, живущий у кузницы, собравшись в город, посылал свою дочь Агашку за реку к брату за поручениями, а к вечеру к Колгину с тем же приходили соседи, и на грязной бумажке огрызком карандаша Аким Палч записывал покупки: «газ, пузырь на лампу и гвозди».

До рассвета Аким Палч выехал. Ночью, как на зло, шел дождь. Дорога раскисла. Колеса вихлялись по колеям — нужно было смотреть в оба, и нужно было не опоздать к базару. Вез Аким Палч продавать в город картофель. Всю дорогу накрапывал дождь, и только когда Аким Палч подъезжал к городу, дождь стих.

На базаре было не завозно. Картофель разобрали быстро — мерами.

Поставив у знакомых лошадь, он ходил долго по базару, прицениваясь к товарам, но все забрал в кооперативе, так как цены в нем были много сходнее. Стоя в очереди, Аким Палч наблюдал покупателей и отпускаемый товар. Кооператив ему понравился — и тем, что у товаров были таблички

с ценами, и тем, что пол был посыпан песком, и тем, что подручные были быстры, вежливы и ловки в счете.

Особенно ему запомнился плакат с изображенным на нем рукопожатием и надписью «В единении — сила». Надпись эту Аким Палч одобрил.

Выехав за город, он долго размышлял о плакате — «Надпись оно, конечно... Но все же, к чему бы это...» — и пристяжную, братниного серого, подгонял:

— Но, мать твою, в единении — сила.

Вернулся домой Аким Палч поздно, уже с огнем. Поужинав и ложась спать, обращаясь к жене, сказал:

— Так-то, Машух. В единении — сила.

Словцо, раз к нему приставшее, от него не отставало, и его так и прозвали в деревне:

— Аким Палч — «В Единении Сила».

Снова в город Аким Палч — «В Единении Сила» уже ехал по первопутку на чужой подводе с поручениями от общества. О собственных нуждах помнил и поэтому вез с собой бутыль для газу. В городе он завернул в кооператив, и пока приказчик наливал ему керосину, спросил о плакате, вновь пленившем его воображение.

— Надпись эта к чему ж?

— Некогда, брат, объяснять! — сказал, торопясь, приказчик,—зайди напротив в правление, книжицу потребуй.

Выйдя из кооператива, Аким Палч — «В Единении Сила» поднялся по решетчатым чугунным порожкам правления и почти сразу напал на барышню, заведующую книгами.

— Дайте мне книжку про единение в силе, — сказал ей Аким Палч.

Барышня, переглянувшись с молодым человеком и вертанув хвостом, ушла, а Аким Палч про нее подумал:

«Тоже засматривает... а худа... один наряд только и подходящий»...

Барышня принесла стопку книг и, кладя их на прилавок, сказала:

— Рубль!

Аким Палч почесал затылок. Затем пощупал бумагу и сообразил: «Для курева подходяща, копеек на 60», — и попробовал поторговаться:

— Может, что скинете?

Но барышня твердо сказала:

— Рубль!

— Рупь, так рупь, — вздохнул Аким Палч и развязал кисет.

На улице нашло на него раздумье:

— Аль вернуть?—но, постояв немного, передумал и, сунув книги в карман, пошел к подводе.

И так было жаль денег, затраченных на книги, и от бабы совестно.

По вечерам Аким Палч теперь вздувал свет и читал, ложась с каждым днем все позднее и позднее. И по мере чтения непонятные слова принимали значение и большую осмысленность. Особенно нравилось ему жизнеописание Роберта Оуэна. И по мере чтения чувствовал, как его голова наполнялась знанием.

На его огонек приходили иногда мужики, брали книги и вслух читали:

— Шаль Жид...

Прочтя, молча клали на стол или же делали нелестные замечания о жиде. В таких случаях Аким Палч поднимал палец и рассудительно говорил:

— Оченно заслуживающий человек. Заслуживает названия даже Шаль Еврей, можно сказать, а не только что Жид!

Мужики о книгах с Аким Палчем говорить не любили, но после бабы судачили, что «В Единении Сила» стал коммунистом и переходит в еврейскую веру.

Этого вопроса коснулся и отец Савватий в своей воскресной проповеди.

— Любезная братия во Христе! — начал он, — с душевной болью я узнал, что в нашей православной пастве появилась ересь жидовствующая. Эта ересь зародилась несколько веков тому назад в древнем Новгороде и осуждена еще Всероссийским Московским Собором.

В тот же вечер о проповеди соседи передали Аким Палчу, и он сказал уверенно:

— В своей лекции я его расчихвощу!

Вечером по селу, с палкой от кобелей, ходил сторож народного дома старик Евсей и стучал под окнами:

— Петровна, дома благоверный? Пущай приходит в Народный. Аким Палч лекцию читает... Аким Палч — «В Единении Сила».

И шел к следующему двору:

— Микитич, дохлебывай да на сход. «В Единении Сила» лекцию читать будет! — и значительно добавлял: — Сурьезное обсуждение...

Мужики собирались медленно, но верно.

Собравшись, мужики покурили, побалакали о мирских делах, поматершинили, навоняли полушубками. И, несмотря на то, что в Нардоме были скамьи, сидели у стен на корточках — разминали спины. Сели на скамьи только перед самой лекцией, как только Аким Палч взошел на сцену.

Взойдя на подмостки, Аким Палч снял шапку и рассудительно прошелся по сцене, как это делал раньше ветеринар, читавший у них лекцию о сапе.

Запуская руки в карманы полушубка и что-то в них выискивая, Аким Палч начал:

— В настоящей лекции я коснусь, товарищи, о кооперативских андиалах. К примеру возьмем сельдь. У кооперативе она 20 копеек за хвунт, а у частного торговца энта самая селедка 35. Разница, значит, идет ему на

прожиточный минимум. Ежели, товарищи, мы начнем спущаться на дно текущего времени, то оттедова будут вынырять энти самые андиалы. Шаль Еврей и другие понимающие стоят завсегда за кооперативу. Вот пример: Робер Уен. Жил он в царстве аглицком. Тогда была, значит, мануфактура, которая руками... и уже зачали пущать машины. Рабочие стали гарнизоваться в союзу... соооюзууу.

Аким Палч поднес руку в большой задумчивости.

— Небось, валяй даля! — кто-то сказал из залы.

— Да дай ему одуматься! — сказал второй.

Аким Палч припомнил:

— Трень Нюон! Союзу Трень Нюон... По первоначалу энта самая союза била машины, а апосля решила открыть кооперативу. Да, кооперативу.

Аким Палч, потеряв нить рассказа, основательно смолк.

Из залы спросили:

— Забыл што-ля?

Аким Палч безнадежно махнул рукой:

— Забыл! Сегодня дело не выходит.

И его сразу окружили мужики:

— Ты, что же, мать твою туды-сюды, только народ смущать, а?

— Убить его за такую выделку, кобеля, мало!

И, надрываясь:

— Поужинать не дал, сссукин сссын...

Каждому было необходимо полезть на Аким Палча и подергать за его полушубок.

Пришел Аким Палч домой расстроенный и долго сидел на лавке в шубе и шапке, словно в чужой избе,— и вертел цыгарки.

Его же брат, возвратившийся к ужину, умыл руки и только за кашей сказал:

— А наш братец Акимка совсем того... Все село с чего-то взбаломутил. Об каких-то одеялах толковал, а потом даже не по-нашинскому заговорил. Робрен, говорит, трен-трен...

И девки-невесты фыркнули кашей.

На следующий день Аким Палч проснулся сумрачным. До завтрака возился во дворе и прямо же после завтрака пошел за реку к учителю.

На просьбу Аким Палча о прочтении лекции учитель сказал:

— Не могу, братец! Дальтонов план! Комплекс! Прочесть по книжке и разъяснить — это да!

И с того же вечера в избе-читальне начались чтения. По мере его небольшая группа крестьян, человек в десять, постепенно увеличивалась. На третий день в избе уже нечем было дышать, и курящих выставляли вон. Чтение было перенесено в Нардом и стало запойным. Через неделю крестьяне великолепно оперировали с Робер Уеном, андиалами и Трень-Нюонами. Красневшего Аким Палча били по рукаву:

— Что ж ты раньше нам толком-то не сказал, мать твою туды-сюды!

И само собою как-то заговорилось о репьевском кооперативе, и на сходе

было постановлено таковой открыть. Аким Палч — «В Единении Сила» ездил в город с приговором от схода об его открытии и несколько раз привозил из правления инструктора. В правление Аким Палч был избран единогласно и после этого собирал взносы и с хозяйственным видом налаживал в город подводы. Через месяц, около моста, на месте нейтральном, был открыт гамазей: «Рабоче-крестьянская Репьевская копература».

II. Сочувствующий старичок.

Только присмотревшись можно было что-либо видеть в клубах банного пара. Раскаленные заслонки каминки дышали жаром. От полов и скамеек пахло тяжело и неприятно — мокрым деревом. Пар давил и обжигал кожу. Вблизи у заслонок каминки от жара моментально высыхали волосы и завивались в колечки. Тянуло угаром.

Человек, розовый, со свининым задом, хлеставший себя, лежа на спине по ногам, не выдержав высокой температуры, скатился от потолка, с высоких подмостков, к двери. В парильной осталось двое: я и старичок.

Старичок этот имел ссохшиеся конечности и старчески-полное туловище, со складками на животе, как у много раз рожавшей женщины. Покрыт он был кожей-пергаментом. За каминкой гоготала мужская «упрощенная». За стеною плакали дети и кричали женщины. Звуки по банному были глухи и угарны.

— Ишь ты, как раскричалась, дырявая команда! — сказал неодобрительно старичок о женской бане. — Даже здесь и то успокоения не дают...

Он несколько помолчал.

Затем, наводя в медном свойском тазике, какие употребляются для варки сиропов, мыльную пену, сказал:

— Не долюбливаю я, мил человек, этого полку. А оттого, что много потерпел от него на веку... Вот как...

Из маленького флакончика старичок вылил что-то в мыльную пену и смешал, и от этого запахло по бане мускусом.

— Вот, что, мил человек, — обратился ко мне старичок,— потрите-ка мне спинку взаимообразно. Да трите до крови, потому она все равно не пойдет.

И, намыливая лысую голову, глухо сказал:

— В раности потерпел я от матери, можно сказать, родной... Потому, как жениться не дозволяла и наследства хотела лишить. А к богатым сватался, то нос, говорят, не такой, то хвигурой не так...

«В тридцать пять лет женился, как мать умерла. Женился, да только уж весь сок-то и прошел... И девка, кажись, скромная была, а оказалась, мил человек, такой паскудницей и пакостницей, что не приведи и бог такую. Двадцать пять лет, мразь, хорошею притворялась. А как революция вдарила, так она и оказала себя...

«В сарай пошел я лопату поискать, а она с кузнецом такие шишки выделывает, что и сказать совестно!

«— Так-то,—говорю я ей,—вы, Вер Петровна, супружескую верность блюдете. По сараям с кузнецами в обжимку стоите. Я, говорю, вас сейчас топором зарубаю за соблюдение вашей неверности.

«А Хведот меня прямо за грудя:

«— Ты, говорит, что тут контр-революцию устраиваешь? Если, говорит, ты хоть пальцем тронешь ее, дух из тебя вышибу.

«— А кто, говорю, ей хозяин?!

«— Довольно, говорит, похозяйствовал, теперь я хозяин, и без приставаниев чтоб...

«Ну, моя паскудница из своей будуары все мои причиндалы повыкинула, — и до себя не допущает, и с квартери не сходит

«А соседи меня и надоумили:

«— Ты, говорят, отрави ее, паскудницу, если так...

«— А нужно вам сказать, мил человек, что я ломом торгую в железных рядах, так я, значит, ржави и наскреб с железа старого.

«— Что это, говорит, ты, Ферапонт Ферапонтович, делаешь?

«— А то, говорю, яды произвожу, потому при паскудстве твоем яды надобны.

«И как поем, так сейчас из кармана порошок с содою будто против ядов приму.

«Так она семь ден ничего не ела и даже печь топить бросила, и к кузнецу ушла... Остался я, мил человек, с дочкой своей. В губсоюзе на машинке печатала. Живем ничего. А потом она и говорит:

«— Дай, пап, денег, а то, говорит, рожу!

«— Как, говорю, родишь, раз ты на машинке печатала.

«— А то, говорит, не утерпела я!

«Ну, сбегала она куда надо, а через месяц-два опять:

«— Дай, говорит, денег, пап, а то опять рожу!

«— Нет, говорю, девк, перебирайся от меня куды хошь на харчи, потому как у меня не родовспомогательное заведение.

«Так через неделю она к соблазнителю ушла.

«Заплутался я, что, вижу, век не расплутаться. Дай, думаю, схожу к Агееву. Человек он умственный: и библию, и Маркса превзошел, потому старыми книгами торгует.

«Прихожу, а у него девка-невеста у самого на сносях ходит.

«Ну, думаю, если и у тебя так, то это дело опчественное и каленкор другой.

«И удумал я проэкту составить и эту проэкту по параграфам разбить, чтоб блондин на блондинку не приходился и чтоб к масти одной двигались.

Старичок напустил пару, привязал к матерчатому поясу ножнички и пузырек, собрал пожитки—тазик, веник, мыло и мочалку,—и поднялся на тонких пригибающихся ножках по порожкам в белые клубы пара. Его

восхождение напоминало собою взятие святого живым на небо. С полков вслед затем послышалось похлопывание веником и старческое покряхтывание.

Упарившись, старичок промыл глаза холодной водой и, отдышавшись, начал:

— А то, скажу я вам, что хотя я и верующий человек, а за совесть стою, потому что, просуществуй Александр Федорович Керенский, мой бы дом с молотка пошел, а то долги аннулированы, и дом в отпись не подпал.

«Ну, думаю, погибает наша революция через бабий полк, потому угомону ему нет — на разврат падок.

«Удумал я, мил человек, проэкту составить, чтобы всех женщин по районам собрать и колючей проволокой обгородить и к каждой мужчину приписать. Потому, думаю, как буду организатором, все равно себя к жене припишу.

«Переписал честь по чести и в Совнарком отослал. Послал—и адрес свой проставил, а фамилию забыл прописать... Так фамилию дополнительно в заказном отсылал, потому обидно, мил человек, проэкту я составлял, а памятник другому выставят... Ну, то ли этот пакет почтальон скрал, то ли крушение произошло, и никакого тебе из Москвы известия нет.

«Ну, думаю, с местов начинать надобно. Подал я, значит, проэкту сию в губисполком, и, как неделя прошла, за ответом зашел... А председатель губа, то ли дурак был, то ли сумасшедший сам, и говорит:

«— Пойдите, говорит, мил человек, с этой проэктою в психиатрическую лечебницу, —я, говорит, вам записку дам, чтоб вас приняли.

«Ага, думаю, гидра контр-революционности в губе завелась. Сумасшедшим представить хотят!

«Ну, думаю, раз в губе контр-революция завелась, то окромя Чеки и итти некуда.

«— Подал я, значит, проэкту свою председателю самому... Дык месяц целый за нос водил. То ежеден к нему ходил, а то через неделю зачал ходить. Прихожу я раз, а у Чеки автомобили стоят, и солдат с винтовкою во внутрь не пущает, потому, говорит, пущать не велено.

«— Как, говорю, не велено, если я по важному делу пришел.

«Так альнишь специально докладывали обо мне. А во внутре бегают с бумагами и машинками по лесницам, как перебесились все. Еле толк нашел.

«— Ну, говорю, председателю, когда же будем женщин районировать?

«— Белые, говорит, наступают, а ты своей проэктою лезешь... Петров, посади, говорит, этого сукина сына на четверо суток в одиночную.

«Сижу я, мил человек, взаперти — и сразу неправильный путь взял, потому днем сплю, а ночью делать нечего.

«Ну, думаю, как узник я, так перестукиваться надобно!

«Две ночи кулаками и ногой стучал. Сопит кто-то за стенкою и ответа не подает. На третью ночь тоже стучу... Вскочил вдруг в мою камер человек ведмачем и по шеям надавал.

«— Ты, что, говорит, сукин сын, буянить удумал!.. И так, говорит, через тебя, чорта, две ночи не сплю!

«Ну, думаю, не те уж совсем порядки пошли, что в старых книгах прописаны. Вместо четырех дней, месяц целый отсидел.

«Альнишь под пасху выпустили.

«— Ну, говорят, проэкту твою прочли и катись колбасой теперь, да не пиши больше сочинениев, а то опять в Чеку попадешь...

«Много, мил человек, в ум мне проэктов входило, но все не записывал, потому обыску боялся,—сказал старичок и тяжело вздохнул. — Если бы по ним жизнь проводить, во всех бы странах давно бы революция была и для всех бы одного царя выбрали...

От каминки дышало угаром. Стучало в висках. И слова старика были, как заслонки каминки, угарны.

— Еще есть у меня проэкта одна, — произнес старичок.— Потому — в кооперативе много хозяев, нужно их на откуп частным торговцам отдать...

Мне стало не по себе.

Оставив старичка в парильной, я вышел в общую и, облившись прохладной водою, направился в раздевальную, где было светло и людно.

III. Суховей.

Отец Дрона хорошо помнил, что к селу и к его полям с трех сторон подступал лес. Зимами лес чернелся сплошным частоколом на белоснежных простынях снегов, весною дышал цветениями и травами, летом вздыхал пьяной и спелой земляникой, осенью веял бодрою грибною сыростью. И от того, что лес сохранял влагу— полноводней были ручьи и реки, обильны дожди, сочны и сытны пастбища, плодородны нивы.

Но уже при отце Дрона все дальше и дальше от полей отступали леса. Крестьянские вырубались на стройку, топливо и продажу, молодняк выбивался скотом и выкорчевывался под новые пашни, помещичьи — съедали лесопилки, казенные горели раза три в десятилетие от озорства и брошенных ребятишками костров. Леса горели, как сухой хворост, со стоном и завыванием, гудя, словно в исполинской печи, десятками десятин, до соседней просеки, покрывая Демино гарью.

На своем веку Дрон не застал уже сплошных лесов, какие видел его отец. Они оставались только отдельными островками, быстро таявшими под топорными ударами и уступающими место песчаным пространствам.

И с каждым годом, с каждым срубленным деревом уменьшалось количество дождей и увеличивалась засушливость лета. С песчаных пространств шли суховеи.

С истоков своих трудовых дней поставлен был Дрон перед лицом наступавшей пустыни. От непосильных работ и плохой пищи были у Дрона несгибающиеся ладони и по воловьи набухшие жилы. Увеличивая запашку полей и увеличивая свой труд за счет урожайности, Дрон ожидал себе по-

мощника. И с двенадцати лет его сын Федор встал вместе с отцом на борьбу с пустыней, помогая отцу в крестьянстве.

И когда стукнуло Федору пятнадцать лет и не совладал отец с пустыней, сказал ему Дрон неестественно ласково:

— Хведь. Не обернемся мы, Хведь, на хозяйстве. Нужно тебе итить с дядею Гришею, Хведь, в город на заработки... Хведь!..

И утром, на весеннем рассвете, отошел от дома сын Дрона с печником Григорием, с тем, чтобы на городских постройках носить кирпичи и месить глину. Мать бесцветными рыбьими глазами смотрела им вслед, а отец сурово и бесцельно возился с воротами.

Сыпучими песками шел золотоволосый и широкоскулый кряжистый мальчик с дядей Григорием, черным, как угольщик, смотря на одиночные деревья и чахлых безмолочных коров.

А Дрон остался один в борьбе с природою. С пустыни веяло суховеем. Солнце превращало пашню в пыль, и ветер уносил с собою плодородные частицы. С пустыни надвигался песок. Ветер его прогонял на сажень, обратный ветер возвращал на полсажени назад, и ветер снова попутный пустыни гнал вперед, кидаясь пригоршнями, барабаня по лопухам и крапивам. Три раза ранними веснами и поздними осенями приходил сын. Четвертою осенью он не вернулся из города и только весною, встретившись с дядею Гришей, снова работал с ним на постройках и снова не вернулся в село. Война пощадила Федю по молодости, но революция захватила и забурлила в своем водовороте. Ничего не понимал об его житье Дрон, получая от него скудные вести.

На третий год революции пустыня съела Дроново поле. Он постарался отстоять огороды и даже отбить под огороды кусок площади у наступавшей пустыни. Но ветер наносил песок к плетню, и ночами сыпался он через щели тоскливо и жутко.

От его шума болело натруженное сердце Дрона, и он говорил безрадостно:

— Заест... Не совлада-а-а-ешь!

И словно стонал:

— Один-н-н я...

И когда окочурилась старуха и ушла, раскачиваясь, на кладбище вперед ногами, обутыми в новые веревочные коты, Дрон, зацепив обрывком ребристую корову, ушел из родных мест на чужое дочернее житье.

Соседи на топку растащили постройки. На пустом месте только торчал из-под сарая кол. Ветер наносил свежий песок...

Жизненное русло Федора не совпало с жизненным руслом его отца. Меся на постройках красную глину, полюбил Федор в работе коллективную муравьиную силу. Поверив в знания, он не вернулся в село. Октябрь развернул перед Федором полотна жизни. Защитив власть Советов с оружием в руках, Федор поступил в ВУЗ. Упорно и кряжисто сидел он над чертежами. Но всегда и везде перед его глазами вставали песчаные пространства и дышащие в лицо суховеи. Через два месяца после ухода Дрона

на дочернее житье к родным местам явился он инженером мелиоратором, чтобы призвать пустыню к жизни: засадить лесами пески и поднять заплеванный ветрами ручей. И он был не один, инженер с мужицкими руками: за его спиною стояла республика.

Черные лепешки.

Рассказ.

Пантелеймон Романов.

Когда до Москвы оставалось 30 верст, Катерина уже не могла спокойно сидеть в вагоне. Ей казалось, что она никогда не доедет. И с каждой верстой сердце билось все сильнее и сильнее.

Вчера она узнала, что Андрей, работавший уже пять лет на заводе, сошелся и живет с другой женщиной.

Сам он ничего не писал ей и ни в чем не изменился по отношению к ней: к празднику по-прежнему присылал деньги, изредка писал письма. Говорили, что он теперь каким-то председателем и хорошо живет.

Может быть, ему ничего и не стоит посылать ей те сто рублей, которые он посылает, а остальные 400—500 с т о й проживает. И казавшаяся ей прежде большой сумма в 100 рублей теперь вдруг представилась оскорбительно маленькой.

Что ей сделать, когда она приедет в Москву? Ворваться к нему, застать его на месте, устроить скандал?..

Пусть люди видят, что он подлец и негодяй. Стекла еще побить... нарочно голыми руками, чтобы в крови были. А эту стерву за косы.

— Ах, домовой, — что наделал!.. Все эти красные ленточки... А давно ли они вместе по-хорошему жили, в лощину к речке по вечерам за травой ездили: солнце, бывало, сядет, за речкой в сыром лугу коростели кричат, с деревни доносятся в вечернем воздухе неясные голоса. Она стоит на телеге, а он с расстегнутым воротом рубашки с сухими, нажженными за день солнцем волосами на макушке поддевает вилами скошенную сырую пахучую траву и бросает ей на воз в руки. Потом он ведет лошадь в поводу, а она лежит на возу с травой, жует былинку и знает, что после ужина, усталые от жаркой работы, но бодрые и веселые пойдут босиком через двор спать в сарай на свежем сене в телеге. Зайдет гроза от бесшумно надвинувшейся летней тучи, молния будет вспыхивать в щели ворот, в свежем воздухе сильнее запахнет сеном и кумачом ее сарафана...

А теперь — другая на ее месте...

И она чувствовала, что способна сейчас на все.

Но когда она в густой толпе вышла из вокзала, она почувствовала себя потонувшей, затерявшейся среди большого города. Ей нужно было сейчас же налететь на него ураганом, высказать ему все, а тут пришлось ходить и спрашивать, как проехать на ту улицу, где он жил. Катерине показали трамвай, но она, взявши билет, не догадалась спросить, когда ей выходить, и сидела до тех пор, пока не приехали куда-то на конец города.

Пришлось обратно ехать, а потом ходить искать номер дома. Ей укажут вперед, она пойдет и все совестится еще раз спросить, а когда спросит, оказывается, что она уже прошла мимо, и приходится возвращаться назад.

Она шла, все прибавляя шагу, и только думала о том, что, пока она тут будет ходить, они из дома уйдут куда-нибудь.

Когда она нашла нужный номер дома, с огромными дверями и отсвечивающими в них стеклами, оказалось, что двери всех квартир заперты и нужно было стучать или звонить. А куда звонить, как угадать, в какую дверь к нему итти?

— Тетка, ты что тут ткаешься? — спросил ее какой-то человек в фартуке, со стамезкой в руке.

Катерина сказала.

— Нет его тут, не живет.

— Как не живет? Матушки, что ж я теперь буду делать?!

Денег у нее была одна рублевка, завязанная в уголок платка. Этого не хватит на обратную дорогу.

Но в это время вышла из двери под лестницей старушка с ведром и мочалкой и, узнав, что нужно, сказала, что Андрей Никанорыч переехал на дачу. Туда нужно ехать по железной дороге.

Катерина так обрадовалась, что нашла его след, что почти бегом выбежала из подъезда. От радости она не расспросила толком, и вышло так, что когда она приехала в дачную местность, то улицу знала, а номера дачи не знала.

Приближался вечер, заходила туча. А она бегала из конца в конец улицы, спрашивала и никак не могла найти. В руках у нее был узелок с черными лепешками. Почему она их взяла, не помнит. Ехала скандал мужу делать, а по привычке, должно быть, захватила гостинчика — черных замешанных на юраге ржаных лепешек.

Денег оставалось всего одиннадцать копеек. Место неизвестное, ночь подходит, ветер поднимается. А она с потным растерянным лицом мечется по травянистой дачной улице с высокими редкими соснами по сторонам и в отчаянии всплескивает руками, в одной из которых у нее болтается узелок с лепешками.

И в тот момент, когда, потерявшись, в последней степени отчаяния и страха, повернула в какой-то переулочек, за решеткой палисадника она увидела так знакомую, такую родную макушку с сухими волосами.

Это он, Андрей, сидел на корточках около грядки в расстегнутом френче и что-то копался в земле.

Катерина только вскрикнула:

— Андрюшечка, голубчик!..

Бросилась в калитку, и когда Андрей, удивленный, приподнялся от грядки, она обхватила его руками и прижалась головой к его груди, не в силах удержать слез.

— Глянь!.. Откуда ты? С неба, что ли, свалилась?—спросил удивленно и обрадованно Андрей.

Катерина не могла ничего ответить и только сказала:

— Испужалась дюже... Думала, совсем не найду. Целый день искала, все нету. Батюшки, куда деваться!..

И она опять заплакала.

— Да чего ты, — чудная?..

Она, застыдившись, утерла глаза обратной стороной ладони и улыбнулась виноватой улыбкой. Потом сейчас же вспомнила, зачем она приехала. Но после всего того, что произошло, когда она к нему кинулась, как к своему спасению и прибежищу, да еще заплакала у него на груди от радости, невозможно было начать скандал и перейти сразу от радостных слез к крику.

И потом она, увидев его знакомую макушку в огороде каким-то неожиданным образом, ощутила в груди такую радость, какой никогда не знала, даже тогда, когда ездили они с ним за травой и спали в сарае.

А он совсем не выказал того, чего можно было ожидать от мужа, к которому приехала брошенная жена, б а б а из деревни в кумачевом сарафане...

Она не уловила в его лице и голосе ни малейшего оттенка неприязни и раздражения: он был спокоен, так же, как прежде, сквозила чуть-чуть покровительственная ласка, в особенности когда он сказал: «Чего ты, — чудная?..».

— Ну, пойдем, самовар скажу поставить.

Он пошел вперед по дорожке к новенькому домику, окрашенному в свежую желтую краску, стоявшему около бора среди срубленных пней.

Но по дороге остановился и крикнул проходившему человеку в пиджаке:

— Иван Кузьмич, в город надо завтра послать за товаром. Я записку напишу.

И по тому, как он обратился к этому человеку и как тот, внимательно выслушав, сказал: «хорошо», Катерина почувствовала, что он и тот же умный, хозяйственный и добрый Андрей, и чем-то другой, от которого зависят люди, который распоряжается и приказывает в этом чужом, незнакомом месте, так же, как он это делал дома. И так просто и спокойно, как будто иначе это и не должно было быть.

Она подходила к домику с замиранием сердца. Он ничего ей не сказал об э т о м. Вдруг она сейчас встретится с т о ю. Наверное наряжена в платье, как барыня. Катерина невольно взглянула на свой праздничный сарафан и почувствовала, как горячая волна крови от стыда за свою деревенскую одежду прилила к щекам.

Когда они вошли в просторную комнату домика с новыми сосновыми стенами и перегородками, первое, что она увидела, — это д в е кровати.

У нее так забилось сердце, что ноги вдруг ослабели и подогнулись-было, а в горле все пересохло.

И в комнате все так было непривычно-непохоже на их избу, где они с ним жили: около окна стол, покрытый газетой, приколотой кнопками по углам, чернильница, перо, стопка книг, какие-то бумаги, наколотые на длинный гвоздь на стене. Чистые городские полотенца около рукомойника в углу.

— Помолиться-то у тебя не на что?..— спросила Катерина, чтобы не молчать.

— Да, нету, — просто ответил Андрей.

Он мыл руки, стоя к жене спиной, а потом не спеша вытирал их белым, чистым полотенцем.

А Катерина, неловко присев на первый попавшийся стул, стоявший несколько насредине комнаты, с узелком в руках оглядывала комнату, и глаза ее жадно искали признаков присутствия здесь т о й, другой.

И вдруг она увидела старенькую соломенную шляпку на шкафу...

Она поскорее отвела от нее глаза, чтобы Андрей не заметил, что она увидела шляпку.

— Ну, вот, сейчас чай пить будем, я сказал, — проговорил Андрей и стал собирать с обеденного стола газеты и бумаги.

Катерина вдруг почувствовала, что не знает, о чем с ним говорить, чтобы не было молчания. А в молчании страшнее всего чувствовалось, что между ними лежит то, о чем ни она, ни он не сказали еще ни слова.

Когда они жили дома, она каждый день говорила одно и то же: о корове, о ребятишках (их целых трое), о плохой погоде.

Она сейчас напрягала все усилия, чтобы сказать ему что-нибудь, но ничего не могла найти. Потом вдруг вспомнила про корову и обрадовалась.

— Лыска наша отелилась намедни... хорошенький теленочек вышел, весь в нее...

И при словах «наша Лыска» невольно вспомнила соломенную шляпку и взглянула. И с бьющимся сердцем ждала, что скажет Андрей.

— Весь в нее?—машинально переспросил Андрей. Он, точно что-то думая, медленно продолжал убирать со стола и складывал газеты на этажерку. И вдруг, уже с другим выражением, взглянул на жену, как бы решившись сказать о чем-то важном.

Страшная минута наступила...

— Катюша...— сказал Андрей, глядя не на жену, а в окно, — я тебе не писал, потому что это ни к чему... Я живу не один, а с подругой... Девушка она хорошая, честная... Она сейчас из города со службы приедет, ты ее не обижай. По бабам я не таскался, а... пришлось... честно сошелся, вот и все...

Катерина молча смотрела на него, не моргая, и только горло ее изредка напряженно дергалось от проглатываемой слюны.

Вот тут бы вскочить, платок с головы сдернуть, клок волос у себя выдрать и закричать, как безумной, от обиды и горя. А потом стекла побить.

Но вместо этого она, сама не зная почему, только сказала тихо:

— А я-то теперь как же?..

— Как жила, так и будешь жить... — сказал Андрей: — деньги буду посылать, в уборку помогнуть приеду.

Катерина не ответила. Слезы вдруг стали заполнять ее глаза, потом неожиданно пролились через ресницы на руки. И она не глаза утирала, а с рук рукавом стирала слезы.

— Ну, чего ты, обойдется как-нибудь... — сказал Андрей и, взглянув в окно, прибавил: — Вон она идет... тоже Катериной зовут... Катей. Утри глаза-то, нехорошо. Я ей про тебя говорил...

Катерина послушно торопливо утерла слезы.

Она ожидала увидеть женщину крупную, с белыми толстыми локтями и грудями, свежую, с белым лицом, разжиревшую на легких хлебах на ее 400—500 рублях, в то время, как она подсохла, кормя и нянча е г о детей, убирая хлеб в поле. Руки стали шаршавые, загорелые, локти, когда-то белые и круглые, заострились.

И опять жгучая ревнивая ненависть метнулась в ней темной волной от сердца в голову.

Но в это время в комнату вошла тоненькая, худенькая девушка в беленькой кофточке, короткой синей юбке и желтых стоптанных туфлях. Светлые волосы были острижены по-мальчишески и только придерживались круглой роговой гребенкой.

Она вошла и от неожиданности остановилась со связкой бумаг в руках на пороге.

«Господи, — подумала Катерина, — да что ж он в ней нашел такого?.. Грудь как доска, а заду и совсем нету»...

— Катя, у нас гости, — сказал Андрей, видя ее нерешительность и вопрос: — Катеринушка приехала.

Катя, смущенно покраснев, улыбнулась и подала гостье худенькую незагоревшую руку.

— А я и не догадалась сразу, — сказала она, опять как-то виновато и вместе с тем ласково улыбнувшись. И сейчас же, спохватившись, прибавила: — С дороги-то кушать, небось, хотите?..

— Я сказал хозяйке самовар поставить, — сказал Андрей.

— Ну, вот и ладно. Я только сейчас со службы, — прибавила Катя, обращаясь к Катерине. Она мимоходом взглянула на себя в ручное зеркало, висевшее на стене около полотенец, оправила волосы и ушла за перегородку.

Катерина все так же сидела как-то неловко посредине комнаты на том стуле, на который села, как вошла. Она не знала, о чем ей говорить и как себя держать с мужем, когда здесь, за перегородкой, была та... е г о ж е н а. У нее только против воли сказалось:

— Дробненькая какая, худенькая...

— Ничего, человек хороший, мягкий... — ответил Андрей.

Как бы что-то вспомнив, Катерина торопливо развязала свой узелочек и достала оттуда черные лепешки.

— Вот, гостинчика...

И так как в это время в комнату вошла Катя с подвязанным фартучком и черными от угля руками, Катерина невольно сказала, обращаясь к ней и как бы стыдясь своих черных лепешек:

— Вот, гостинчика вам деревенского...

Катя опять покраснела и бегло взглянула на Андрея.

— Бери, бери, — сказал тот, занявшись чем-то в углу, — ничего, человек хороший...

— Ну, зачем вы... не стоит право. — И сейчас же прибавила: — А я люблю их до ужасти? На юраге?

— На юраге, на юраге, — поспешно ответила Катерина, обрадовавшись, что девушка знает, что такое юрага..

А потом сидели втроем и пили чай.

— Иванова-то ссадили-то все-таки, — сказала Катя мимоходом, обратившись в Андрею. — Общее собрание было, шуму сколько...

— Да что ты?!. Давно пора, — ответил, оживившись, Андрей.

Он хотел еще что-то сказать, но Катя, как бы спохватившись, прервала этот разговор и, обратившись к Катерине, проговорила:

— У вас на ладонях мозоли, а у меня на пальцах, целыми днями на машинке стучу.

И Катерине хотелось что-нибудь рассказать, чтобы Андрей так же заинтересовался и оживился, как при словах Кати о каком то Иванове, хотелось рассказать, как она ехала, что видела, но не знала, как начать, и сказала только, обращаясь к Кате:

— А у нас Лыска отелилась, корова наша, целую ночь с ней не спала. Теленочек весь в нее, как вылитый...

— Я теляточек люблю, — сказала Катя.

Помолчали.

— А у меня отчегой-то бородавки на руках вскочили, — проговорила Катя.

И Катерина обрадовалась, что Катя заговорила о бородавках, так как знала средство от них — кислоту. И сейчас же начала рассказывать, как сводить, и старалась подольше говорить из боязни, что скоро кончит и больше не о чем будет говорить.

После ужина, который был для Катерины мучителен тем, что она никак не могла справиться с ножем и вилкой и все роняла то одно, то другое,— Катя убирала посуду, а Катерина думала об одном: где они положат ее спать. Небось отведут куда-нибудь к соседям, а сами останутся тут вдвоем.

Эта мысль опять подняла со дна души мутную волну ревности и обиды. Но Катя принесла откуда-то складную кровать и стала стелить третью постель в комнате.

А Катерина, подойдя к столу и развернув лежавшие на нем бумаги, посмотрела в них и сказала:

— Господи, ничего-то не понять. И как это вы разбираетесь?..

— Привычка.

Перед сном Катя выслала Андрея из комнаты. Он надел фуражку и вышел.

— Ну, вот теперь ложитесь, — сказала она с тою же застенчивой улыбкой, обращаясь к Катерине, и указала ей на свою постель, на которой только что переменила белье.

И Катерина, чувствуя, что нужно сказать что-нибудь вежливое, проговорила:

— Да зачем вы беспокоите-то себя, я бы на полу легла. Не привыкать.

— Нет, нет, зачем же!..

Катерина сняла башмаки и порадовалась, что не надела лаптей, потом скинула через голову сарафан и, стыдясь своей грубой деревенской рубахи, торопливо легла.

А Катя достала из шкапчика кислоты и, подсев к Катерине, стала нерешительно перышком мазать бородавки, а та учила ее и помогала.

Потом Катя тоже разделась. Катерина со странным жутким любопытством невольно посмотрела на ее худенькие ноги и живот, которые имели близкое отношение к ее, Катерининому, мужу. И опять у нее потемнело в глазах. «И на что же он польстился? Она, Катерина, одних помоев свиньям целую лаханку сволокет, а эта кубан с молоком не поднимет».

— Ну, вы разобрались, что ли? — послышался из-за двери голос Андрея.

— Входи, входи, — крикнула Катя.

Андрей вошел, повесил фуражку на гвоздик и, оглянувшись по комнате, сел на складную кровать и сказал:

— Огонь тушить, что ли?

— Туши.

В комнате стало темно. Слышно было, как скрипнула под ним кровать, и он лег.

Катерина, редко моргая, смотрела в темноту, в ту сторону, где была его постель, а в голове ползли неуклюжие, неумелые мысли о нем, о Кате, о Лыске...

На утро Катерина уезжала домой. Катя и Андрей провожали ее, Катя догнала их, когда они уже вышли, и сунула Катерине какой-то узелочек, сказавши:

— Ребятишкам... гостинчика...

— Ну, зачем вы беспокоитесь?

— Нет, как же, надо, — сказала Катя, и прибавила: — А то погостили бы еще?..

— Дома некому, — отвечала Катерина. А сама думала, неужели она уйдет и не поговорит с Андреем. Но что ему сказать? как поговорить? Сколько она ни придумывала, что ему сказать, все на язык почему-то подвертывалась Лыска. Привязалась эта Лыска!

Да еще думала о том, что у нее денег всего 11 копеек. Сам он даст или придется просить?..

Андрей, шедший молча, вдруг обратился к Кате и сказал:

— Иван Лукич в город едет, пойди-ка напиши записку в кооператив.

Катя поняла, что он хочет остаться один с женой, подала свою худенькую ручку Катерине и, пожелав ей счастливой дороги, пошла. А потом издали помахала платочком.

Катерина шла рядом с мужем по мягкой мшистой тропинке между редкими соснами, и, обходя по дороге пни, ждала, что, может быть, он сам заговорит с ней о самом главном. Прожили вместе 12 лет, — неужели у них не найдется, что сказать друг другу в такую минуту?

Но Андрей, дойдя до перекрестка, откуда должен был повернуть назад, ничего не сказал того, чего она ждала, и, остановившись, только проговорил:

— Ну, так ты того... если что нужно, пиши, а в уборку сам приеду помогнуть.

Он дал Катерине два протершиеся на сгибе червонца и поцеловал ее.

Катерина неловко обняла его за шею левой рукой, в которой у нее были зажаты червонцы, и тоже поцеловала его.

— Ну, прощайте пока... Лыску-то приезжайте посмотреть.

— Прощай. Приеду.

Она пошла. Отойдя на несколько шагов, Катерина оглянулась. Андрей стоял на том же месте, и видно было, что у него осталось что то недоговоренное и жаль ему было отпустить жену, ничего не сказав ей на прощанье.

Она, замерев, остановилась и вся подалась вперед.

Андрей постоял несколько мгновений, как бы ища слова, потом. махнув рукой, крикнул:

— За Лыской-то поглядывай!..

— Погляжу, — ответила, вздохнув, Катерина.

Андрей повернулся и пошел.

И когда он скрылся и Катерина осталась одна на тропинке под соснами. ее вдруг обожгла и кинулась горячим стыдом в щеки пришедшая ей мысль:

«Обстряпали бабочку... Приняли ласково, рот замазали, она и языка протянуть не сумела. На деревне спросят: — Что же, ты мужу беспутному голову намылила? Его шлюхе в косы вцепилась? Стекла побила?..— А она — не то что стекла бить, а еще черных лепешек в гостинец принесла ей. И самой вот узелок ребятишкам сунули да двадцать целковых денег дали. Небось теперь молодая-то смеется над ее черными лепешками: ей белых не поесть... на ее 400 — 500 рублей».

Катерина даже остановилась, как бы готовясь вернуться. Но ей почему-то вспомнились тоненькие, слабенькие руки Кати, ее виноватая, ласковая улыбка...

Катерина махнула рукой, перекрестилась и пошла своей дорогой.

Гиперболоид инженера Гарина.

Роман.

(Продолжение).

А. Толстой.

21.

После этого вечера прошло семь недель. Семенов, как мы уже знаем, явился на бульвар Мальзерб без чертежей и аппарата. Роллинг едва не проломил ему голову чернильницей. Гарин, или его двойник, был отправлен к чертям в Ленинграде. Гарина, или его двойника, видели вчера в Париже. События шли полным ходом.

Ровно к часу Зоя Монроз заехала на бульвар Мальзерб и послала мальчика сказать, что ждет Роллинга в автомобиле. В час и три с половиной минуты Роллинг сел рядом с Зоей в закрытый лимузин, оперся подбородком о трость и сказал сквозь зубы:

— Гарин в Париже.

Зоя откинулась на подушки. Роллинг невесело посмотрел на нее:

— Семенову давно нужно было отрубить голову на гильотине, он неряха, дешевый убийца, наглец и дурак, — сказал Роллинг. — Я доверился ему и оказался в смешном положении. Нужно предполагать, что здесь он втянет меня в скверную историю...

Роллинг передал Зое весь разговор с Семеновым. Похитить чертежи и аппарат не удалось, потому что бездельники, нанятые Семеновым, убили не Гарина, а его двойника. Появление двойника в особенности смущало Роллинга. Он понял, что противник ловок и умен. Гарин либо знал о готовящемся покушении, либо предвидел, что покушения все равно не избежать, и запутал следы, подсунув похожего на себя человека... Все это было очень не ясно. Но самое непонятное было — за каким чортом ему понадобилось оказаться в Париже!

Лимузин двигался среди множества автомобилей по Елисейским полям. День был теплый, парной, в легкой нежно-голубой мгле вырисовывались крылатые кони и стеклянный купол Большого Салона, полукруглые крыши высоких домов, маркизы над окнами, пышные кущи каштанов.

В автомобилях сидели — кто развалился, кто задрал ногу на колено, кто сосал набалдашник палки — по преимуществу скоробогатые, коротенькие молодчики в весенних шляпах, в веселеньких галстучках. Они везли завтракать в Булонский лес премиленьких девушек, которых для развлечения иностранцев радушно предоставлял им Париж.

Приятно катиться в шикарных машинах среди пышной листвы Елисейских полей в этот майский день, беспечно, высоковалютно, безопасно: тридцать тысяч французских полицейских, потомков членов Конвента, охраняют покой и незыблемость этого порядка.

На площади Этуаль лимузин Зои Монроз нагнал наемную машину, в ней сидели Семенов и человек с желтым и жирным лицом и пыльными усами. Оба они, подавшись вперед, с каким-то даже исступлением следили за маленьким зеленым автомобилем «ситроен», загибавшим по площади Этуаль к остановке подземной дороги.

Семенов указывал на него своему шофферу, но пробраться было трудно сквозь поток машин. Наконец, пробрались и полным ходом двинули наперерез «ситроену». Но он уже остановился у метрополитэна. Из него выскочил человек среднего роста, в широком оверкоте, бледный, с продолговатой бородкой, и скрылся под землей.

Все это произошло в 2 — 3 минуты на глазах у Роллинга и Зои. Она крикнула в воздушный телефон своему шофферу повернуть к метрополитэну. Они остановились почти одновременно с наемной машиной Семенова. Жестикулируя тростью, он подбежал к лимузину, открыл хрустальную дверцу и, чмокнув руку Зои Монроз, сказал в ужасном возбуждении:

— Это был Гарин. Ушел. Все равно. Сегодня пойду к нему на Батиньоль, предложу мировую. Роллинг, нужно сговориться: сколько вы ассигнуете на приобретение аппарата? Можете быть покойны — я стану действовать в рамках закона. Кстати, позвольте представить Стася Тыклинского. Это вполне приличный человек.

Не дожидаясь разрешения, он кликнул Тыклинского. Тот с польской галантностью подскочил к богатому лимузину, сорвал шляпу, кланялся и целовал ручку пани Монроз.

Роллинг, не подавая руки ни тому, ни другому, блестел глазами из глубины лимузина, как пума из темной клетки. Оставаться на виду у всех на площади было неразумно. Зоя Монроз предложила ехать завтракать на левый берег в мало посещаемый в это время года ресторан «Лаперуза».

22.

Тыклинский был чрезмерно польщен — завтракать в такой приличной компании. Он поминутно раскланивался, расправлял по-шляхетски висячие усы, влажно поглядывал на Зою Монроз и ел с чрезвычайной жадностью. Роллинг угрюмо сидел спиной к окну. Семенов развязно болтал. Зоя казалась спокойной, очаровательно улыбалась, глазами показывала

метр-д'отелю, чтобы он почаще подливал гостям в рюмки. Когда подали шампанское, она попросила Тыклинского приступить к рассказу.

Он сорвал с шеи салфетку, вытер усы и начал рассказывать на французско-польском жаргоне:

— Для пана Роллинга мы не щадили своих жизней... Мы перешли советскую границу на Ладоге...

— Кто это мы? — спросил Роллинг.

— Я и, если угодно пану, мой подручный, один русский из Варшавы, офицер армии Балаховича... Человек весьма жестокий... Будь он проклят, как и все русские, песья кровь, он больше мне навредил, чем помог. Моя задача была проследить — где Гарин производит опыты. Я побывал в разрушенном доме, — пани и пан знают, конечно, — в этом доме проклятый байстрюк чуть-было не разрезал меня пополам своим аппаратом. Там, в подвале, я нашел стальную полосу, — пани Зоя получила ее от меня в прошлом месяце и могла убедиться в моем усердии.

«Гарин переменил место опытов. Я не спал дней и ночей, желая оправдать доверие пани Зои и пана Роллинга. Я застудил себе легкие и желудок в болотах на Крестовском острову, и я достиг цели. Я проследил Гарина. Двадцать седьмого апреля ночью мы с помощником проникли на его дачу, привязали Гарина к железной кровати и произвели самый тщательный обыск... Ничего... Надо сойти с ума,—никаких признаков аппарата... Но я-то знал, что он прячет его на даче... Тогда мой помощник немножко резко обошелся с паном Гариным... Пани и пан поймут наше волнение... Заря занималась, слышались человеческие голоса... Я не говорю, чтобы мы поступили по указанию пана Роллинга... Нет, мой помощник, пся его кревь, слишком погорячился...

Роллинг, стиснув зубы, глядел в тарелку с трюфелями. Длинная рука Зои Монроз, лежавшая на скатерти, быстро перебирала пальцами, сверкала отполированными ногтями, бриллиантами, изумрудами, сапфирами перстней. Тыклинский вдохновился, глядя на эту руку, стоющую, по крайней мере, сто тысяч долларов.

— Пани и пан уже знают, как я, спустя сутки, встретил Гарина на почтамте. Матерь божья, кто же не испугается, столкнувшись носом к носу с живым покойником! А тут еще проклятая милиция кинулась за мною в погоню. Мы стали жертвой обмана, проклятый байстрюк подсунул вместо себя кого-то другого. Я решил снова обыскать дачу. Там должно быть подземелье. В ту же ночь я пошел туда один, усыпил сторожа порцией хлороформа. Влез в окно... Пусть пан Роллинг не поймет меня как-нибудь криво... Когда Тыклинский жертвует жизнью, он жертвует ею для идеи... Мне ничего не стоило выскочить обратно в окошко, когда я услыхал на даче такой стук и треск, что у любого волосы могли стать дыбом... Да, пан Роллинг, в эту минуту я понял, что господь руководил вами, когда вы послали меня вырвать у русских страшное оружие, которое они могут обратить против Польши, против всего цивилизованного мира... Это была историческая минута, пани Зоя, клянусь вам шляхетской честью. Я бросился, как зверь, на кухню,

откуда раздавался шум. Я увидел Гарина, — он наваливал в одну кучу у стены столы, мешки и ящики. Увидев меня, схватил кожаный чемодан, давно мне знакомый, где он обычно держал модель аппарата, и выскочил в соседнюю комнату. Я вытащил револьвер и кинулся за ним. Он уже открывал окно, намереваясь выпрыгнуть на улицу. Я выстрелил, он с чемоданом в одной руке, с револьвером в другой отбежал в конец комнаты, загородился кроватью и стал стрелять. Это была настоящая дуэль, пани Зоя. Пуля пробила мне фуражку. Вдруг он закрыл рот и нос какой-то тряпкой, протянул ко мне металлическую трубку, раздался выстрел, не громче звука шампанской пробки, и в ту же секунду тысячи маленьких когтей влезли мне в нос, в горло, в грудь, стали раздирать меня, глаза залились слезами от нестерпимой боли, я начал чихать, кашлять, внутренности мои выворачивало, и, простите, пани Зоя, поднялась такая рвота, что я повалился на пол...

— Ди-фенил-хлор-арсин в смеси с фосгеном, по пятидесяти процентов каждого, дешевая штука, мы вооружаем теперь полицию этими свечками, — сказал Роллинг.

— Так. Пан говорит истину, — это была газовая свеча... К счастью, сквозняк быстро унес газ. Я пришел в сознание и, полуживой, добрался до дому. Я был отравлен, разбит, агенты искали меня по городу, оставалось только бежать из Ленинграда, что мы и сделали с великими опасностями и трудами.

Тыклинский развел руки и поник головой, словно отдаваясь на милость. Зоя спросила:

— Вы уверены, что Гарин также бежал из России?

— Он должен был скрыться. После этой истории ему все равно пришлось бы давать объяснения уголовному розыску.

— Но почему он выбрал именно Париж?

— Ему нужны угольные пирамидки. Его аппарат без них все равно, что не заряженное ружье. Гарин — физик. Он ни малого жида не смыслит в химии. По его заказу над этими пирамидками работал я, впоследствии тот, кто поплатился на Крестовском острову за это сотрудничество. Но у Гарина есть еще один компаньон, здесь в Париже, — ему он и послал телеграмму на бульвар Батиньоль. Гарин приехал сюда, чтобы следить за опытами над пирамидками.

23.

— Какие сведения вы собрали о сообщнике инженера Гарина? — спросил Роллинг.

— Он живет в плохонькой гостинице, мы были там вчера, — на Батиньоль, нам кое-что рассказал привратник, — ответил Семенов, — этот человек является домой только ночевать. Вещей у него никаких нет. Он выходит из дому в парусиновом балахоне, какой в Париже носят медики, лаборанты и студенты-химики. Видимо, он работает где-то там неподалеку, в лаборатории.

— Наружность? Чорт вас возьми, какое мне дело до его парусинового балахона! Описал вам привратник его наружность? — крикнул Роллинг.

Семенов и Тыклинский переглянулись. Поляк прижал руку к сердцу:

— Если пану угодно, мы сегодня же доставим сведения о наружности этого господина.

Роллинг долго молчал, брови его сдвинулись, на скулах катались мускулы:

— Какие основания у вас утверждать, что тот, кого вы видели вчера в кафе на Батиньоль, и человек, удравший под землю на площади Этуаль, одно и то же лицо, именно инженер Гарин? Вы уже ошиблись однажды в Ленинграде. Что?

Поляк и Семенов опять переглянулись. Тыклинский с высшей деликатностью улыбнулся:

— Не будет же пан Роллинг утверждать, что у Гарина в каждом городе двойники...

Роллинг упрямо мотнул головой. Зоя Монроз сидела, закутав руки горностаевым мехом, — равнодушно глядела в окно. Семенов сказал:

— Тыклинский слишком хорошо знает Гарина, ошибки быть не может. Сейчас важно выяснить другое, Роллинг. Предоставляете вы нам одним обделать это дело, в одно прекрасное утро притащить на бульвар Мальзерб аппарат и чертежи, или будете работать вместе с нами?

— Ни в каком случае! — неожиданно проговорила Зоя Монроз, продолжая глядеть в окно: — мистер Роллинг весьма интересуется опытами инженера Гарина, мистеру Роллингу весьма желательно приобрести право собственности на это изобретение, мистер Роллинг всегда работает в рамках строгой законности; если бы мистер Роллинг поверил хотя бы одному слову того, что здесь рассказывал Тыклинский, то, разумеется, не замедлил бы позвонить комиссару полиции, чтобы отдать в руки властей подобного негодяя и преступника. Но так как мистер Роллинг отлично понимает, что Тыклинский выдумал всю эту историю в целях выманить как можно больше денег, то он добродушно позволяет и в дальнейшем оказывать ему незначительные услуги.

Первый раз за весь завтрак Роллинг улыбнулся, вынул из жилетного кармана золотую зубочистку и вонзил ее между зубами. Семенов пришипился, ушел половиной туловища под стол. У Тыклинского на больших рализах побагровевшего лба выступил пот, щеки отвисли. Роллинг сказал:

— Ваша задача: дать мне точные и обстоятельные сведения по пунктам, которые будут вам сообщены сегодня в три часа на бульваре Мальзерб. От вас требуется работа приличных сыщиков, и — только. Ни одного шага, ни одного слова без моих приказаний.

Коротким движением он надвинул на глаза котелок, отчетливо кивнул Семенову и Тыклинскому и вместе с Зоей вышел из кабинета «Лаперузы».

24.

Белый, хрустальный, сияющий поезд линии Норд-Зюд — подземной дороги — мчался с тихим грохотом по темным подземельям под Парижем. В загибающихся туннелях проносились мимо паутина электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижимался озаряемый летящими огнями рабочий, желтые на черном буквы — «Дюбонэ», — отвратительного, унылого напитка... «Дюбонэ, дюбонэ, дюбонэ», — тошнило в глазах у смотрящего сквозь окно на серые стены коридоров, поглощаемых поездом.

Мгновенная остановка. Вокзал, выложенный блестящим кафелем, залитый подземным светом. Цветные прямоугольники: «дивное мыло», «могучие подтяжки», духи «безумная девственница», автомобильные шины «красный дьявол», резиновые накладки для каблуков, дешевая распродажа в универсальных домах — «Лувр», «Прекрасная цветочница», «Галлерея Лафайетт», «Сто тысяч рубашек»...

Шумная, смеющаяся толпа хорошеньких женщин, мидинеток, рассыльных мальчиков с пуговичками, иностранцев, молодых людей в обтянутых пиджачках, рабочих в потных рубашках, заправленных под кумачевый кушак, теснясь, придвигается к поезду. Мгновенно раздвигаются стеклянные двери... О-о-о-о! — проносится вздох, и водоворот шляпок, вытаращенных глаз, разинутых ртов, красных, веселых, рассерженных лиц устремляется во внутрь. Кондуктора в кирпичных куртках, схватившись за поручни, вдавливают животом публику в вагоны. С треском захлопываются двери; короткий свист. Поезд огненной лентой ныряет под черный свод подземелья.

Семенов и Тыклинский сидели на боковой скамеечке вагона Норд-Зюд, спиной к двери. Поляк горячился, словно его за завтраком накормили толченым стеклом:

— Прошу пана заметить, — лишь приличие удержало меня от скандала... Сто раз я мог вспылить... Не едал я завтраков у миллиардеров! Песья кревь, чихал я на эти завтраки!.. Могу не хуже сам заказать у «Лаперуза» и не буду выслушивать оскорблений какой-то девки... Предложить Тыклинскому роль сыщика... Сучья дочь, курва.

— Э, бросьте, пан Стась, вы не знаете Зою, — она баба славная, хороший товарищ. Ну — погорячилась...

— Видимо — пани Зоя привыкла иметь дело со сволочью, вашими эмигрантами... Но я поляк, прошу пана заметить, — Тыклинский страшно выпятил усы, надулся гонором, — я подданный великой Польши и не позволю со мной говорить в подобном роде...

— Ну, хорошо, — усами потряс, облегчил душу, — после некоторого молчания сказал ему Семенов: — теперь слушай, Стась, внимательно: нам дают хорошие деньги, от нас, в конце концов, ни черта не требуют. Работа безопасная, даже приятная: шляйся по кабачкам да по кофейным... Я, например, очень удовлетворен сегодняшним разговором... Ты говоришь —

сыщики. Ерунда! А я говорю, нам предложена благороднейшая роль контр-разведчиков.

У дверей, позади скамьи, где разговаривали Тыклинский и Семенов, стоял, опираясь локтем о медную штангу, тот, кто однажды на бульваре Профсоюзов в разговоре с Шельгой назвал себя Пьянковым-Питкевичем.

Воротник его оверкота был поднят, скрывая нижнюю часть лица, шляпа надвинута на глаза. Стоя небрежно и лениво, касаясь рта костяным набалдашником трости, он внимательно выслушал весь разговор Семенова и Тыклинского, вежливо посторонился, когда они сорвались с места, едва не пропустив остановку, и вышел из вагона двумя станциями позже — на Монмартре. В ближайшем почтовом отделении он подал телеграмму:

«U. R. S. S. Ленинград. Угрозыск. Шельге. Четырехпалый здесь. События угрожающие».

25.

Из почтамта он поднялся на бульвар Клиши и пошел по теневой стороне.

Здесь из каждой двери, из подвальных окон, из-под полосатых маркиз, покрывающих на широких тротуарах мраморные круглые столики и соломенные стулья, тянуло кисловатым запахом ночных кабаков. Гарсоны в коротеньких смокингах и белых фартуках, одутловатые, с набриллиантиненными проборами — посыпали сырыми опилками кафельные полы и тротуары между столиками, ставили свежие охапки цветов, крутили бронзовые ручки, приподнимая маркизы, чтобы дать больше воздуху и света в прокуренные помещения.

Днем бульвар Клиши казался поблекшим, как декорация после карнавала. Высокие, некрасивые, старые дома сплошь заняты под рестораны, кабачки, кофейни, лавченки с дребеденью для уличных девчонок, под ночные гостиницы, не внушающие доверия. Каркасы и жестяные сооружения реклам, облупленные крылья знаменитой мельницы «Мулен Руж», плакаты кино на тротуарах, два ряда чахлых деревьев посреди бульвара, писуары, покрытые вывесками и исписанные неприличными словами, каменная мостовая, по которой прошумели, прокатились столетия, ряды балаганов и каруселей, прикрытых брезентами, — все это ожидало ночи, когда зеваки и кутилы потянутся снизу с больших бульваров, со всех двенадцати авеню, разбегающихся лучами по площади Звезды, с буржуазного побережья Пасси, из преступных закоулков квартала Сен-Дени.

Тогда вспыхнут огни, засуетятся гарсоны между «клиентами», хлопающими ладонями по столикам: «пст, пст, гарсон!» засвистят паровыми глотками, закрутятся карусели; на золотых свиньях, на быках с золотыми рогами, в лодках, кастрюлях, горшках, — кругом, кругом, кругом, — отражаясь в тысяче зеркал, помчатся под звуки паровых оркестрионов девушки в юбченках до колен, удивленные буржуа, воры с великолепными усами, японские улыбающиеся, как маски, студенты, мальчишки, гомосексуалисты, мрачные русские эмигранты, ожидающие падения большевиков.

Закрутятся огненные крылья «Мулен Руж». Забегают по фасадам домов изломанные горящие стрелы. Вспыхнут надписи всемирно известных кабаков: «Пчела», «Ужин Короля», «Дохлая Крыса», «Поющая Сорока»... Из открытых окон падают на тысячеголовый, жаркий бульвар дикая трескотня, барабанный бой и гудки джесбанов, простые, как апельсин, такты фокстротов и шимми.

В толпе пищат картонные дудки, трещат трещетки, развеваются бумажные флажки высоковалютных стран. Из-под земли вываливаются новые толпы, выброшенные метрополитэном и Норд-Зюдом. Это Монмартр. Это горы Мартра, сияющие всю ночь веселыми огнями над Парижем, — самое беззаботное место на свете. Здесь есть, где оставить деньги, где провести с двумя хохочущими девчонками беспечную ночку.

Веселый Монмартр — это бульвар Клиши между двумя круглыми, уже окончательно веселыми, площадями, Пичаль и Бланш. Налево от площади Пичаль тянется широкий и тихий бульвар Батиньоль. Направо за площадью Бланш начинается Сент-Антуанское предместье. Это — места, где живут рабочие и парижская беднота. Отсюда—с Батиньоля, с высот Монмартра и Сент-Антуана—не раз спускались вооруженные рабочие, чтобы овладеть Парижем. Четыре раза их загоняли пушками обратно на высоты. И нижний город, раскинувший по берегам Сены банки, конторы, пышные магазины, отели для миллионеров и казармы для тридцати тысяч полицейских, четыре раза переходил в наступление и в сердце рабочего города, на высотах, утвердил пылающими огнями мировых притонов полосу, сексуальную печать нижнего города, — площадь Пичаль — бульвар Клиши — площадь Бланш.

26.

Дойдя до средины бульвара, он свернул в боковую узкую уличку, ведущую исхоженными ступенями на вершину Монмартра, внимательно оглянулся по сторонам и зашел в темный кабачек, где обычными посетителями были проститутки, шофферы, полуголодные сочинители куплетов и неудачники, носящие по старинному обычаю широкие штаны и шляпы грибом.

Он спросил газету, рюмку портвейна с пикопом и принялся за чтение. За цинковым прилавком хозяин кабачка, — усатый, багровый француз, 110 кило весом, — засучив по локоть волосатые руки, мыл под краном посуду и разговаривал — хочешь слушай, хочешь — нет:

— Что вы там ни говорите, а Россия нам наделала много хлопот (он знал, что посетитель русский, звался — месье Пьер), — русские эмигранты не приносят больше дохода. Выдохлись, о-ла-ла!.. Но мы еще достаточно богаты, мы можем себе позволить роскошь дать приют нескольким тысячам несчастных. (Он был уверен, что его посетитель промышлял на Монмартре по мелочам.) Но, разумеется, всему свой конец. Эмигрантам придется вернуться домой. Увы. Мы вас помирим с вашим обширным отечеством, мы признаем ваши Советы, и Париж снова станет добрым старым Парижем. Мне надоела война, должен вам сказать. Десять лет продолжается

это несварение желудка. Советы желают платить мелким держателям русских ценностей. Умно, очень умно с их стороны. Да здравствуют Советы! Они не плохо ведут политику. Они большевизируют Германию. Прекрасно. Аплодирую. Германия станет советской и разоружится сама собой. У нас не будет болеть желудок при мысли об их химической промышленности. Глупцы в нашем квартале считают меня большевиком. О-ла-ла!.. У меня правильный расчет. Большевизация нам не страшна. Подсчитайте — сколько в Париже добрых буржуа и сколько рабочих. Ого! мы, буржуа, сможем защитить свои сбережения... Я спокойно смотрю, когда наши рабочие кричат: «да здравствует Ленин» и махают красными флагами. Рабочий — это боченок с забродившим вином, его нельзя держать закупоренным. Пусть его кричит: «да здравствуют Советы», — я сам кричал на прошлой неделе. У меня на восемь тысяч франков золотом русских процентных бумаг. Нет, вам нужно мириться с вашим правительством. Довольно глупостей! Франк падает. Проклятые спекулянты, — эти вши, которые облепляют каждую нацию, где начинает падать валюта, это племя инфлянтов снова перекочевало из Германии в Париж.

В кабачек быстро вошел худощавый человек в парусиновом балахоне с непокрытой светловолосой головой.

— Здравствуй, Гарин,—сказал он тому, кто читал газету.—Можешь поздравить... Удача...

Гарин стремительно поднялся, стиснул ему руки:

— Виктор!..

— Да, да. Я страшно доволен... Я буду настаивать, чтобы мы взяли патент.

— Ни в каком случае... Идем.

Они вышли из кабачка, поднялись по ступенчатой уличке, свернули направо и минут двадцать шли мимо грязных домов предместья, мимо огороженных колючей проволокой пустырей, где трепалось жалкое белье на веревках, мимо кустарных заводиков и мастерских.

День кончался. Навстречу попадались кучки усталых рабочих. Здесь на горах, казалось, жило иное племя людей, иные были у них лица, — твердые, худощавые, сильные. Казалось — романская нация, спасаясь от ожирения, сифилиса и дегенерации, поднялась на высоты над Парижем и здесь спокойно и сурово ожидает часа, когда можно будет очистить от скверны низовой город и снова повернуть корабль Франции в солнечный океан.

— Сюда, — сказал Виктор, отворяя американским ключом дверь низенького каменного сарая.

27.

Гарин и Виктор Ленуар подошли к небольшому кирпичному горну с железным колпаком и двумя вытяжными вентиляторами. Рядом на столе лежали рядками пирамидки. На горне под колпаком стояло на ребре толстое бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками, расположен-

ными по его окружности. Ленуар зажег свечу и со странной усмешкой взглянул на Гарина.

— Петр Петрович, мы знакомы с вами лет пятнадцать, так? Съели не один пуд соли. Вы могли убедиться, что я человек честный. Когда я удрал из Петрограда — вы мне помогли... Из этого я заключаю, что вы относитесь ко мне не плохо. Скажите — какого чорта вы скрываете от меня аппарат? Я же знаю, что без меня, без этих пирамидок, — вы беспомощны... Давайте по-товарищески...

Внимательно рассматривая бронзовое кольцо с фарфоровыми чашечками, Гарин спросил:

— Вы хотите, чтобы я открыл тайну?

— Да.

— Вы хотите стать участником в деле?

— Да.

— Если понадобится, а я предполагаю, что в дальнейшем понадобится, вы должны будете пойти н а в с е для успеха дела... (Гарин пояснил это «все» — движением руки.)

Не сводя с него глаз, Ленуар присел на край горна, углы рта его задрожали.

— Да, — твердо сказал он, — согласен.

Он потянул из кармана халата тряпочку и вытер лоб:

— Я вас не вынуждаю, Петр Петрович, напрасно глядите на меня с ненавистью. Я завел этот разговор потому, что вы самый близкий мне человек, как это ни странно... Я был на первом курсе, вы — на втором в институте... еще с тех пор, ну, как это говорится, я преклонялся, что ли, перед вами... Вы страшно талантливы... блестящи... Вы страшно смелы. Ваш ум — аналитический, дерзкий, страшный. Вы страшный человек. Вы жестоки, Петр Петрович, как всякий крупный талант, вы не догадливы к людям. Вы спросили — готов ли я на все, чтобы работать с вами?.. Конечно, ну — конечно... Какой же может быть разговор. Терять мне нечего. Без вас — будничная работа где-нибудь на заводе, — будни до конца жизни. С вами — праздник или гибель... Согласен ли я на «все»?.. Смешно... Что же — украсть, убить?

Он остановился. Гарин глазами сказал — «да». Ленуар усмехнулся.

— Я знаю французские уголовные законы... Согласен ли я подвергнуть себя опасности их применения? — согласен... Между прочим, я видел знаменитую газовую атаку германцев, двадцать второго апреля 15 года. Вы представляете, — из-под земли поднялось длинное густое облако и поползло на нас желто-зелеными волнами, как мираж, во сне этого не увидишь. Тысячи людей побежали по полям в нестерпимом ужасе, бросая оружие, шапки. Облако настигало их, шла смерть. У тех, кто успел выскочить, были темные, багровые лица, вывалившиеся языки, выжжены глаза... Это был хлор. Какой вздор «моральные понятия»... Ого, мы — не дети после войны.

— Одним словом, — насмешливо сказал Гарин, — вы, наконец, поняли, что буржуазная мораль — один из самых ловких арапских номеров, и дураки те, кто из-за нее глотает зеленый газ. По правде сказать, я мало

задумывался над этими проблемами. Итак... я добровольно принимаю вас товарищем в дело. Завтра вечером в этом сарае я покажу вам действие моего аппарата. Вы беспрекословно подчинитесь моим распоряжениям. Но есть одно условие.

— Хорошо, согласен на всякое условие.

— Вы знаете, Виктор, что в Париж я попал с подложной визой, каждую ночь я меняю гостиницу. Иногда мне приходится брать уличную девку, чтобы не возбуждать подозрения. Вчера я узнал, что за мною следят. Поручена эта слежка русским. Видимо, меня принимают за большевистского агента. Мне нужно навести сыщиков на ложный след.

— Что я должен делать?

— Загримироваться мной. Если вас схватят, вы предъявите ваши документы. Я хочу раздвоиться. Мы с вами одного роста. Вы покрасите волосы, наденете фальшивую бородку, мы купим себе одинаковые платья. Затем, сегодня же вечером вы переедете из вашей гостиницы в другую часть города, где вас не знают, скажем — на Монпарнас. По рукам?

Ленуар соскочил с горна, крепко пожал Гарину руку. Затем он принялся объяснять, как ему удалось приготовить пирамидки из смеси алюминия и окиси железа (термита) с твердым маслом и желтым фосфором. Поставив на фарфоровые чашечки кольца двенадцать пирамидок, он зажег их при помощи шнурка. Столб ослепительного пламени поднялся над горном. Пришлось отойти в глубь сарая, — так нестерпимы были свет и жар.

— Превосходно, — сказал Гарин, — надеюсь — никакой копоти?

— Сгорание полное при этой страшной температуре. Матерьялы химически очищены...

— Хорошо. На этих днях вы увидите чудеса, — сказал Гарин, — идем обедать. За вещами в гостиницу пошлем посыльного. Переночуем на левом берегу. А завтра в Париже окажется двое Гариных... У вас имеется второй ключ от сарая?..

28.

Здесь не было ни блестящего потока автомобилей, ни праздных людей, свертывающих себе шею, глядя на окна магазинов, ни головокружительных женщин, ни индустриальных королей.

Штабели свежих досок, горы торцов, пахнущих смолой, посреди улицы отвалы синей грязи и глины и, разложенные сбоку тротуара, как разрезанный гигантский червяк, звенья канализационных труб.

Разумеется, здесь нечего было делать какому-нибудь американскому молодчику, совершающему курс: Нью-Иорк —

(нервное переутомление от игры на бирже, катарр пищеварительного аппарата от чрезмерного употребления мороженого).

Киссинген —

(трехнедельное лечение упомянутого желудка водой, электричеством и ваннами).

Париж.—

(общее проветривание и вентиляция половой энергии).

За Нарвской заставой такой бы молодчик пришел в состояние крайнего уныния:

«Очень хорошо, — сказал бы он, — у нас также ремонтируют канализацию, но наши рабочие устраивают это так, что это не мешает нам развлекаться. Скучно живете, господа!.. Строите, трудитесь, а для кого? Кто будет кушать обед вашей стряпни? Смешно, нелепо, не по-человечески, чтобы собрались вдруг повара, поварята, кухонные мужики, приготовили великолепный обед, накрыли стол и, вместо господ, сели за него сами и стали пировать. Это жутко, это почти кошмарно. Не понимаю, до свиданья».

Если бы, скажем, к такому иностранцу, прогулочный аппарат которого был занесен бурей к Ленинграду и сел за Нарвской заставой, подошел бы спартаковец Тарашкин, то случился бы разговор. Иностранец, получив точный ответ на свои вопросы, пожалуй бы, схватился за голову. Тарашкин, пожалуй, поднес бы ему к носу — исключительно для утоления его социального любопытства — крепкий кулачище, собрались бы кругом мальчишки — папиросники, издалека, шагая через торцы, появился бы для выяснения скандала красноголовый, и чорт его знает чем бы все это кончилось, но, к счастью, никакого иностранца из тучи не выпало в этот день.

Спартаковец Тарашкин шел в этих местах после свистка с завода. Он находился в самом приятном расположении духа. Внешнему наблюдателю он показался бы даже мрачным на первый взгляд, но это происходило от того, что Тарашкин был человек основательный, уравновешенный, и веселое настроение у него выражалось в том, что он крепко зажмуривал один глаз и сморщивал нос до невозможности.

Не доходя шагов ста до трамвая, он услышал возню и писк между штабелями торцов. Все происходящее в городе, разумеется, непосредственно касалось Тарашкина. Он заглянул за штабели и увидел трех мальчиков, в штанах клёшем и в толстых куртках, они, сопя и ощерясь, колотили четвертого мальчика меньше их ростом, — босого, без шапки, одетого в кофту, такую рваную, что можно было удивиться. Он молча защищался. Худенькое лицо его было исцарапано, маленький рот плотно сжат, карие глаза, как у волченка.

Тарашкин сейчас же схватил двух мальчишек — штаны клёшем — и за шиворот поднял на воздух, третьему в то же время дал ногой леща, — мальчишка взвыл и скрылся за торцами.

Другие двое, болтаясь в воздухе, начали грозиться ужасными словами. Но Тарашкин тряхнул их посильней, и они успокоились.

— Это я не раз вижу на улице, — сказал Тарашкин, заглядывая в их сопящие рыльца, — маленьких обижать, шкеты. Чтобы у меня этого больше не было. Поняли?

Вынужденные ответить в положительном смысле, мальчишки сказали угрюмо:

— Поняли.

Тогда он их отпустил, и они, ворча, что мол,— попадись нам теперь, — удалились, — руки в карманы.

Во время наведения порядка избитый маленький мальчик попытался было скрыться, но только повертелся на одном месте, слабо застонал и сел, уйдя с головой в рваную кофту.

Тарашкин наклонился над ним. Мальчик плакал.

— Эх ты, — сказал Тарашкин, -- ты где живешь-то?

— Нигде, — из-под кофты сказал мальчик.

— То-есть, как это нигде? Мамка у тебя есть?

— Нету.

— И отца нет? Так. Беспризорный ребенок. Очень хорошо.

Тарашкин стоял некоторое время, распустив морщины на носу и открыв оба глаза. Мальчик, как муха, жужжал под кофтой.

— Есть хочешь? — спросил Тарашкин сердито.

— Хочу.

— Ну, ладно, пойдем со мной в клуб.

Мальчик попытался встать и опять сел. Тарашкин взял его на руки, — в мальчишке не было и пуда весу, — и понес его к трамваю, посадил на передней площадке. Ехали долго. Во время пересадки Тарашкин купил булку, мальчишка с судорогой вонзил в нее зубы. До Гребной школы дошли пешком. Впуская мальчика за калитку, Тарашкин сказал:

— Смотри только, чтобы не воровать.

— Не, я хлеб только таскаю.

Мальчик сонно глядел на воду, играющую солнечными зайчиками на лакированных лодках, на серебристо-зеленую иву, опрокинувшую в реке свою красу, на двухвесельные, четырехвесельные гички с мускулистыми и загорелыми гребцами. Худенькое личико его было равнодушно и устало. Когда Тарашкин отвернулся, он залез под деревянный помост, соединяющий широкие ворота клуба с банами, и, должно быть, сейчас же уснул, свернувшись.

Вечером Тарашкин вытащил его из-под мостков, велел вымыть в речке морду и руки и повел ужинать. Мальчика посадили за стол с гребцами. Тарашкин сказал товарищам:

— Этого ребенка можно даже при клубе оставить, не объест, к воде приучим, нам расторопный мальчишка нужен, — все равно он бездомный.

Товарищи согласились — пускай живет. Мальчик спокойно все это слушал, степенно ел, каждый раз кладя ложку на стол. Поужинав, молча полез с лавки. Его ничто не удивляло, — видал и не такие виды. Тарашкин повел его на баны, велел сесть и начал разговор:

— Политграмоту знаешь?

— Нету, не знаю.

— А как тебя зовут?

— Иваном.

— Ты откуда?

— Из Сибири. С Амура, с верху.

— Давно оттуда?

— Вчера приехал.

— Как же ты приехал?

— Где пешком плелся, где под вагоном в ящиках.

— Зачем тебя в Ленинград занесло?

— Ну, это мое дело, — ответил мальчик и отвернулся, — значит надо, если приехал.

— Расскажи, я тебе ничего не сделаю.

Мальчик не ответил и опять понемногу стал уходить головой в кофту. В этот вечер Тарашкин ничего от него не добился.

29.

Двойка — двухвесельная распашная гичка из красного дерева, — изящная, как скрипка, узкой полоской едва двигалась по зеркальной реке. Оба весла плашмя скользили по воде. Шельга и Тарашкин в белых трусиках, по пояс голые, с шершавыми от солнца спинами и плечами, сидели неподвижно, подняв колени.

Рулевой — серьезный парень в морском картузе, в шарфе, обмотанном вокруг шеи, глядел на секундометр.

— Гроза будет, — сказал Шельга.

На реке было жарко, ни один лист не шевелился на пышно-лесистом берегу. Деревья казались преувеличенно вытянутыми, свет голубовато-хрустальный, небо до того насыщено солнцем, что свет его словно валился с неба грудами кристаллов. Ломило глаза, сжимало виски.

— Весла на воду, — скомандовал рулевой.

Гребцы разом пригнули корпус к раздвинутым коленям и, закинув, погрузив весла, — разом откинулись, почти легли, вытянув ноги, откатываясь на сидениях.

— Ать — два!..

Весла выгнулись, гичка, как лезвие, скользнуло по реке.

— Ать — два! ать — два! ать — два! — командовал рулевой.

Мерно и быстро в такт ударам сердца, вдыханию и выдыханию — сжимались, нависая над коленями, тела гребцов, распрямлялись, как пружины. Мирно, в ритм потоку крови, в горячем напряжении работали мускулы.

Гичка летела мимо прогулочных лодок, где люди в подтяжках беспомощно барахтали веслами. Гребя, Шельга и Тарашкин прямо глядели перед собой, — на пупок рулевого, держа глазами линию равновесия. С прогулочных лодок успевали только крикнуть вслед:

— Ишь черти!.. Вот дунули!.. Вот ребята!..

Вышли в взморье. Опять на одну минуту неподвижно легли на воде. Вытерли пот с лица. Ать — два! Повернули обратно мимо яхтклуба, где мертвыми полотнищами в хрустальном зное висели огромные паруса гоночных яхт ленинградских профсоюзов. Играла музыка на веранде яхтклуба.

Не колыхались протянутые вдоль берега легкие, пестрые значки и флаги. Со шлюпок в середину реки бросались коричневые люди, взметая брызги в хрустальном свете.

Проскользнув между купальщиками, гичка пошла по Невке, пролетела под мостом, несколько секунд висела на руле у четырехвесельного аутригера из клуба «Стрела», обогнала его (рулевой через плечо спросил: «может—на буксир хотите?»), вошла в узкую с пышными берегами Крестовку, где скользили в зеленых отражениях леса красные платочки и голые колени женской учебной команды, — и стала у банов Гребной школы.

Шельга и Тарашкин выскочили на баны, осторожно положили на покатый помост драгоценные весла, нагнулись над гичкой и по команде рулевого выдернули ее из воды, подняли на руках и внесли в широкие ворота, в сарай. Затем пошли под душ (Тарашкин называл это «закалкой стали»). Растерлись до красна и, как полагается, выпили по стакану чая с лимоном. После этого они почувствовали себя только что рожденными в том прекрасном мире, который стоит того, чтобы принялись, наконец, за его благоустройство.

30.

На открытой веранде, на высоте второго этажа (где пили чай), Тарашкин рассказал про вчерашнего мальчика.

— Расторопный, умница, ну — прелесть. При клубе его хочу пристроить. А то жалко, пропадет. — Он перегнулся через перила и крикнул: — Иван, поди-ка сюда.

Сейчас же по лестнице затопали босые ноги. Иван появился на веранде. Рваную кофту он снял. (По санитарным соображениям ее сожгли на кухне.) На нем были гребные трусики и на голом теле суконный жилет, невероятно ветхий, весь перевязанный веревочками.

— Вот, — сказал Тарашкин, указывая пальцем на мальчика,— сколько его ни уговариваю снять жилетку — нипочем не хочет. Как ты купаться будешь? я тебя спрашиваю? И была бы жилетка хорошая, а то — грязь.

— Я купаться не могу,— сказал Иван.

— Тебя в бане надо мыть, ты весь черный, чумазый.

— Не могу я в бане мыться. Во, по сих пор — могу. — Иван показал на пупок. Помялся, придвинулся поближе к двери. Тарашкин, деря ногтями икры, на которых по загару оставались белые следы, крякнул с досады:

— Что хочешь с ним, то и делай.

— Ты что же, — спросил Шельга, — воды боишься?

Мальчик поглядел на него без улыбки:

— Нет, не боюсь.

— Чего же не хочешь купаться?

Мальчик опустил голову, упрямо поджал губы.

— Боишься жилетку снимать, боишься украдут? — спросил Шельга. Мальчик дернул плечиком, усмехнулся.

— Ну, вот что, Иван, не хочешь купаться — дело твое. Но жилетку мы допустить не можем. Бери мою жилетку, раздевайся, — Шельга начал расстегивать на себе жилет. Иван попятился. Зрачки его беспокойно забегали. Один раз, умоляя, он взглянул на Тарашкина, и все придвигался бочком к раскрытой на внутреннюю, темную лестницу стеклянной двери.

— Э, так мы играть не уговаривались, — Шельга встал, запер дверь, вынул ключ и сел прямо против двери, — ну, снимай.

Мальчик оглядывался, как зверек. Стоял он теперь у самой двери — спиной к стеклам. Бровки у него сдвинулись. Вдруг, решительно, он сбросил с себя лохмотья и протянул Шельге:

— На, давай свою.

Но Шельга с величайшим удивлением глядел уже не на мальчика, а мимо его плеча — на стекла двери.

— Давайте, — сердито повторил Иван, — чего смеетесь? — не маленькие.

— Ну и чудак. — Шельга громко рассмеялся. — Повернись-ка спиной. (Мальчик, точно от толчка, ударился затылком в стекло.) Повернись, все равно вижу, что у тебя на спине написано.

Тарашкин вскочил. Мальчик легким комочком перелетел через веранду, перекатился через перила. Тарашкин налету едва успел схватить его. Острыми зубками Иван впился ему в руку.

— Вот, дурной! Брось кусаться.

Тарашкин крепко прижал его к себе. Гладил по сизой обритой голове:

— Дикий совсем мальчишка. Как мышь, дрожит. Будет тебе, не обидим.

Мальчик затих в руках у него, только сердце билось. Вдруг он прошептал ему в ухо:

— Не велите ему, нельзя у меня на спине читать. Никому не велено. Убьют меня за это.

— Да не будем читать, нам не интересно, — повторял Тарашкин, плача от смеха. Шельга все это время стоял в другом конце террасы, — кусал ноготь, щурился, как человек, отгадывающий загадку. Вдруг он подскочил и, несмотря на сопротивление Тарашкина, повернул мальчика к себе спиной.

Изумление, почти ужас изобразились на его лице. Чернильным карандашом, ниже лопаток, на худой спине у Ивана было написано расплывшимися от пота, полустертыми буквами:

......Гар.н. .амое драгоцен.. .айде.. Нас тр.. Пр.дер...ся Прода.вай...... Олекма.

N.o.o. 2358

N W S s.s.o. 3800 150

— Гарин, это — Гарин! — закричал Шельга. В это время на двор клуба, треща и стреляя, влетел мотоциклет ЛУР'а и голос агента крикнул снизу:

— Товарищ Шельга, вам — срочная...

Это была телеграмма Гарина из Парижа.

31.

Золотой карандашик коснулся блок-нота:

— Ваша фамилия, сударь?

— Пьянков-Питкевич.

— Цель вашего посещения?..

— Передайте мистеру Роллингу, — сказал Гарин, — что мне поручено вести переговоры об известном ему аппарате инженера Гарина.

Секретарь мгновенно исчез. Через минуту Гарин входил через ореховую дверь в кабинет химического короля. Роллинг писал. Не поднимая глаз, предложил сесть. Затем (не поднимая глаз):

— Мелкие денежные операции проходят через моего секретаря, — слабой рукой он схватил пресс-папье и стукнул по написанному, — тем не менее — я готов слушать вас. Даю две минуты. Что нового об инженере Гарине?

— Инженер Гарин хочет знать: известно ли вам в точности назначение его аппарата?

— Да, — ответил Роллинг, — для промышленных целей, насколько мне известно, аппарат представляет некоторый интерес. Я говорил кое с кем из членов правления нашего концерна, — они согласны приобрести патент.

— Аппарат не предназначен для промышленных целей, — резко сказал Гарин: — это аппарат для разрушения. Он с успехом также может служить для металлургической и горной промышленности. Но в настоящее время у инженера Гарина замыслы иного порядка.

— Политические?

— Э... Политика мало интересует инженера Гарина. Он надеется установить именно тот социальный строй, какой ему более всего придется по вкусу. А политика, — мелочь, функция.

— Где установить?

— Повсюду, разумеется, — на всех пяти материках.

— Ого! — сказал Роллинг.

— Инженер Гарин не коммунист, успокойтесь. Но он и не совсем ваш. Повторяю, — у него обширные замыслы. Он, прежде всего, учитывает обстановку.

— Обстановку — чего?

— Борьбы.

— Кого с кем?

— Американского капитала с европейским. Борьбы — за скудные, непрерывно уменьшающиеся запасы физической энергии.

— Предположим, — сказал Роллинг.

— Запасов с каждым днем все меньше. Нефти хватит всего лишь на десяток лет. Угля — немногим дольше. Европейская война была началом этой мировой драки, — на смерть, — за последние куски хлеба.

— Ну, скажем, — не за последние.

— Лично вам, на ваши потребности, мистер Роллинг, хватит нефти, даже если вы пожелаете в ней утонуть, — все так же серьезно, даже почтительно продолжал Гарин, — но мы говорим о мировом масштабе надвигающегося бедствия. Вы вводите новые приемы для драки — химию. Америка ежегодно выбрасывает на 50 миллионов химической продукции. Американцы утопят Старый Свет в горчичном газе, — я верю. Ваша победа обеспечена. Но запасы энергии от этого не увеличатся ни на одну тонну угля, ни на одну цистерну нефти. Неминуемо настанет час, когда застынут паровые котлы, иссякнет бензин в моторах, остановятся заводы, погаснет свет в городах. У холодных очагов будут валяться трупы. Земледелие вернется к первобытному состоянию, и земля не в силах будет прокормить двухмиллиардную ораву.

— Ближе к делу, — сухо сказал Роллинг: — забота о будущем человечества не входит в круг моих занятий.

— Я говорю по поручению Гарина и ни слова не могу опустить из того, что он мне велел передать. Неотвратимо, мистер Роллинг, современная цивилизация упирается в мертвую пустыню. Если не будут найдены новые огромные запасы физической энергии, перед нами — могилы и развалины. И это — совсем не за горами. Расход угля и нефти возрастает...

Роллинг перекосил брови и сделал губами — «пссс».

— Я вас понимаю, мистер Роллинг: вы сильно рассчитываете на удивительные опыты в Берлине над разложением атома, посредством токов высокого напряжения. Вы совершенно правы: первобытный дикарь трясся от голода и холода в темной пещере, тогда как силы природы были к его услугам, — и порох, и пар, и электричество. В том же положении и мы, — нам уже тесно и голодно, хотя вокруг нас — неисчерпаемые запасы новой энергии атомного распада. Когда ею овладеют — настанет весна земли, материки покроются райскими садами, словом — будет дьявольски хорошо. Но ведь забота о будущем человечества не входит в круг ваших занятий. А пока — мы существуем, значит, мы хотим. Пока — солнце века закатывается, перед нами промежуток ледяной ночи. Мы — последыши. Задача инженера Гарина — выжать до последней капли этот вечер цивилизации. Быть может, это будет — создание мировой империи, какого-то сказочного города... Полубожественная власть... Это — детали. Важен принцип: закончить историю современного человечества с треском. Аппарат инженера Гарина дает ему возможность осуществить самую бредовую, самую горячечную фантазию. Только энергия атома могущественнее его аппарата. Но ее пока еще только расталкивают под бока.

Аппарат Гарина уже построен, его можно демонстрировать хотя бы сегодня.

— Гм, — сказал Роллинг.

— Кроме того, владение этим аппаратом даст девяносто шансов против ста за то, чтобы во-время прибрать в свои руки и атомный распад. Инженер Гарин следит за вашей деятельностью и находит, что у вас большой размах, но вам не хватает большой идеи. Ну, — химический концерн. Ну, — воздушно-химическая война. Ну, — превращение Европы в американский рынок... Все это затоптанные дорожки. Инженер Гарин предлагает вам сотрудничество.

— Вы или он сумасшедший? — спросил Роллинг.

Гарин засмеялся, сильно потер пальцем сбоку носа:

— Видите, — хорошо уж и то, что вы слушаете меня не две, а девять с половиною минут. Человек менее крупный давно уже, разумеется, велел бы вытолкать меня за дверь.

— Я готов предложить инженеру Гарину пятьдесят тысяч франков за патент его изобретения, — сказал Роллинг, снова принимаясь писать.

— Предложение нужно понимать так: силой или хитростью вы намерены овладеть аппаратом, а с Гариным расправиться так же, как с его помошником на Крестовском острове?

Роллинг быстро положил перо, только краска, взошедшая на бледно-желтые его скулы, выдала волнение. Он взял с пепельницы курившуюся сигару, откинулся в кресле и посмотрел на Гарина ничего не выражающими, мутными глазами.

— Если предположить, что именно так я и намерен поступить с инженером Гариным, что из этого вытекает?

— Вытекает то, что Гарин, видимо, ошибся.

— В чем?

— Предполагая, что вы негодяй более крупного масштаба.

— Глупо делить с инженером Гариным барыши, когда я могу взять все сто процентов. — Роллинг выпустил синий дымок и осторожно помахал сигарой у носа. — Итак, говоря серьезно, я предлагаю сто тысяч франков, чтобы кончить разговор.

— Право, мистер Роллинг, вы как-то все сбиваетесь. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты, Семенов и Тыклинский, проследили, где живет Гарин. Донесите полиции и его арестуют, как большевистского шпиона. Аппарат и чертежи украдут те же Тыклинский и Семенов. Все это будет стоить вам не свыше пяти тысяч. А Гарина, чтобы он не пытался в дальнейшем восстановить чертежи, — всегда можно отправить по этапу в Россию через Польшу, где его прихлопнут на границе. Мило, просто и дешево. Зачем же — сто тысяч франков?

Роллинг поднялся, покосился на Гарина и стал ходить, утопая лакированными туфельками в серебристом ковре. Вдруг, он вытащил руку из кармана и щелкнул пальцами:

— Дешевая игра, — сказал он, — вы врете. Я продумал вперед на пять ходов всевозможные комбинации. Опасности никакой. Вы просто дешевый шарлатан. Игра Гарина — мат. Он это знает и прислал вас торговаться. Я не дам и двух луидоров за его патент. Гарин выслежен и попался. (Он живо взглянул на часы, живо сунул их в жилетный карман.) — Убирайтесь к чорту!

Гарин в это время также поднялся и стоял у стола, уронив голову. Когда Роллинг послал его к чорту — он провел рукой по волосам и сказал, как человек, неожиданно попавший в ловушку:

— Хорошо, мистер Роллинг, я согласен на все ваши условия. Вы говорили о ста тысячах...

— Ни сантима! — крикнул Роллинг, — убирайтесь или вас вышвырнут!

Гарин запустил пальцы за воротник, глаза его стали закатываться. Он пошатнулся. Роллинг заревел:

— Без фокусов. Вон!..

Гарин захрипел и повалился боком на стол. Правая рука его ударилась в исписанные листы бумаги и судорожно стиснула их. Роллинг подскочил к электрическому звонку. Мгновенно появился секретарь...

— Вышвырните этого субъекта...

Секретарь присел, как барс, изящные усики ощетинились, под тонким пиджаком налились стальные мускулы... Но Гарин уже отходил от стола, — бочком, бочком, кланяясь Роллингу. В приемной среди посетителей произошло ужасное волнение. Гарин бегом спустился по мраморной лестнице на бульвар Мальзерб, вскочил в наемную машину с поднятым верхом, крикнул адрес, поднял оба окошка, спустил зеленые шторки и коротко, резко рассмеялся.

Из кармана пиджака он вынул скомканную бумагу и осторожно расправил ее на коленях. На хрустящем листе (вырванном из большого блокнота) были набросаны крупным почерком Роллинга деловые заметки на сегодняшний день. Видимо, в ту минуту, когда в кабинет вошел Гарин — рука настороженного Роллинга стала писать машинально, выдавая тайные мысли. Три раза, одно под другим, было написано: «Улица Гобеленов, 63, инженер Гарин». (Это был новый адрес Виктора Ленуара, только что сообщенный по телефону Семеновым.) Затем: «1.000 франков — Семенову»...

— Удача! Чорт! Вот — удача! — шептал Гарин, осторожно отрывая часть листа с деловыми заметками.

32.

Через десять минут Гарин выскочил из автомобиля на бульваре Сен-Мишель. Зеркальные окна в кафе «Пантеон» были подняты. В глубине, в полутемноте, из-за растений поднялся Ленуар и щелкнул пальцами. Гарин поспешно сел за его стол — спиной к свету. Казалось, он сел против

зеркала: — такая же была у Виктора Ленуара продолговатая темная бородка, темные волосы, мягкая шляпа, галстух бабочкой, пиджак в полоску.

— Поздравь, — удача. Необычайно! — сказал Гарин, смеясь глазами. — Роллинг пошел на все. Предварительные расходы несет единолично. Когда начнется эксплоатация, — пятьдесят процентов вала — ему, пятьдесят — нам.

— Ты подписал контракт?

— Подписываем через два — три дня. Демонстрацию аппарата придется нам отложить. Роллинг поставил условие: — подписать только после того, как своими глазами увидит работу аппарата.

— Ставишь бутылку шампанского?

— Две, три, дюжину.

— А все-таки — жаль, что эта акула проглотит у нас половину доходов, — сказал Ленуар, пальцем подзывая лакея, — бутылку Ирруа, самого сухого...

— Без капитала все равно мы не развернемся. Псст, гарсон... К шампанскому — миндалю с солью. Вот, Виктор, если бы удалось мое сибирское предприятие — десять Роллингов послали бы к чертям.

— Какое сибирское предприятие?

Лакей накинул на столик ослепительную салфетку, поставил вазу с цветами и широкие, тончайшего стекла бокалы. Гарин закурил сигару, откинулся на соломенном стуле и, покачиваясь, жмурясь, стал рассказывать.

— Ты помнишь Манцева, Николая Христофоровича, сибиряка? В пятнадцатом году он разыскал меня в Петербурге, просил помочь. Он только что вернулся с Дальнего Востока, где его мобилизовали, и ловчился не попасть на фронт.

— Манцев служил в английской золотой компании?

— Производил разведки по верховьям Лены, Алдана и Олекмы. Парень талантливый, настойчивый, отлично знаком с местными условиями. Рассказал мне чудеса про экспедицию. Золотой песок, содержанием 25—30 золотников находили они на глубине пол-аршина. Ходили по золоту, как по навозу. Но условия добычи — ужасны. Нашли медь, свинец, выходы на поверхность антрацита. Мало того — якуты указали им какие-то «железные» камни необычайной тяжести. Оказалось, не что иное как молибденовая руда, — молибден чуть ли не в чистом виде. Колоссальная ценность. Из этих камней они сложили несколько пирамид.

— Но уголь, руды, молибден, даже золото — все это не про нас, на это только — зубами щелкнуть. Разработка требует миллионных затрат. А, вот, случайно, нечаянно, он наткнулся на такую удивительную штуку, что, когда рассказал, — я сразу почувствовал, как у меня карманы распухли от денег... Я немедленно «окопал» Манцева в Красном Кресте, и мы стали готовиться к экспедиции.

— Что же он нашел такое?

— Видишь ли, был с ним фотографический аппарат. Однажды, во время привала, в тайге, он заинтересовался профилем скалы, торчавшей двумя рогами над лесом. Якуты - проводники сказали, что это «шайтан-камень». На отвесном разрыве скалы оказался любопытный рисунок породы, а, кроме того, на высоте саженей десяти, непонятно каким образом, было высечено страшно древнее изображение шайтана — рогатая голова.

Манцев расположился перед скалой с фотографическим аппаратом. Кассета у него была деревянная, вложена одна пластинка. Когда тою же ночью он стал проявлять снимок, — пластинка мгновенно почернела, — не получилось ни слоев породы, ни головы шайтана, — негатив совершенно черный, и на нем — крест-на-крест — две светлые полосы.

— Испорченная пластинка, — сказал Ленуар.

— Нет. Он испробовал другие пластинки из той же коробки, — все в исправности. Днем внимательно разглядел негатив, — на черном фоне, кроме светлого креста, оказался едва заметный рисунок, как будто слоев красного дерева. Он стал припоминать: устанавливая аппарат перед скалой, он положил кассету на землю, и она лежала минут десять. Было похоже, что сквозь кассету прошли какие-то лучи, задержавшись в местах, где была крестовидная пружина и, отчасти, в более плотных слоях красного дерева. Это могли быть только а л ь ф а - л у ч и.

— Радий, — прошептал Ленуар, проливая шампанское.

— Да. Шайтан-камень и земля вокруг оказались с м о л я н о й р у д о й, во много сот раз более богатой радием, чем все до сих пор известные радиоактивные породы, даже богемские смоляные руды. У Манцева не было с собою физических приборов. Он клал на несколько секунд кассету с пластинкой на скалу, и пластинка э к с п о з и р о в а л а с ь м г н о в е н н о. Он поймал ворону, связал и положил в выкопанную ямку перед скалой. В тридцать две минуты ворона была убита альфа-лучами эманации радия. Он провозился две недели около скалы, и ему удалось собрать в обыкновенную бутылку эманацию радия в количестве, которому позавидовал бы сам Рёзефорд. Ты понимаешь, что после его рассказа мне будто на седалище поставили горчичник. У нас было мало денег, отчаянно мешала война. Но зимой шестнадцатого года все же удалось отправить Манцева передовым. Я предполагал весной присоединиться к нему с небольшой партией рабочих и с походной лабораторией. Кроме того, мне хотелось закончить модель моего аппарата, — попробовать ее для бурения почвы и разрушения скал. Но весной — революция. Манцев застрял в Омске. Затем — Колчак, и так далее. В 22 году я получил от Манцева из Ново-Николаевска короткую телеграмму: «Жив, не теряю надежды». С тех пор он как в воду канул.

— Но почему не попытаться самим отправиться на разведки?

— В том-то и дело, что один только Манцев знает, где найти в тайге этот шайтан-камень.

33.

В черной шелковой кофточке, какие носят мидинетки, в короткой юбке, напудренная, с подведенными ресницами, Зоя Монроз соскочила с автобуса у древних ворот Сен-Дени, перебежала шумную улицу и вошла в огромное, выходившее на две улицы, кафе «Глобус» — приют певцов с Монмартра, актеров и актрисок средней руки, анархически настроенных молодых людей из тех, что с десятью су бегают по бульварам, облизывая пересохшие от лихорадки губы, вожделея женщин, ботинки, шелковое белье и бриллиантовые перстни. Здесь бывали воры, проститутки и бойкие старички.

Под сухими уколами глаз Зоя Монроз отыскала свободный столик. Закурила тоненькую папироску. Положила ногу на ногу. Сейчас же близко прошел человек с венерическими коленками, — пробормотал сиповато: «Почему такая сердитая, крошка?». Она отвернулась. Другой, за столиком, прищурясь, показал язык. Еще один разлетелся, будто по ошибке: «Ки Ки, наконец-то!»... Зоя Монроз коротко послала его к чорту.

Видимо, на нее здесь сильно клевали, хотя она и постаралась принять вид уличной девчонки. В кафе «Глобус» был нюх на женщин. Она приказала гарсону подать литр красного и села перед налитым стаканом, подперев щеки. «Не хорошо, малютка, ты начинаешь спиваться», — сказал старичек актер, проходя мимо и потрепав ее по спине.

Она выкурила уже три папиросы. Наконец, не спеша, подошел тот, кого она ждала, — небольшого роста человек, средних лет, с узким, заросшим лбом, ледяными глазами. Плотные усы его были приподняты, цветной воротник врезывался в сильную шею. Он был отлично одет — без лишнего шика. Сел. Коротко поздоровался с Зоей. Поглядел вокруг, и кое-кто опустил глаза. Это был Гастон Утиный Нос, в прошлом — вор, затем бандит из шайки знаменитого Боно! На войне он выслужился до старшего унтер-офицера и после демобилизации перешел на спокойную работу кота крупного масштаба.

Сейчас он состоял при небезызвестной Сюзанне Бурж. Но она отцветала. Она опускалась на ту ступень, которую Зоя Монроз перешагнула еще в прошлом году. Гастон Утиный Нос говорил: «У Сюзанны хороший матерьял, но никогда использовать его она не сможет. Сюзанна не чувствует современности. Экое диво—кружевные панталоны и утренняя ванна из молока. Старо. Для провинциальных пожарных. Нет, клянусь горчичным газом, который выжег мне спину у дома паромщика на Изере, — современная проститутка, если хочет быть шикарной, должна поставить в спальне радио-аппарат, учиться боксу, стать колючей, как военная проволока, тренированной, как весемнадцати-летний мальчишка, уметь ходить на руках и прыгать с двадцати метров в воду. Она должна посещать собрания фашистов, разговаривать об отравленных газах и менять любовников каждую неделю, чтобы не приучать их к свинству. А моя, изволите ли видеть, — лежит в молочной ванне, как норвежская семга, и мечтает

о сельско-хозяйственной ферме в четыре гектара. Пошлая дура, — у нее за плечами публичный дом.

К Зое Монроз он относился с величайшим уважением. Встречаясь в ночных ресторанах, почтительно предлагал ей протанцовать и целовал руку, что делал единственной женщине в Париже. Зоя едва кланялась небезызвестной Сюзанне Бурж, но с Гастоном поддерживала дружбу, и он время от времени выполнял наиболее щекотливые из ее поручений.

Сегодня она спешно вызвала Гастона в кафе «Глобус» и появилась в обольстительном виде уличной мидинетки. Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно.

Потягивая кислое вино, жмурясь от дыма трубки, он хмуро слушал, что ему говорила Зоя. Окончив, она хрустнула пальцами. Он сказал:

— Но это — опасно.

— Гастон, если э т о удастся, вы навсегда обеспеченный человек.

— Ни за какие деньги, сударыня, ни за мокрое, ни за сухое дело я теперь не возьмусь: — не те времена. Сегодня апаши предпочитают служить в полиции, а профессиональные воры — издавать газеты и заниматься политикой. Убивают и грабят только новички, провинциальные парни, мальчишки, получившие венерическую болезнь, и дилетанты. И сейчас же засыпаются в полицию. Что поделаешь — зрелым людям приходится отстаиваться в спокойных гаванях. Если вы хотите нанять меня за деньги — я откажусь. Другая картина — сделать э т о для вас. Тут я бы мог рискнуть свернуть себе шею.

Зоя Монроз выпустила дымок из уголка пунцовых губ, улыбнулась нежно и положила красивую руку на рукав Утиного Носа.

— Мне кажется, — мы с вами договоримся, правда?

У Гастона Утиного Носа дрогнули ноздри, зашевелились усы. Он прикрыл синеватыми веками нестерпимый блеск слегка выпуклых глаз:

— Вы хотите сказать, что я теперь же мог бы освободить Сюзанну от моих услуг?

— Да, Гастон.

— Выйти из гавани под всеми парусами?

— Да, Гастон.

Он перегнулся через стол, стиснул бокал в кулаке.

— Мои усы будут пахнуть вашей кожей?

— Я думаю, что этого не избежать, Гастон.

— Ладно. — Он откинулся. — Ладно. Будет все, как вы хотите.

34.

Обед окончен. Кофе со столетним коньяком выпито. Двухдолларовая сигара — Корона Корóнас — выкурена до половины, и пепел ее не отвалился. Наступал мучительный час: куда ехать «дальше», какими сатанинскими смычками сыграть на усталых нервах что-нибудь веселенькое.

Роллинг потребовал афишу всех парижских развлечений.

— Хотите танцовать?

— Нет, — ответила Зоя, закрывая мехом половину лица.

— Театр, театр, театр, — читал Роллинг. Все это было скучно: трехактная разговорная комедия, где актеры от скуки и отвращения даже не гримируются, актрисы в туалетах от знаменитых портных глядят в зрительный зал пустыми глазами.

— Обозрение. Обозрение. Вот: «Олимпия», — сто пятьдесят голых женщин в одних туфельках и чудо техники: «деревянный занавес, разбитый на шахматные клетки, в которых при поднятии и опускании стоят совершенно голые женщины». Хотите — поедем?

— Милый друг, — они все кривоногие — эти девчонки с бульваров.

— «Аполло». Здесь мы не были. Двести голых женщин в одних только... Это мы пропустим. «Скала». Опять женщины. Так, так. Кроме того, «Всемирно известные музыкальные клоуны Пим и Джек».

— О них говорят, — сказала Зоя, — поедемте.

Они заняли литерную ложу у сцены. Шло обозрение. Непрерывно двигающийся молодой человек в цилиндре и фраке и перезревшая женщина в красном, в широкополой шляпе и с посохом говорили добродушные колкости правительству, невинные колкости шефу полиции, очаровательно подсмеивались над высоко-валютными иностранцами, впрочем, так, чтобы они не уехали сейчас же после этого обозрения совсем из Парижа и не отсоветовали бы своим друзьям и родственникам посетить веселый Париж. В прошлые времена точно так же из этой ложи на сцену сматривали не раз поместные русские либералы, и отсюда, по всей вероятности, и повелась идея — добиться в России кадетского министерства, чтобы насаждать в нашей сермяжной стране дух свободной критики, изящества и европейской легкости. Но это — между прочим.

Поболтав о политике, непрерывно двигающий ногами молодой человек и дама с посохом воскликнули: «Гоп, ля-ля!». И на сцену выбежали голые напудренные девушки. Они выстроились в живую картину, изображающую наступающую армию. В оркестре мужественно грянули фанфары и сигнальные рожки.

— На молодых людей это должно действовать, — сказал Роллинг.

Зоя ответила:

— Когда женщин так много, то не действует.

Затем занавес опустился и вновь поднялся. Занимая половину сцены, у рампы стоял бутафорский рояль. Застучали деревянные палочки джесбана, и появились Пим и Джек. Пим, как полагается, — в невероятном фраке, в жилете — по колено, штаны винтом, аршинные башмаки, которые сейчас же от него убежали (аплодисменты), морда — доброго идиота. Джек — обсыпан мукой, в войлочном колпаке, на заду — летучая мышь.

Сначала они проделывали все, что нужно, чтобы смеяться до упаду. Джек бил Пима по морде, и тот выпускал сзади облако пыли, потом Джек бил Пима по черепу, и у того вскакивал большой волдырь.

Джек сказал: «Послушай, хочешь — я тебе сыграю на этом рояле?» Пим страшно засмеялся, сказал: «Ну, сыграй на этом рояле» и сел поодаль на стул. Джек изо всей силы ударил по клавишам, у рояля отвалился хвост. Пим опять страшно много смеялся. Джек второй раз ударил по клавишам, у рояля отвалился бок. «Это ничего», — сказал Джек и дал Пиму по морде, тот покатился через всю сцену, упал (барабан — бумм), встал: «Это ничего»; выплюнул пригоршню зубов, вынул из кармана метелку и совок, какими собирают навоз на улицах, почистился. Тогда Джек в третий раз ударил по клавишам, рояль рассыпался весь, под ним оказался обыкновенный концертный рояль. Сдвинув на нос войлочный колпачек, Джек с непостижимым искусством вдохновенно стал играть Кампанеллу Листа.

У Зои Монроз похолодели руки. Обернувшись к Роллингу, она прошептала:

— Это великий артист.

— Это ничего, — сказал Пим, когда Джек кончил играть, — теперь ты послушай, как я сыграю.

Он стал вытаскивать из различных карманов дамские панталоны, старый башмак, клистирную трубку, живого котенка (аплодисменты), вынул скрипку и, повернувшись к зрительному залу скорбным лицом доброго идиота, заиграл бессмертный этюд Паганини.

Зоя поднялась, перекинула через шею соболий мех, сверкнула бриллиантами:

— Идемте, мне противно. К сожалению, я когда-то была артисткой.

— Крошка, куда же мы денемся? — половина двенадцатого.

— Едемте пить.

Через несколько минут их лимузин остановился на Монмартре, на древней улице, освещенной десятью окнами притона «Ужин Короля». В низкой и узкой, пунцового шелка, с зеркальным потолком и зеркальными стенами, жаркой и накуренной зале, в тесноте, среди летящих лент серпантина целлулоидных шариков и конфетти, покачивались в танце, перепутанные бумажными лентами, обнаженные по пояс женщины, к их гримированным щекам прижимались багровые и бледные, и пьяные, испитые, возбужденные мужские лица. Трещал, раскачивался рояль. Выли, визжали скрипки, и три негра, обливаясь потом, работали на джес-бане: били в тазы, ревели в автомобильные рожки, трещали дощечками, звонили, громыхали тарелками, лупили в турецкий барабан. Чье-то мокрое лицо придвинулось вплоть к Зое Монроз. Чьи-то женские руки обвились вокруг шеи Роллинга.

— Дорогу, дети мои, дорогу химическому королю, — надрываясь кричал метр-д'отель, с трудом отыскал место за узким столом вдоль пунцовой стены и усадил Зою и Роллинга. В них полетели шарики, конфетти, ленты.

— На вас обращают внимание, — сказал Роллинг.

Зоя, полуопустив веки, пила шампанское. Ей было душно и влажно под легким шелком, едва прикрывавшим ее груди. Целлулоидный шарик ударился ей в щеку. Она медленно повернула голову, — чьи-то темные, словно обведенные чертой, мужские глаза глядели на нее с мрачным востор-

гом. Она подалась вперед, положила на стол голые руки и впитывала этот взгляд, как вино: не все ли равно — чем опьяняться?

У человека словно осунулось лицо за эти несколько секунд. Зоя опустила подбородок в руки. Она почувствовала, почему у него осунулось лицо. Где-то она его видала? Кто он такой? — ни француз, ни англичанин. В темной бородке запутались конфетти. Красивый рот. «Любопытно, Роллинг ревнив?» — подумала она.

Лакей, протолкавшись сквозь танцующих, подал ей записочку. Она изумилась, откинулась на спинку дивана, покосилась на Роллинга, сосавшего сигару, прочла:

«Зоя, тот, на кого вы смотрите с такой нежностью, — Гарин... Целую ручку, Семен...».

Она, должно быть, так страшно побледнела, что неподалеку чей-то голос проговорил сквозь шум: «Смотрите, даме дурно». Тогда она нашла силу, протянула пустой бокал, и лакей налил шампанского. Роллинг сказал:

— Что вам написал Семенов?

— Я скажу после.

— Он написал что-нибудь о господине, который неприлично фиксирует вас глазами. Это тот, кто был у меня вчера. Я его выгнал.

— Роллинг, разве вы не узнали его?.. Помните, на площади Этуаль?.. Это — Гарин.

Роллинг только сопнул слегка. Вынул сигару — «Ага!». Вдруг лицо его приняло то самое выражение, когда он бегал по серебристому ковру кабинета, продумывая на пять ходов вперед все возможные комбинации борьбы с Гариным. Тогда он бойко щелкнул пальцами. Сейчас он повернулся к Зое искаженным ртом:

— Поедем, нам нужно серьезно поговорить.

В дверях Зоя обернулась. Сквозь дым и путаницу серпантина она снова увидела горящие глаза Гарина. Затем — непонятно до головокружения — лицо его раздвоилось: кто-то, сидевший перед ним, спиной к танцующим, придвинуся к нему, и оба они глядели на Зою. Или это был обман зеркал?..

На секунду Зоя зажмурилась и побежала вниз по истертому кабацкому ковру к автомобилю. Роллинг поджидал ее. Захлопнув дверцу, он коснулся ее руки:

— Я не все рассказал вам про свидание с этим мнимым Пьянковым-Питкевичем... Кое-что оставалось мне непонятным: для чего ему понадобилось разыгрывать истерику? Не мог же он предполагать, что у меня найдется капля жалости... Все его поведение — подозрительно. Но зачем он ко мне приходил?.. Для чего повалился на стол?..

— Роллинг, этого вы не рассказывали...

— Да, да... Опрокинул часы... Измял мои бумаги...

— Он пытался похитить ваши бумаги?

— Что? Похитить? — Роллинг помолчал. — Нет, это было не так. Он потерял равновесие и ударился рукой в бювар... Там лежало несколько листков...

— Вы уверены, что ничего не пропало?

— Это были ничего не значащие заметки. Они оказались смятыми, я бросил их в корзину.

— Умоляю, припомните до мелочей весь разговор...

Лимузин остановился на улице Сены. Роллинг и Зоя прошли в спальню. Зоя быстро сбросила платье и легла на широкую, лепную, на орлиных ногах кровать под парчевым балдахином,— одну из подлинных кроватей императора Наполеона Первого. Роллинг, медленно раздеваясь, расхаживая по ковру и оставляя части одежды на золоченых стульях, на столиках, на каминной полке, рассказывал с мельчайшими подробностями о вчерашнем посещении Гарина.

Зоя слушала, опираясь на локоть. Роллинг начал стаскивать штаны и запрыгал на одной ноге. В эту минуту он не был похож на короля. Затем он лег, сказал: «Вот, решительно все, что было», и натянул атласное одеяло до носа. Голубоватый ночник освещал пышную спальню, разбросанные одежды, золотых амуров на столбиках кровати и уткнувшийся в одеяло мясистый нос Роллинга. Голова его ушла в подушку, рот полураскрылся, он стал похож на мертвого.

Этот нос, в особенности, мешал Зое думать. Он отвлекал ее совсем на другие, ненужные воспоминания. Она встряхивала головой, отгоняя их, а вместо Роллинга чудилась другая голова на подушке. Ей надоело бороться, она закрыла глаза, усмехаясь. Выплыло побледневшее от волнения лицо Гарина... «Быть может, позвонить Гастону Утиному Носу, чтобы обождал?». Вдруг, точно игла прошла сквозь нее... «С ним сидел двойник... Так же, как в Ленинграде»...

Она выскользнула из-под одеяла, торопливо натянула чулки. Роллинг замычал во сне, она кинулась-было к нему, но раздумала. Пробежала в гардеробную. Надела юбку, дождевое пальто, туго подпоясалась. Вернулась в спальню за сумочкой, где были деньги.

— Роллинг, — тихо позвала она, — Роллинг... Мы погибли...

Но он опять только замычал. Она спустилась в вести юль и с трудом открыла старинные выходные двери. Улица Сены была пуста. В узком просвете над крышами мансард стояла желтоватая луна. Зою охватила тоска. Она глядела на этот лунный шар над спящим городом... «Боже, боже, как я одинока... Как страшно, как мрачно»... Обеими руками она глубоко надвинула шапочку и побежала к набережной.

35.

Старый трехэтажный дом, номер 63 по улице Гобеленов, одною стеной, подпертый деревянными наискосок поставленными сваями (контр-форсами), выходил на пустырь с досчатой вывеской: «Земля продается». С этой стороны

окна были только на третьем этаже — мансарде. Другая, глухая стена примыкала к парку. По фасаду на улицу, в первом этаже, на уровне земли, помещалось кафе для извозчиков и шофферов. Второй этаж занимала гостиница для ночных свиданий. В третьем этаже — мансарде — сдавались комнаты постоянным жильцам. Ход туда вел через ворота и длинный туннель.

Был второй час ночи. На улице Гобеленов ни одного освещенного окна. Кафе уже закрыто, — все стулья поставлены на столы. Зоя остановилась у ворот, где горело в фонарике «63». Опустила голову. Решилась. Позвонила. Зашуршала веревка, ворота приоткрылись. Она проскользнула в темную подворотню. Издалека голос привратника проворчал: «Ночью надо спать, возвращаться надо во-время». Но он не спросил — кто вошел? Здесь были порядки притона. Зою охватила страшная тревога. Перед ней тянулся низкий, мрачный туннель. В корявой стене, цвета бычьей крови, тускло светил газовый рожок. Указания Семенова были таковы: в конце туннеля — налево — по винтовой лестнице — третий этаж — налево — комната одиннадцать.

Посреди туннеля Зоя остановилась. Ей показалось, что вдалеке, налево, кто-то быстро выглянул и скрылся. Не вернуться ли? Она прислушалась, — ни звука. Она добежала до поворота на вонючую площадку. Здесь начиналась узкая, едва освещенная откуда-то сверху винтовая лестница. Зоя пошла на ципочках, боясь притронуться к липким перилам.

Весь дом спал. На площадке второго этажа облупленная арка вела в темный коридор. Поднимаясь выше, Зоя обернулась, и снова показалось ей, что из-за арки кто-то выглянул и скрылся... Только это был не Гастон Утиный Нос... «Нет, нет, Гастон здесь еще не был, не мог быть, не успел»...

На площадке третьего этажа горел газовый рожок, освещая коричневую стену с надписями и рисуночками, говорившими о неутоленных желаниях. Если Гарина нет дома — она будет ждать его здесь до утра. Если он — дома, спит, она не уйдет, не получив того, что он взял со стола на бульваре Мальзерб. В поединке, с кем угодно, она выйдет победительницей.

Зоя сняла перчатки, слегка поправила волосы под шапочкой и пошла налево по коридору, загибавшему коленом. На пятой двери крупно, белой краской, стояло 11. Зоя нажала ручку, дверь легко отворилась.

В небольшую комнату в открытое окно падал лунный свет. На полу валялся раскрытый чемодан. Мертво белели разбросанные бумаги. У стены между умывальником и комодом сидел на полу человек в одной сорочке, голые коленки его были подняты, огромными казались босые ступни. Луной освещена была половина лица, и на ней блестел широко открытый глаз. Человек этот улыбался оскаленными зубами.

Ужас ледяным дуновением коснулся Зои. Она глядела на неподвижно смеющееся лицо — это был Гарин. Сегодня утром в кафе «Глобус» она сказала Гастону Утиный Нос: — «Укради у Гарина чертежи и аппарат и, если можно, убей». Сегодня вечером она видела сквозь дымку над бокалом шампанского страшные глаза Гарина и чувствовала,—поманит такой человек — она все бросит, забудет, пойдет. Сегодня ночью, поняв опасность и бросив-

шись разыскивать Гастона Утиный Нос, чтобы предупредить его, она сама не сознавала, что погнало ее в такой тревоге по ночному Парижу из кабака в кабак, в игорные дома, всюду, где мог быть Гастон, и привело, наконец, на улицу Гобеленов. Какие чувства заставили эту умную, холодную, жестокую женщину отворить дверь в комнату спящего человека, обреченного ею на смерть.

Зою охватил ужас. В оцепенении она глядела на оскаленные зубы и выкаченный глаз Гарина. Она хрипло, негромко вскрикнула, подошла и наклонилась над ним. Он был мертв. Лицо посиневшее. На шее царапины от ногтей. Это было то лицо, — осунувшееся, притягивающее, с взволнованными глазами, с конфетти в шелковистой бородке... Зоя схватилась за ледяной мрамор умывальника, с трудом поднялась. Она забыла, зачем пришла. Горькая слюна наполнила рот. «Не хватает еще — грохнуться без чувств». Ее неудержимо потянуло прилечь на постель. Последним усилием она оторвала пуговицу на душившем ее воротнике. Пошла к двери. В дверях стоял Гарин.

Так же, как и у того — на полу, — у него блестели зубы ужасной улыбкой. Он поднял палец и погрозил. Зоя поняла, — сжала рот рукой, чтобы не закричать. Сердце билось, будто вынырнуло из-под воды... «Жив, жив»...

— Убит не я, — шопотом сказал Гарин, продолжая грозить, — вы убили Виктора Ленуара, моего помощника... Роллинг пойдет на каторгу...

— Жив, жив, — хриповато проговорила она. Он взял ее за локти. Она сейчас же закинула голову, вся подалась, не сопротивляясь. Он притянул ее к себе и, чувствуя, что женщину не держат ноги, — обхватил одною рукой ее за плечи.

— Зачем вы здесь?..

— Я искала Гастона...

— Кого, кого?

— Того, кому велела вас убить...

На секунду руки его ослабли. Затем судорожное мускульное движение потрясло его. Он сжал Зою, у нее хрустнули кости, она слабо ахнула.

— Если бы Гастон вас убил, я бы покончила с собой, — сказала она.

— Не понимаю...

Она повторила за ним, точно в забытьи, нежным, угасающим голосом:

— Не понимаю сама.

Странный разговор этот происходил в дверях. В окне луна садилась за графитовую крышу. У стены, освещенный желтым, скалил зубы Ленуар.

Блуждая по комнате глазами, Гарин проговорил будто в рассеянности:

— Убийца спустился в окно по сваям.

Зоя прошептала, почти касаясь губами его лица:

— Пощадите.

— Кого? Роллинга?

— Нет. Меня.

— Вы пришли за автографом Роллинга?

— Пощадите, — повторила она.

— Видите — сидит, оскалился... Оглянитесь... Я пожертвовал другом, чтобы погубить вашего Роллинга... Я такой же убийца, как и вы.... Щадить!.. Нет, нет... Автограф Роллинга должен быть найден полицией в этой комнате...

Он вытянулся, прислушиваясь. Сейчас же увлек Зою за дверь. Продолжая сжимать ее руку выше локтя, выглянул за арку на лестницу...

— Идемте. Я выведу вас отсюда через парк... Слушайте, вы потрясающая, изумительная женщина,—глаза его блеснули сумасшедшим юмором, — наши дорожки сошлись... Вы чувствуете это?.. Роллинг или я...

Он побежал вместе с Зоей по винтовой лестнице. Она не сопротивлялась, оглушенная странным чувством, поднявшимся в ней, как в первый раз забродившее мутное вино.

На площадке второго этажа Гарин повернул налево, по коридору — на узкую, темную лесенку, спускавшуюся прямо к двери в парк. Зоя молча, внимательно глядела, как он зажег восковую спичку и стальным крючком, навалившись, отомкнул ржавый замок, видимо, много лет не отпиравшейся двери.

— Как видите — все было предусмотрено. Они вышли под темные, сыроватые деревья парка. В то же время с улицы в ворота входил отряд полиции, вызванный четверть часа тому назад Гариным по телефону.

(Продолжение следует).

Родники Берендея.

Из записок фенолога с биостанции Б о т и к.

Михаил Пришвин.

I.

Щучий бой.

Пролет гусей.

В этот год, когда моя земля отдыхает, я не буду ничего придумывать: буду писать, не переменяя на свой лад имен, отмечая каждый день весны; героем моего рассказа пусть будет сама земля.

Потребность записывать все явления природы явилась во мне, когда я начал удерживаться от весенних отдаленных путешествий и когда я с т а л, мир пошел. В нынешнем году я достал себе фенологическую программу и веду записи, как требует наука, но в черновиках своих я тут же отмечаю и события своей личной жизни, встречи, замыслы, так что вся моя жизнь этой весны расположилась фенологически.

В тот день, когда я записал себе: «р а з б и в к а д о л г о х в о с т ы х с и н и ц н а п а р ы», Пете сказали в школе, что вторая ступень у них преобразуется в семилетку, он получит свидетельство об окончании, а если хочет дальше учиться, то надо переехать в другой город. А мы уже и раньше думали, как бы податься куда-нибудь поближе к воде и списывались с Переславлем-Залесским, где находится прекрасное Плещеево озеро. Случилось, что как раз в этот день долгохвостых синиц и Петиной семилетки получился ответ от заведующего Переславским музеем, что в Переславле школа недурная и при музее ребятам можно хорошо заниматься краеведением, что птиц всяких множество, подальше в лесах еще сохранились лоси, рысь, медведи, что в трех верстах от города на высоком берегу Плещеева озера есть историческая усадьба, где хранится ботик Петра Великого, и тут есть пустой дворец, в нем предполагается устроить биостанцию и, если я положу этому делу начало своими фенологическими наблюдениями, то могу занять любую квартиру в этом дворце.

После того в письме был подробно указан путь на лошадях прямо или же кругом через Москву по железной дороге до станции Берендеево.

Какие удивительные есть имена, и как они на меня действуют! дворец мне явился со сказочным дворцом Берендеева царства, и пошло и пошло в душе берендить.

— Ну, Берендей, — сказал я себе,— думать тебе больше нечего.

Страстное чувство природы совсем не мешает мне любить большие красивые города и их сложную жизнь: когда мне в городе захочется на волю, я сажусь на трамвай и через двадцать минут опять в поле. Я, должно быть, свободный человек. Годами живу в хижинах рыбаков, охотников, крестьян, люблю трудовых людей, мне холодно и неловко у богатых мещан, но это не мешает мне любить города и дворцы. Чорт бы ее подрал эту мою хижину, где летом при сильном дожде сухо только в печке, а зимой не вылезаешь из полушубка.

Куй железо, пока горячо; скорей стучи, молоток, по ящикам; туже затягивайся, веревочка.

— Лева, — командую, — коленкой, коленкой нажми, чтобы не развязалось дорогой.

— Петя, вычисти и смажь получше наши ружья, слышал: рыси есть и медведи.

Оставив детей сдавать экзамены, мы отправились в путь, и над нами дикие гуси летели на север, верно тоже к Плещееву озеру.

Пролет журавлей.

Мы в ограде Горицкого монастыря, большого, способного вместить тысячи людей города, расположенного крестом на берегах реки Трубежа и Плещеева озера. И может быть время такое и было, когда люди сюда вбирались от врагов. Теперь внутри стен пусто, сняты языки с колоколов; возле архиерейского пруда, соответствующего локоть в локоть размерам Ноева ковчега, бродят только две козы заведующего народным музеем историка местного края Михаила Ивановича Смирнова и с ними бегает Галя, дочка помощника заведующего, фауниста Сергея Сергеича Геммельмана.

С малой колокольни видна вся жизнь за стеной: множество монастырей и церквей древнего города и между ними поток деревенских людей на базар. Так все тут смешано в этом городе-музее: древняя обитель, где находится наш музей, называется Пречистая на Горице, а сама земля, на которой стоит Пречистая, называется Вшивая горка, и на Вшивой улице Свистуша, теперь переименована в улицу Володарского, потом Соколка, где жили когда-то соколиные помытчики Ивана Грозного, теперь же просто человек живет, гол, как сокол. Внизу лес церквей, так что между ними вот только проехать, одна из церквей, Сорок мучеников, стоит при самом впадении Трубежа в озеро

и названа в память утопленных в каком-то озере сорока мучеников, другая как раз напротив, тоже на берегу Трубежа и Плещеева озера, называется Введенье, потому что, по объяснениям рыбаков, служит введением в лов знаменитой Переславской селедки. А в конце города опять высота и на ней опять святыня, Федор на горе.

Так странно, что в болотах, испещренных малыми речками, мы уже справили весну воды, а Плещеево озеро все лежит, как зимнее поле, и только по едва различимой глазом лесной зубчатой оторочке догадываешься, что все это огромное белое поле — озеро. Налево от Горицкого на этом озере виднеется одна высота с белым дворцом в память Петра Великого и колыбели русского флота, на другой стороне высота Александровой горы с погребенным в земле древнейшим монастырем, и нам эта гора-Александрова, в честь Александра Невского, Переславского князя, а в народе гора называется Ярилова плешь.

Все это я сразу узнал от местного историка, посвятившего всю жизнь изучению родного Переславского княжества и сохранившего во всей чистоте владимирский говор на «о»:

— В Горицком я седьмой квартирант,—говорил он по-владимирски,— первым был шут: вон Шутова роща, Шутов овраг, и даже одна из наших башен называется Шутова.

Шут, потом финские жрецы, еще, еще кто-то, под самый конец архирей... Я хорошо запомнил шута и все думал о нем, когда историк рассказывал о каком-то селе Воскресенском, в народе называемом Чортовым.

— Не оттого ли, думалось, Шутово стало Чортовым, что в борьбе с веселым Ярилой или шутом святые отцы поставили невозможную задачу Воскресенья, одна невозможность вызвала другую, и бытовой добродушный Ярило перестроился в мистического злого чорта. Из всего этого великого замысла вышло теперь чорт знает что: Пречистая стоит на Вшивой горке, а высота древнего святого монастыря называется Яриловой плешью, и надо быть историком местного края, чтобы знать о монастыре, а живые бытовые люди, кому хочется здоровья и размножения больше всего, и до сих пор иногда в голом виде, протирая седалище, съезжают с высоты Яриловой плеши...

Все монастыри, все церкви, имеющие художественное значение, и ботик Петра Великого и Ярилова плешь — все принадлежит музею.

— Вот так музей,— сказал я,— от Ярилы до Петра Великого...

— И после Петра,— ответил историк,— хотите сейчас покажу Екатерину, Елизавету...

В это время прибыли посетители музея, и все мы пошли смотреть Успенскую церковь.

Этот историк отличный хозяин и своего рода переславский собиратель земли, а главное, великоросс: может представить картину и на широкой воле и, когда нужно, вильнуть по узенькой тропинке... Заметив, что не всем интересен рассказ про екатерининский иконостас и елизаветинское

барокко и что многие неопределенно блуждают глазами по голубым сводам он начинает рассказывать про архиерея Геннадия Кротинского, умершего от холеры и погреб нного под этим храмом. Место могилы на полу храма обнесено решоткой и за ней какой-то накрытый бугорок· Бывало, монах доставал отсюда из-под плата рукой песочек, раздавал верующим, и те думали, будто это земля из-под сводов, через камень, бут и дерево пола выпирает наверх. А вот теперь каждый может открыть платок рукой и убедиться, что песок просто насыпан в жестяную коробку из-под карамели, с которой даже не потрудились стереть надпись: Эйнем. Смесь.

Один из посетителей не обращавший внимания на екатерининское и елизаветинское искусство, не улыбнулся и на «Эйнем. Смесь». Михаил Иванович указал этому мрачному юноше на фреску богатого и Лазаря:

— Это в огне буржуй кипит,— сказал он,— а пролетарий, смотрите, вознесен горе в лоно Авраамово!

Посетитель оживился и сказал:

— Вот видите, с каких времен это все существует.

— Молодой человек,— ответил историк,— так было действительно очень давно.

Когда мы вышли из церкви и со стены глянули на озеро, то все заметили, что сегодня, в очень теплый день, отделилась узенькая голубая полоска заберегов и высоко плыли, курлыкая, журавли.

Валовой прилет.

Валит мокрый снег. Иду по кочковатому болотистому лугу краем озера в Рыбацкую слободу. Чайки, верно уже устраивая гнезда, обрезают с резким криком мой путь так близко, что жмуришь глаза. Недалеко от Рыбаков на широкой заводи между берегом и льдом раздалось необыкновенно сильное хлопанье крыльев и незамеченный раньше от сильного мокрого снега поднялся совсем близко от меня лебедь. Вытянув длинную шею, совсем как утка, только большой и белый, полетел на озеро и скрылся во льдах. Вдоль заберегов то-и-дело прокатывались парами чирки и кряквы. На обратном пути там, где был лебедь, прячась за кочками, я захватил гусей: вожак плыл впереди и вел за собой четырех. Всполохнувшись, они недалеко отлетели и сели возле самого льда. В грязи у воды копошились чибисы. Начался валовой прилет дичи.

Под яром на косе, против Гремячего ключа за эту ночь вырос шалашик из елового лапиника и дома мне сказали, что это мельник поставил, наш мельник с Гремячей мельницы, что он заходил просить меня не помешать ему своей охотой и обещался еще раз зайти.

— Очень вежливый, — сказали мне, — совсем молодой человек и, говорят, из дворян.

Вскоре явился и сам молодой человек, высокий с красивыми глазами, похожий скорее на студента, чем на мельника.

— Вы понимаете в ружьях? — спросил он меня после первых слов. И, вернувшись в кухню, принес ружье.

— Шомполка, — сказал я, — это не ружье.

— Ничего, я скоро куплю центральное, мне один мужик должен сорок пудов,—как получу, так куплю ружье и лодку. А мое образование пять классов гимназии.

— Вы один?

— Жена и ребенок. Я зарабатываю два фунта с пуда, всего десять пудов в месяц. Скажите, пожалуйста, где есть такие места, чтобы много было дичи?

— На Плещеевом озере начался валовой прилет дичи, — чего же вам больше: лебеди, гуси, утки всех пород.

— Я бы хотел попасть в такие места, где бы не ступала нога человека.

И, не дождавшись моего ответа, спросил:

— А вы любите человечество?

— Интересуюсь.

— А я ненавижу. В особенности отвратительны наши мужики: хитрые, злые, жестокие.

— Разные бывают мужики...

— Все одинаковы. А что значит беллетрист?

Я сказал.

— В таком случае, позвольте мне рассказать, как я женился.

— Мне спать хочется, вы наверно тоже хотите?

— Нет, я пойду читать Максима Горького. Ведь мельница сама работает, я читаю, а она работает, мне это нравится. А жена моя в городе, шьет.

Он вышел, вежливый, грустный, первый мой знакомый на Ботике. Вслед за ним вошел рядиться городской печник, мрачный человек, с лицом аскета, и навел меня на мысль, что это очень религиозный человек.

— Сколько, — сказал я, — в вашем городе церквей?

— А до бога все далеко.

— Вы хотите сказать, что нет бога.

— Может быть, и есть где-нибудь, да ему до нас все равно, как нам до комаров.

— Вы цените, вероятно, только науку?

— Истинная религия — социализм.

Так мы начали с печником рядиться о печке. Вспомнив разговор с мельником, я спросил печника: кто такой этот молодой человек?

Печник ответил:

— Прежнего нашего земского начальника в третьем колене племянник.

Прилет свиязи.

Валом валит всякая охотничья дичь, свистят, шумят крыльями. Из новых я отметил свиязь в большом числе и слышал, что эта более редкая утка гнездится тут же недалеко в соседнем зарастающем озере.

У меня был рыбак, служащий в местном рыбацком кооперативе. Когда я спросил его, чем он занимался до революции, он ответил, что служил в полиции и был даже приставом. Когда же я, очень удивленный этим откровенным ответом, сказал ему: «да как же вы уцелели?», тогда он, в свою очередь очень удивленный, сказал: «да у нас же в Переславском краю ничего не было».

Я привел множество всего, уже замеченного мною: что в одну церковь, на базаре, вгнездилось потребительское общество, что один мещанин, большой хозяин, из-за хозяйственных столкновений убил свою жену, променявшую домашнее хозяйство на службу в исполкоме, и много такого... Рыбак соглашался, но стоял на своем. Я понял, в конце концов, его так, что революцию здесь испытывают так же, как и везде, но потому, что в этом краю мало помещиков, мало было и разрушительных выступлений масс.

По пути в город я зашел к председателю сельсовета отдать ему свой паспорт для прописки. Самого председателя не было дома, а жена его, молодая женщина, очень бойкая, попросила у меня немного денег взаймы и обещалась отдать потом картошкой, она ссылалась на годовой праздник. Когда я ей дал деньги, она сказала: «благодарю вас, б а р и н», и я вспомнил о словах рыбака, что революции тут не было.

После обеда ко мне является председательша с запиской от мужа:

«Я, председатель райсельсовета, прошу я вас, пожалуйста, приходите ко мне в гости, очень буду вами благодарен. Ежели придете, и впредь будем с вами знакомы».

Я ответил уклончиво и стал думать, итти мне или не заходить. К счастью, заглянул ко мне мельник с Гремячей мельницы, и я спросил его о председателе. В практической жизни молодой человек оказался вовсе не так уж наивным.

— Бывает, — сказал он, — три типа председателей — первый тип стоит горой за деревню, готов из-за общества на всякое даже очень пакостное дело: более редкий тип. Второй — признает советскую власть и делает карьеру без вреда обществу; третий достигает личного за счет общества. Наш председатель признает советскую власть и делает карьеру без вреда обществу.

Отпустив мельника, я решил не ходить, потому что средние типы меня не интересуют.

К вечеру, однако, является сам председатель вместе со своим кумом сапожником,— он сильно навеселе, сапожник пьян. Плели они ерунду и долго я не мог отделаться и, вероятно, так бы и пропал весь вечер, но случилось, что сапожник наступил моему породистому псу на ногу и тот жалобно завыл! Сапожник бросился к собаке и стал целовать ее в нос. Заметив, что Ярику запах самогонки неприятен, я предупредил сапожника, но было уже поздно: Ярик укусил его за нос. От боли сапожник вдруг очувствовался, по-детски обиделся на собаку и подался к выходу. Провожая гостей, я пустил пробный камень, сказав председателю:

— Край-то у вас какой милый, как будто совсем и не было революции!

И человек, делающий свою карьеру на совершившейся революции, желая мне угодить, как жена, назвав б а р и н о м, сказал:

— И ни ма-лей-шей.

Так показались два мира усадьбы и деревни, и это было влияние стен дворца, устроенного дворянством для приезда царей.

Зацветание орешника.

В лесу бело и черно, пестро, в оврагах шумит вода и над ней припекаемый солнцем выкинул орешник золотые сережки. Ярик сделал на слух свою первую стойку, думал по токующему тетереву, а оказалось, это почти под его ногами по-тетеревиному журчала вода. Тетерев токовал дальше. Мы подняли токовника, с ним было четыре тетерки. Дерево наше сильно рычит, днем и даже ночью слышно через закрытые окна. Я полюбил его, оно мне родное: ведь это я только не люблю говорить, а весной и у меня в душе тоже что-то рычит...

Закраек льда озера против Ботика подстелен льдом, но по канавке из-подо льда щука все-таки может выйти сюда к берегу. Наш сторож Думнов стоит с острогой, как Нептун, подальше знаменитые щучьи бойцы братья Комиссаровы, за ними дьякон и так по всему закрайку с нашей Веской стороны в Надгород, по одной стороне в Зазерье, — кругом все нептуны.

Мне сказали они, что выход щуки бывает от свету до восхода, в девять утра, в полдень, в пять часов вечера и до заката. Я рассказал им, что при чистке царицынских прудов была поймана щука с золотым кольцом Бориса Годунова, весом была три пуда, и спросил их, может ли быть такая щука и в Плещеевом озере.

— Есть, — сказали они, — только озеро очень глубокое, и та щука из глубины не выходит. А с золотым кольцом есть в озере язь, пустил его Петр Великий.

— Убил ли кто-нибудь щуку за эти дни? — спросил я.

— Щука еще не выходила, — ответили мне, — а м о л о ш н и к о в бьют.

Молошниками называются самцы, небольшие сравнительно с самкой-щукой.

Мельник приходил звать на охоту с круговой уткой. Не поверилось как-то, что у него утка будет кричать, отказался. Он был весь в глине. Я ему сказал, что нехорошо бывшему дворянину ходить таким грязным.

— Такое дело, — ответил он.

— Почему же вон тот рабочий, — указал я на его мастера, — чистый?

Молодой человек смешался и, нечего делать, признался, что сегодня он ходил в исполком и когда он ходит туда, то никогда не моется и даже нарочно грязнится: надо делать рабочую карьеру.

Вечером собрался дождь.

Оттого, что рамы одиночные и лес возле самого дома, установился сон, как в лесном шалаше, отсвечающий, как зеркало, внешнему миру. Моим сновидением управляет рычащее дерево и так выходит, будто это я сам попал в овраг, как это дерево. И вдруг резкий крик утки и без всякого перехода от сна к яви, догадываюсь, что это кричит круговая утка у мельника. Потом раздалось ее неистовое: ах, ах, ах! — это значит, она увидела селезня. Я вскочил с кровати и, пока бежал к выходной двери, селезень наверно подплывал к утке и, только-только я взялся за ручку, раздался выстрел. В полумраке нельзя еще мне было с Гремячей горы разглядеть круговую утку, был виден только шалашик.

Пока согревался самовар, мельник убил еще двух селезней.

После чая, когда по моему расчету охота на уток должна была кончиться, я спустился на мельницу и, как увидел житье, с этого часа стал мельника звать Робинзоном: в избушке было грязно, разломано, разбросано, через потолок виднелось небо, сам Робинзон сидел возле накаленной железки, щипал утку, с ним сидели тут же охотники и чистили картошку. Главный из охотников, Ежка, рассказывал много про тетеревей, что есть тетерева посиней, а есть пожелтей, и что есть вальдшнепы покрупней и помельче, а у крякв явно заметно различие, даже можно сказать, что ни одной кряквы нет похожей одна на другую, совершенно так же как у людей, и тоже зайцы...

Кто эти люди? Какие-то мелкие служащие, техники, считаются в городишке за полудиких людей, но они природные следопыты-краеведы, фенологи и подлинное, не сентиментально-мещанское и не книжное, не от Руссо и Толстого, чувство природы сохранилось почти только у них. Вот из каких людей и надо искать себе сотрудников по изучению края. Это я им все сказал, и мы заключили союз для фенологических наблюдений и уговорились вблизи Ботика ничего не стрелять из гнездующих птиц, а по возможности даже и зайцев.

Когда заговорили о зайцах, я сказал, что на Ботике заяц выскочил из подвала.

— Русак? — спросил Ежка.

И, узнав, что русак, сказал:

— Зайцы постоянно ложатся на Ботике, несколько штук зимой непременно лежит в самом Переславле. Вы знаете дом К.? Не знаете, а М.? Тоже не знаете, что же вы знаете?

Я сказал, что знаю древний Переславль, собор XII века, остаток мельницы, крепости, место скудельницы, где теперь Даниловский монастырь, столб Тохтамыша...

— Столб Тохтамыша знаете, ну вот как раз против есть деревянный домик с большим огородом и там на огороде русак жил, кочерыжки грыз. По первой пороше мы по нем пустили собак.

Ежка подробно рассказал про весь пробег неутомимого зайца по историческим местам: из города на Ботик и через Переславское озеро к знаменитой Александровой горе, где раскопки обнаружили славянское языческое

капище, потом опять в город на Советскую улицу и через крепость, где-то напоролся правым глазом на железный прут, мальчишки «взяли его в переплет» и, спасаясь от них, он влетел в открытые двери милиции. Между тем охотники, потеряв зайца, созвали собак, привязали, возвращались домой и, вдруг увидев на Советской улице свежий след, обошли его и пустили собак. Им недолго пришлось бежать, след вел в милицию, вся стая с ревом внеслась в учреждение и за стаей вваливаются охотники. В это время милиционеры уже не только поймали зайца, а бросали между собой из-за него жребий, кому достанется. Охотники отбивать, милиционеры не дают, дело чуть до кулаков не дошло, в конце концов, охотники уступили, но пригрозив милиционерам: «погодите же, вот вы нам в лесу попадетесь, ноги из брюха вам выдернем».

Дома я решил записать рассказ, интересный потому, что никогда еще в жизни мне не приходилось гонять зверей в городе и пробег зайца по историческим местам особенно мне казался любопытным. К сожалению, как раз на том месте, где заяц напоролся на прут, память мне изменила, и потому для справки я опять спустился на мельницу. Там был уже один Робинзон.

— Не помните,— спросил я,— где заяц напоролся правым глазом на железный прут?

Робинзон ответил:

— При переходе площадки церкви св. Духа, тут место огорожено железной решоткой.

Щучий бой.

Установилась погода днем теплая, почти жаркая, а ночью луна и такой сильный мороз, что забереги намерзают почти на палец толщиной. А эти забереги теперь уже как широкая голубая река. Лед держится только мысами. Но из Усолья в Переславль народ по-прежнему ездит озером на санях в базарные дни.

Щучий бой начался, и у бойцов пропадает только утро, потому что ночью вода замерзает и если даже и выйдет где щука, то по шороху к ней не подойти с острогой. Бойцы, однако, с утра занимают позиции и стоят по одному со своими о с т р о г а м и, неподвижные. Вечером по бережью всюду огни: с т р о ж а т, с лучом идут по воде выше колена между берегом и льдом, один несет козу и светит, а два другие с острогами. С часу на час ожидают выхода самых больших щук.

Я попробовал подходить к бойцам и разговаривать, все очень это не любят и даже, когда заметят подход, отодвигаются. Пробую сам стоять с ружьем, но это невыносимо скучно, не понимаю, откуда у них берется такое терпение. После долгих наблюдений, однако, я понял: когда кто-нибудь заметит щуку и с поднятой острогой начинает к ней подкрадываться, все напряженно следят за ним: вероятно, терпение берется не только от надежды заработать на рыбе, а еще берет и азарт.

Вечером, когда темно и начинают люди сходиться, приготовляться к лучению, круговая почта по озеру от рыбака к рыбаку доносит новости дня.

Сегодня новость: в устье реки Трубежа убита щука в пуд два фунта весом. Рыбак сидел на свае, увидел огромную рыбину и ударил ее, как скопа: убить не убил, а только завязил в теле ее свою острогу, как скопа ноги. Щука метнулась, рыбак свалился в ледяную воду, но не выпустил из рук остроги, скрылся под водой, вынырнул возле льда, вылез и вытянул уморенную щуку.

В самом городе будто бы кто-то с моста метнул острогу в большую щуку, попал и с горяча бросился в воду, но щука ушла с острогой.

В полумраке Думнов, один из тех, что с Петром думу думали, в сторонке от всех по мелкому месту тащит огромную сваю, рушит ее с воды на край льда и перебирается на лед. Он заметил, что из-подо льда время от времени показывается чудовищная голова...

Видели, как Думнов наметился, да так и остался с поднятой острогой, оказалось, побоялся ударить, щука могла утащить его под лед.

На берегу и ругались и смеялись, а Думнов требует себе самогонки, выпивает бутылку зараз, ждет.

И вдруг сомнения о думновской щуке окончились, все видели, как показалась из-подо льда и вернулась назад огромная голова. Думнов требует вторую бутылку самогонки.

После второй бутылки показывается та чудовищная голова. Думнов ударил и правильно: пришил щуку ко льду. Но что теперь делать дальше, если от длинной остроги над водой остался только очень маленький кончик, такую щуку нельзя достать на остроге, а руками не дотянешься, как быть. Думнов не плохо сделал, что выпил две бутылки самогонки, теперь ему по колено море: спускается в ледяную воду, становится ногами на щуку, скрывается совсем под водой, там впивается пальцами в щучьи глаза, показывается снова из-под воды, волочит к берегу свою добычу. Все видят: огромная щука и с ней молочник фунтов на десять.

Думнов бросает щуку в яму, и тут вдруг она отживает и вот она какая: метнула хвостом, и молочник, фунтов на десять, отлетел от нее шагов на пятьдесят.

Думнов кушаком продевает под жабры, подвешивает так, что щучья голова у него вровень с затылком, а хвост волочится по земле. Идет в деревню, собираются бабы, вся деревня сбегается, и везде молва: Думнов щуку убил и еле-еле донес.

И пошла молва кругом всего озера с Веськой стороны в Надгород, с Надгорода по оной стороне в Зазерье, через Урев в Усолье, всюду молва: Думнов из Веськова щуку убил в полтора пуда весом и с ней молочник был фунтов на десять.

Ночью мы сели в шалаш с круговой уткой. На заре хватил мороз, вода замерзла, я совершенно продрог, день ходил сам не свой, к вечеру начало трепать. И еще один день я провел в постели, как бы отсутствуя сам и предоставляя себя делу борьбы Живота и Смерти. На рассвете третьего

дня мне привиделся узорчатый берег Плещеева озера и у частых мысков льда на голубой воде были все белые чайки. Было и в жизни это точно так, как виделось, но в разлуке стало прекрасным. И до того были хороши эти белые чайки на голубой воде и так впереди еще было много всего прекрасного: я увижу еще и все озеро освобожденным от льда, и земля покроется зеленой травой, березы оденутся, услышим первый зеленый шум...

Дерево почему-то перестало рычать,—почему не рычит дерево? Вместо этого кто-то прекрасно поет.

— Это, кажется, зяблик?

Мне ответили, что еще вчера повернуло на тепло и был слышен легкий раскат отдаленного грома.

Я, слабый от борьбы за жизнь, но счастливый победой встал с постели и увидел в окно, что вся лужайка перед домом покрыта разными мелкими птицами: много было зябликов, все виды певчих дроздов, серых и черных, рябинники, белобровики, все бегали по лужайке в огромном числе, перепархивали, купались в большой луже. Был валовой прилет певчих птиц.

Собаки наши, привязанные к деревьям, вдруг почему-то залаяли и как-то глупо смотрели на землю.

— Что гром-то наделал! — сказал Думнов.

И указал нам в то место, куда смотрели собаки.

Сверкая мокрой спиной лягушка скакала прямо на собак и, вот только бы им хватить, разминулась и направилась к большой луже.

Лягушки отжили, и это наделал гром: жизнь лягушек связана с громом, ударил гром и лягушки отжили, и уже спаренные прыгали, сверкая на солнце мокрыми спинами и все туда — в эту большую лужу. Я подошел туда к ним, все они из воды высунулись посмотреть на меня, я ближе и они ближе: страшно любопытные.

На припеке много летает насекомых и сколько птиц на лужайке! Но сегодня, встав с постели, я не хочу вспоминать их названия, сегодня я чувствую жизнь природы всю целиком, и мне не нужно отдельных названий, со всей этой летающей, плавающей, бегающей тварью я чувствую родственную связь и для каждой в душе есть образ-памятка, всплывающий теперь в моей крови через миллионы лет: все это было во мне, гляди только, и узнавай.

Просто, вырастая из чувства жизни, складываются сегодня мои мысли: на короткое время я расстался от болезни с жизнью, утратил что-то и вот теперь восстанавливаю. Так миллионы лет тому назад нами были утрачены крылья, такие же прекрасные, как у чаек, и оттого, что это было очень давно, мы ими теперь так сильно любуемся. Мы потеряли способность и плавать, как рыба, и качаться на черенке, прикрепленном к могучему стволу дерева, и носиться из края в край семенными летучками, и все это нам нравится, потому что все наше и было давно. Мы в родстве со всем миром, мы теперь восстанавливаем связь силой родственного внимания и тем самым открываем свое же личное в людях другого образа жизни, даже в животных, даже в растениях.

Сегодня я отдыхаю от болезни, я не могу работать, отчего бы не позволить себе еще немного этой роскоши домашней философии? В этом есть грубая правда, что человек творит мир по образу своему и подобию, но, конечно, мир существует и без человека. Больше всех это должен знать художник, и непременное условие его творчества забываться, чтобы верилось в существование вещей живых и мертвых без себя. Мне кажется, что наука только доделывает уже лично восстановленный образ утраты. Так, если художник, сливаясь в существе своем с птицей, укрыляет мечту, и мы с ним мысленно летим, то скоро является ученый со своими вычислениями — и мы летим на механических крыльях. Искусство и наука вместе взятые — силы восстановления утраченного нами родства.

К полудню, как и вчера, слегка прогремело, полил теплый дождь, в один час лед на озере из белого сделался прозрачным, принял в себя, как вода заберегов, синеву неба, так что все стало похоже на цельное озеро.

В лесу на дорожках после заката поднимался туман и через каждые десять шагов взлетала пара рябчиков. Тетерева бормотали всей силой, весь лес бормотал и шипел. Потянули и вальдшнепы.

В темноте в стороне города были тройные огни: наверху голубые звезды, на горизонте более крупные желтые городские жилые огни и на озере огромные почти красные лучи рыбаков. Когда некоторые из этих огней приблизились к нашему берегу, то показался и дым, и люди с острогами, напоминающие фигуры с дротиками на возах Оливии и Пантикапеи.

Да, я забыл записать самое главное: после долгих усилий мы сегодня нашли, наконец, рычащее дерево: это береза терлась от самого легкого ветра с осиной, теперь у березы из растертого места лил обильный сок и оттого дерево не рычало.

II.

Весна зеленой травы.

Тема.

В рыбацкой слободе, где так бедно и тесно, я видел, чайки сидели на столбиках и тут же дети бегали и их не тревожили. Зная своих, более культурных детей и вспоминая, сколько труда надо было положить, чтобы отучить их от жестокости, я думал: «сколько прошло поколений рыбаков, передающих одно другому заповедь охраны прекрасных и бесполезных, кажется, птиц, чтобы полудикие мальчики не швырялись в них камнями и что одним западает в душу от рафаэлевой мадонны, то этим бедным досталось от какой-нибудь чайки и верно оттого мы и не кусаемся и кое-как понимаем друг друга».

Сегодня приехали Петя и Лева, бросились к чайкам и дивились им. Потревоженные детьми на местах гнездований, они вдруг все поднялись, закрыли мне небо и поля, потом рассыпались, стали, как снег идет,

и когда сели на зелени, то зеленое поле все стало белым. Мы узнали, что чайки находятся под охраной населения, что стрелять их запрещается и что в народе они до сих пор еще называются в и т а х а м и (витают).

Пришел к нам Робинзон и сразу сцепился с Левой, доказывал ему, что избираемый им после окончания средней школы путь деятельности,—кооперация,—есть путь насилия и господства. Лева рассердился и резал ему, что если даже и так, то господство и насилие теперь необходимы и лучше будем господствовать мы, чем вы, дворяне, и не подумайте, что я комсомолец, я не партийный.

— Да ведь и я же, — говорил Робинзон, — не дворянин — я мельник, только я имею идеал личной свободы и не хочу никого обижать.

— Да вы думаете только о личном и не хотите знать новых обязанностей к обществу: если вы общественный работник, то обижать непременно приходится, вот папа, пожилой человек, и все-таки понимает это, вы же молодой и не понимаете, потому что вы дворянин, а папа вышел из разночинцев.

— Ну, Лева,— засмеялся я,— как это ты припомнил, а я уже и забыл, что я разночинец.

И Робинзон:

— Меня, Лева, так много били уже за дворянство,—зачем же вы еще прибавляете?

— Вы наверно и в бога верите,— сказал Лева.

— Верю.

— Каким же вы его себе представляете?

— Могучим, гордым, самолюбивым.

— Дворянский идеал. Неужели и в церковь ходите?

— Нет, церковь, попов не признаю.

— Ну, хоть это-то: это хорошо!

У детей так славно сложилось: двое у Михаила Ивановича, Соня и Сева оканчивают вторую ступень, у Сергея Сергеевича Галя и приехали три сына-студента, мои тоже приоделись к празднику, у Левы даже английское пальто, так что его сразу прозвали Керзоном, даже Петя, всегдашний оборвыш, весь в новом. Все они по случаю праздника выпили на «ты» и захороводились на дворе музея.

И вдруг, как снег на голову, без всякого предупреждения являются трое делегатов от Сокольницкой биостанции юных натуралистов, один в австрийской солдатской шинели, другой в английской, третий в русской, а когда сняли шинели, то там оказалось еще хуже, у одного даже штаны не доходили донизу. У всех были сумки, сетки и за поясами наганы. Натуралисты встретились с нашей приодетой молодежью, как люди разных миров, познакомились и разошлись. Даже на Леве, самом передовом, сказалось влияние праздника и, когда он привел молодых людей ко мне на Ботик, то доложил:

— К тебе из Сокольников какие-то бандиты приехали.

Мы познакомились. Ребята знали меня и отнеслись с большим уважением. Подогретый сочувствием, я сел на своего конька и говорил им,

что хотел бы устроить биостанцию с краеведческим уклоном и сам бы хотел работать в области сближения науки с искусством.

— Большинство животных и растений,— говорил я,— тесно связаны с жизнью человека, но до сих пор наука очень мало занималась изучением этой связи и, вероятно, тут должно помочь науке искусство. Возьмите чайку и рыбака, посмотрите, как удивительно сочеталась жизнь этих бедных людей с прекраснейшей птицей...

Старший из натуралистов сказал:

— Это тема!

И записал себе в книжке:

Два другие вполголоса:

— Мы обсудим это сегодня же после собрания.

— Вы все обсуждаете? — сказал я.

— Да, — ответил старший, — мы все обсуждаем и потом коллективно действуем и так у нас ни минуты не пропадает.

— Значит, и ко мне вы не просто пришли побеседовать.

— Мы пришли учесть вашу живую силу.

— И что̀ же вы находите, это не секрет?

— Мы находим, что вы очень можете быть нам полезным для агитационных целей: вы прекрасно говорите и пишете: как натуралист, вы, вероятно, поверхностный, но фенологические наблюдения вы можете делать прекрасно, и очень желательно бы было, чтобы вы занялись кольцеванием птиц, потому что вы охотник и птицы часто у вас бывают в руках.

Я пожал им руки с улыбкой, и они с охотой стали рассказывать о себе... Старшему двадцать лет, он окончил школу второй ступени и состоит лаборантом биостанции и преподавателем физики в школе, высокий молодой человек с приятным лицом, заметно руководящий и вообще председатель. Другой помоложе, поменьше, потише и углубленней, верно хорошая рабочая сила: секретарь. Третий с матросскими знаками на руках, сильный малый, имел замечательную судьбу: сам из беспризорных, воспитался революцией, много набедил и опустился на дно. Но как-то случайно попал на биостанцию, посмотрел, что свои же беспризорные работают с микроскопами, заглянув в стеклышко и, как в прежнее время кто-нибудь вдруг поверил бы в бога и пошел в монастырь, этот поверил в науку, занялся, теперь тоже окончил. У него немного восточное лицо, а по фамилии Палкин.

— Вот вы нас понимаете, — сказали они, — а как трудно с комсомольцами.

— Да вы-то разве не комсомольцы?

— Да, мы комсомольцы и даже коммунары, но еще и натуралисты и потому понимаем явления общественной жизни глубже, а они все еще удовлетворяются политграмотой.

Вдруг все они посмотрели на часы: им надо спешить на собрание к местным комсомольцам, где они будут пропагандировать свой новый метод применения биологии для решения вопросов общественной жизни.

На прощанье я спросил:

— Как же вы думаете, возможно нам вместе с вами устроить здесь биостанцию?

Председатель ответил:

— Мы учтем ваши живые силы и потом ответим определенно.

Позеленение лужаек.

С утра все небо закрыто. Мелкий теплый дождик.

На лужайках показалась первая зелень, начинается весна зеленых покровов. На кухне сказали:

— Овца и сейчас может наесться.

Снег двумя, тремя пятнами остался только в ложбинках на северном склоне Гремячей горы. Стала очень заметна работа кротов.

В пять вечера выглянуло солнце, и воздух стал необыкновенно прозрачным. Простым глазом очень ясно можно было разобрать на той стороне и Городище и Александрову гору с Яриловой плешью. Со стороны деревни был слышен первый хоровод. Очень легкий зюд-вест незаметно за день отогнал от нашего берега на север лед, и он к вечеру сходился с синей громадой туч.

Все коммунары явились ко мне с просьбой дать им ружья и проводить их на тягу. Я дал им ружья, но сам итти не мог и предложил им в проводники Петю. Товарищи переглянулись и председатель сказал, что он останется со мной побеседовать. Я понял, что председатель жертвует охотой для изучения моей живой силы. Я нисколько не обижаюсь этому изучению, я сам изучаю, у меня свой загад, и еще посмотрим, кто кого учтет. Моя молодость тоже прошла в подпольной коммуне и мое изучение похоже скорее на воспоминание.

— Итак,— говорю я,— вас в коммуне пятнадцать человек — восемь юношей и семь девушек, таким образом, один юный натуралист остается без подруги.

— Это у нас исключается.

— Вы меня плохо поняли, я говорю о сочувствии, переходящем постепенно в любовь.

— Такая любовь ничему не мешает и все выражается только тем, что двое работают с одним микроскопом.

— Но если у вас, например, что-нибудь разорвется в костюме, иголочку вы попросите все-таки у нее.

— Да, вначале это было со мной. Я крикнул: «Катька, почини мне штаны!». И знаете, что она мне ответила?

— Конечно, не стала чинить.

— Мало того, она сказала: «Сережа, я не понимаю такой постановки вопроса».

— Какая милая девушка! я думал, она вам скажет что-нибудь грубо, мне очень не нравится ваша фраза: «Катька, почини мне штаны».

— Да, эта девушка очень сознательная, она внесла этот инцидент на обсуждение всей коммуны. Постановили: в виду того, что шить она большая

мастерица, то пусть починка нашей одежды будет ее общественной обязанностью. Она согласилась, и после того с большой охотой мне починила штаны.

— Починку одежды,— сказал я,— очень понятно, можно сделать общественной обязанностью, но любовь непременно заостряется в личное чувство и это личное потом закрепляется браком.

— Брак у нас исключается: пока Россия находится в таком бедственном экономическом состоянии, мы не считаем себя вправе прибавлять едоков. И это у нас третий пункт пропаганды среди комсомольцев: первый пункт — борьба с коммунистическим чванством — ликвидирован, второй — натуралистически-исследовательский метод для изучения производительных сил—налаживается, третий—воздержание от производства едоков.

— Позвольте, — говорю, — если удерживаться от любви из-за едоков, то есть множество медицинских способов избавляться от них, не отказываясь от любви.

— Но это опять не выдерживает никакой критики с натуралистически-хозяйственной точки зрения. Как натуралисты, мы хорошо знаем, что наши ткани восстанавливаются исключительно благодаря деятельности секретов и потому непозволительно расходовать только ради удовольствия драгоценнейшее жизненное вещество.

Мои воспоминания в это время были на том моменте моей юности, когда мы боролись посредством экономической аргументации с излюбленной народниками аргументацией биологической. А вот теперь почему-то эта писаревски-народническая аргументация попадает в руки новых марксистов...

— Все-таки, — спрашиваю,— будет же когда-нибудь конец вашему воздержанию от потомства.

Он отвечает:

— Когда Россия поправится экономически.

— Когда же она поправится?

Подумав, он сказал:

— Мы надеемся, что через год.

— О,— сказал я весело, — тогда ничего.

И, заметив, что он быстро записал себе что-то в книжечку, спросил, не пришла ли ему от нашего разговора, как в тот раз о чайке, какая-нибудь новая тема.

— Да, — ответил он, — мне пришло в голову, что хорошо бы заняться изучением рефлексов спаривания человека.

Дрозд-белобровик.

Заведующий музеем определенно недоволен натуралистами и показал мне их совершенно неграмотную заметку в музейной книге:

— Я не верю, — сказал он, — в биологию неграмотных людей, — как они будут учителями?

С какой-то точки зрения он прав, но у меня есть своя дикая точка зрения: в школе я тоже плохо писал. С невероятным трудом я занимался в

школе математикой, и наука эта мне казалась необоримой. Но когда через двадцать пять лет пришлось помочь сыну, я в три дня просто прочитал алгебру.

Теперь кто-то понял все это, взвесил, и тот метод обучения, при котором я не мог постигнуть алгебру, называется методом готовых знаний, а то как я потом, когда мне изнутри понадобилось, и я сам проходил, называется методом исследовательским. Значит, разница в том, что там в готовом методе велят, а в исследовательском занимаюсь я сам, и задача педагога состоит в пробуждении у каждого ученика этой самости.

Но это я так понимаю современные задачи, а на стенах даже такого живого учреждения, как Сокольницкая биостанция, этот исследовательский метод изображен графически на стене методистами так сложно, с таким множеством стрелок, крючков, лучей, что понять так же трудно, как решить самую сложную задачу по какой-нибудь сферической тригонометрии, и если такой исследовательский метод явится в провинцию, то этот труп творчества ничем не будет отличаться от трупа готовых знаний.

— Вот что плохо, дорогой Михаил Иванович, — сказал я заведующему музеем, — а не то, что ребята неграмотны.

— Но ведь они нас учить хотят!

— Зачем принимать так серьезно? Их задача подсчитать наши живые силы.

Вечером пришел ко мне председатель с пробирками, наполненными разными букашками, и между прочим был сосуд с водой Гремячего ключа. На вопрос мой, для чего ему вода, он ответил, что для анализа. Я сказал, что анализ самый подробный имеется в музее. Он вылил воду. Лишнее действие произошло потому, что при исследовательском методе исключается предварительное знакомство с материалом по книгам: там готовое, а надо увидеть самому. Но в школе учитель незаметно делает так, что ученику только кажется, будто это он сам подошел к предмету, на деле это его учитель подвел; в жизни же непременно надо ознакомиться самому с предшествовавшими работами других, иначе непременно будет бесконечное множество раз открываться Америка.

При выходе из дома мы услыхали, что, несмотря на зимний пейзаж, все-таки в лесу изредка вечерние птицы пели. Председатель спросил меня:

— Вы слышите, какая это птица поет?

— Певчий дрозд.

— Да, но из певчих какой?

— Не знаю, какой же?

— Я не могу вам сказать, у нас в школе правило, если знаешь, не говорить. Убейте его и определите сами.

— Но, дорогой, — прошу я,— сделайте для меня исключение, я терпеть не могу убивать птиц просто из любопытства и особенно во время пения, я понимаю песню природы прежде всего как песню и потом уже исследую, как феномен. Помогите мне просто по-приятельски.

Он одумался и сказал:

— Это поет дрозд-белобровик.

Нет, я ничего не вижу худого в ребятах, в их годы я был гораздо хуже, и я был у родителей и мне, если было плохо, давали иногда для успокоения бром, а эти беспризорные — были дети улицы и когда-то, может быть, нюхали кокаин. Палкин нюхал наверное.

Начало пахоты под яровое.

На горе ветерок мотает синей рубахой, и далеко видна рыжая борода пахаря, а за пахарем от начала борозды и до конца в несметном числе идут птицы, белые чайки, черные грачи, в особенности много чаек, но были и серые вороны.

Я дождался, пока пахарь довел свою борозду к дороге, и сказал ему, указывая на птиц:

— Дивлюсь я, брат, сколько около тебя кормится этой публики.

— Неученая публика, — ответил он весело, — глупая вроде нас, мужиков, а я дивлюсь, сколько возле нас, дураков, ученой-то публики кормится.

Я притворился, что не понимаю.

— Хлеб едят все, — продолжал пахарь, — ученые люди не сеют, не веют, — откуда же они берут? Знаю, что и среди ученых есть дураки, да у них должность умная: по должности всякий ученый — умный человек. Я и сам не дурак от природы, да мое дело-то глупое, и я со своим делом дурак. Вы мне объясните, никак я этого понять не могу, все говорят, что мужики темные и дураки, а почему же без дураков не могут обойтись ученые, умнейшие люди?

До революции наверно я стал бы развивать с радостью вместе с этим крестьянином план разделения ученых и дураков, но, вспомнив, что в трудные годы только соль спасла ученых и города от полного уничтожения этими страшно умными дураками, я строго указал ему на плуг и напомнил, что он сделан при помощи ученых людей.

— Те-те-те! — погрозил мне пальцем пахарь, — вижу, ты меня вправду за дурака принимаешь, неужли же я про тех ученых говорю, кто плугами занимается?

И он стал усердно бранить местное начальство, потом дальше, дальше и так дошел до революции.

Критика его была гораздо сильнее обыкновенного интеллигента, и если бы я был таким, то и пошел бы от мужика дураком, но я хорошо знал, что это только песня прибеднения.

— Те-те-те! — погрозил я ему пальцем, совершенно как он мне, — ты это ж меня за ученого дурака принимаешь, разве я не понимаю, что крестьянину от революции все-таки стало свободнее. С места-то ведь все-таки сдвинулись.

Тогда мужик, бросив игру, сказал серьезно:

— С места, конечно, сдвинулись.

Волчок.

Вл. Лидин.

Володя Волчок служил кашеваром при полевом лазарете. Когда дело было проиграно и надо было сдавать город, больных эвакуировали с последним эшелоном. Особенно тяжелых решили оставить в городской больнице. Володя Волчок был человек проворной жизни. Он всегда был в работе и всегда был весел и готов на услуги. Его будили ночью — он приходил с красной щекою и с пухом в волосах, но веселый. Он говорил:

— Я человек такой, что мне без работы нет счастья в жизни. Главное для меня — чтобы все кругом были довольны. Что же что ночью, сегодня не доспал, завтра досплю.

Главный врач лазарета, сырой угрюмый Веселовский, — сказал ему ночью:

— Вот что, друг. Придется тебе остаться с нашими хирургическими. Ты — кашевар, призванный, тебя скорее всего не тронут. А бросать больных так — нельзя, случаи все тяжелые.

Волчок согласился сейчас же:

— Конечно, нельзя. У больничных своя забота, а за этими кто досмотрит? Обязательно надо остаться.

Веселовский посмотрел на белые, путаные со сна волосы Волчка, на его красную щеку с мережкой подушечного узора и сказал еще:

— А вдруг тебя тут не милуют? Пропадешь, Волчок!

Волчок ответил:

— Я-то? Не пропаду, — зачем меня трогать! Я при больных, свое дело делаю. Больных без горячей пищи тоже нельзя оставить, это всякий понимает...

Веселовский перекинул на другую руку все свое сырое, грузное тело, щека его обвисла над ладонью, так он сидел минуту, потом сказал:

— Хорошо, ступай. Приварок и денежное довольствие на восемь человек получишь на руки.

Он был хирург, он отпиливал ногу человеку, сопя, точно пилил бревно, и решал дела сурово.

Последние поезда ушли утром, и Волчок остался при восьми тяжело больных, в городской больнице. Из больницы тоже ушли все, кто мог уйти,

и в просторных коридорах было безлюдно, и особенно сильно пахло иодоформом. Волчок, засучив рукава халата, в докторском операционном колпаке, бегал по коридорам, колол на кухне дрова и варил для тяжелых манную кашу и овсяный кисель. Временами, между делом, успевал он еще прибежать наверх, в палату. Там, возле носилок на полу, присаживался он на корточки и смотрел в зеленые веки полузакрытых глаз и в пыльную слежавшуюся бороду.

— Ну, как, дядя Митяй, не легче тебе? А ты не подавайся, ты, главное, не подавайся. Ты, главное, дух береги. Главное, человек должен дух в себе беречь. Дух легкий и дыхание легкое, это уж положено.

Димитрий Свидригайлов, пулеметчик третьего взвода, с животом, разодранным шрапнелью, глядел мимо Волчка тусклым бутылочным взглядом. Ему было сорок лет, и он видел смерть, простую свою и немудрую крестьянскую смерть. Наконец, он сказал Волчку:

— Сына ты мне выходи... Волчок. Я свое дело сделал, кончена дороженька... Сына жалко. Как сын-то?

Устья его глаз блеснули, синеватый пепел разомкнутых губ беззвучно дрогнул мужицким рыданием. Волчок ответил живо:

— Это ты насчет кого, дядя Митяй? Насчет Федора? Вот он Федор, третьим лежит, цыгарку было скручивать начал, да я запретил. К вечеру, может, а то поутру вернее встанет. Старший доктор Веселовский его в канцелярию прочит, в аптеку помощником. Ну, оклад, конечно, высший, Федька рад, беда.

Волчок крутил головой, улыбался, и некая белизна легла на лицо Димитрия Свидригайлова.

— Федька... Федюшка, — он сказал, — ах ты, Федька... Федюшка мой...

Волчок сидел перед ним на корточках, он взял его отяжелевшую руку, стал считать удары крови — считал он себя по докторской части сведущим — и говорил между тем:

— Ну, доктор Веселовский говорит, конечно, посмотрит, как Федько себя окажет, стараться ли будет, и военком Федьку на виду держит, хотя и не партийный Федька, но сознательный, одним словом...

Он насчитал эти страшные 115 ударов крови и дал Свидригайлову пить. Тот плохо пил, и вода текла по бороде и усам. Испив, Свидригайлов сказал с трудом:

— Теперь умирать легко... Легкий ты человек, Волчок... пра...

Он стал забываться, и Волчок перешел ко второму — военкому бригады Стурзику. Стурзика разнесла лошадь, и он сломал себе позвоночник о колесо санитарной двуколки. Руки и ноги его давно омертвели, они были парализованы, и он лежал на животе в подушку лицом, в смертном поту. Волчок отер ему пот со лба, он поглядел в страшные, живые, человеческие его глаза, не верящие больше в жизнь, и сказал Стурзику:

— Вторая дивизия бить начала, как есть половину полка Дроздовского размочалила... все побросали, бегут почем зря, а наша конница по следу.

Ну, молодцы, сказать нечего, тридцать шесть пушек захватили, пулеметов, снаряжения... Сам Троцкий телеграмму прислал, представляет дивизию к красному знамени с золотыми кистями... оркестру золотые трубы и бубенчики и всему составу — боевые отличия, а насчет ножек не беспокойтесь, главное — отлежаться, сила сама возьмет, она свое дело сделает.

Вдруг Стурзик сказал, — подобие его, глубоко запрятанное, хриплое, сказало:

— Правда, наши бьют?..

Тогда Волчок присел возле на край кровати.

— Не только бьют, а прямо, можно сказать, добивают... Четыре полка на нашу сторону перешли, верное слово.

Он рассказал еще Стурзику множество вещей, напоил его, сбегал на кухню взглянуть, не пригорела ли каша, и вернулся назад к Федору, сыну Свидригайлова. Федор умирал со вчерашней ночи, он умер, он почти умер, но не совсем; тонкая нить еще держала связь его с жизнью. Он был уже бел, с острым покойницким носом, с обметенными губами, он опережал в смерти отца, и шинель его с рыжими пятнами крови не согревала распятых ног. Где-то, меж сухожилий его тяжелой и плотной руки, прозмеивалась тончайшая нить жизни, она прерывалась временами, но это была нить, ход крови — и пока струилась еще эта бесполезная кровь, человек считался живым. Волчок прикрыл его от других одеялом, он положил одну его руку на грудь, а другую вытянул вдоль бедра, как полагалось покойнику, он подравнял его холодные ноги и постоял над ним минутку. Он смотрел на лицо Феди, на лицо друга, которого знал веселым и живым, часто заморгал вдруг глазами, и губы его под белыми усиками стали кривиться. Потом он вздохнул, собрал себя и пошел прочь. Пятеро остальных были из других частей, все это была молодежь, зеленолицая, и он присел над парнем с простреленным легким. Парень смотрел на него, его веснущатое лицо было одеревенело и просто, и с каждым дыханием розоватая пена лезла из его губ. Волчок сказал:

— Ну, как, братишка, трудно тебе?

Парень молча закрыл глаза. Волчок сказал еще:

— Это ничего, это бывает. У нас троих так, как тебя; все выходились. Ты дыши ровней, не отчаивайся; пострадал ты опять за своего брата рабочего и крестьянина, — и брат твой за тебя на заводе за горькой отравой страдает или землю на твой красноармейский приварок ковыряет крестьянским трудом. Тебе, конечно, от этого не легче, а ты думай о людях, все люди кругом страдают, и будет тебе твоя беда веселей. Я это дело, братишка, хорошо прошел.

Он говорил всем пятерым, оправлял им одеяла, давал испить, щупал руки, и был весь Волчок, в белом колпаке, с голубыми своими полевыми глазами и белыми усиками на добром лице, которое только-только умело скрыть свое страданье за всех, — был он один на всех в этом брошенном доме, откуда уползли все, кто только мог уползти, и где так страшно и смертно пахло пустынными больничными запахами карболки и иодоформа. — Потом

Волчок принес снизу, из кухни, манной каши в горшке и разогретого белого хлеба, который сам добывал накануне в Приречьи. Он накормил всех, кто мог еще есть, влил тем, кто не мог прожевывать пищу, жидкого овсяного киселю и давал запивать водой. Потом, когда больные стали забываться и засыпать, Волчок побежал делать тысячи нужных дел: мыть на кухне посуду, кипятить воду, достирывать простыни на смену пропитавшихся кровью.

Он развесил белье, домыл посуду и поднялся снова наверх. Больные затихли, и осенний денек за окном медленно перелился в вечер. Электричество еще горело, желтые завитки зажглись смугло в унылых больничных грушках. Димитрий Свидригайлов спал — страдания его затуманились сном, тяжело клокотавшем в его горле. Волчок обходил больных, он подошел еще к Федору Свидригайлову и взял его за руку. Рука была тяжела и тепла, но тонкая нить жизни уже не проходила меж сухожилий. Прекрасно выточен был его длинноватый тонкий нос. Волчок сел возле, положил руку на тепловатую руку Феди, узенькие щели синеватых застывших глаз спокойно смотрели на него. Волчок вздохнул, содрогнулся, всхлипнул и сказал, гладя руку:

— Ну, что ж, Фединька... ничего уж... ах, Федька, Федька...

Осенняя ночь с щербатым цыганским месяцем за окном предалась беззвучно. Первые отряды неприятеля вошли через западную заставу в шесть часов вечера и завладели городом. Никто не сопротивлялся, город был мертв. Добивать раненых пришли под утро, в седьмом часу. За ночь умер еще один парнишка из чужой части. Умер он на рассвете, в страшной тоске, как все с поврежденными легкими. Один Димитрий Свидригайлов был жив, он был жив упорно и страшно; его развороченный живот, начинавший сладко смердеть, вздувался с чудовищной силой.

Волчка трое солдат повели коридорами, мимо белых операционных, в кабинет старшего врача. Он шел между солдат бодро, несмотря на бессонную ночь; он был удивлен, куда и зачем уводят его от больных, и нес в руке простыню, которой хотел было покрыть, но не успел, умершего. Синелицый молодой человек, очень тихий, в несвежих штабс-капитанских погонах, спросил у него:

— Как зовут?

Волчок поглядел на него спокойно голубыми воспаленными глазами и ответил:

— Владимир Волков, по кличке Волчок.

— Какой части?

Волчок ответил:

— При полевом лазарете кашеваром. Как оставили здесь тяжелых, отходных то-есть, оставили меня при них досматривать, опять же насчет горячей пищи...

Молодой человек посмотрел на него очень устало, равнодушным взглядом. Он спросил:

— Коммунист?

Тогда Волчок ответил поспешно, он ответил поспешно и для убедительности прижал руку к груди, он даже сделал для убедительности шаг вперед, — он сказал горячо, как мог, убедительно, как умел, потому что молодой человек был очень устал и слушал его нехотя. Волчок сказал:

— Нет, товарищ начальник, я не коммунист, то-есть не партийный... но как теперь вся власть крестьянская и рабочая, стою я, то-есть, за рабочую и крестьянскую власть, потому что есть я простой крестьянин, опять же безземельный, ни двора, ни надела. Ну, только я к жизни очень проворный, оттого и прозвали меня Волчок, и надеюсь заслужить себе трудом кусок земли для себя и для семьи...

Он говорил с жаром и прижимал руку к груди, он говорил так, что его не мог не понять этот спокойный человек, который был моложе его, и он не обиделся, когда махнул тот рукой и сказал:

— Довольно.

Потом Волчка опять вели коридороми и железными лестницами вниз, на больничный двор. Утро сеяло дождь, и голеющие березы мелко дрожали. Волчок доверчиво шел за солдатами и опять не понимал, зачем его уводят из дома, от больных. В конце больничного сада, у кирпичной стены в подтеках известки, солдаты поставили его под березой и отошли прочь. Волчок смотрел им вслед, он не понимал ничего, зачем его, человека, оставшегося при раненых, чтобы легче было им пропадать, привели сюда на рассвете и сделал ли он этим землякам что-нибудь такого плохого, чтобы хотели они теперь разделаться с ним по-свойски. Он опять прижал обе руки к груди и сказал им насколько мог убедительно:

— Товарищи, землячки, как теперь вся власть наша, то-есть крестьянская, и как есть все мы с вами крестьяне, неужели какого клока земли не поделим с вами, что есть тут неразрешимый спор...

Тут увидел он вдруг лица солдат, которые стояли невдалеке, увидел он то, от чего округлились синеватым ужасом его полевые глаза, он вжал обе руки в грудь, он хотел сказать еще те последние слова этим людям, которые были земляками и братьями, и вдруг Федор Свидригайлов прошел возле него так близко, что сердце его дрогнуло восторгом и ужасом, и Волчок, не помня себя, ухватился рукой за спокойную руку Феди.

Высокий Угор,
сентябрь 1925.

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело.
Вспомнить, что ли, юность ту, что пролетела?
Не шуми, осина, не пыли, дорога.
Пусть несется песня к милой до порога.

Пусть она услышит, пусть она поплачет.
Ей чужая юность ничего не значит.
Ну, а если значит, проживет не мучась.
Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?

Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше.
Все равно не будет то, что было раньше.
За былую силу, гордость и осанку
Только и осталась песня под тальянку.

Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.

Дальний плач тальянки, голос одинокий,
И такой родимый, и такой далекий.

Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа? Липа вековая?

Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.

А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь, и плачу.

Быть поэтом — это значит тоже,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом — значит петь раздолье.
Чтобы было для тебя известней,
Соловей поет — ему не больно:
У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого
Жалкая смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово.
Петь по-свойски, даже как лягушка.

Магомет перехитрил в Коране,
Запрещая крепкие напитки.
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идет на пытки.

И когда поэт идет к любимой,
А любимая с другим лежит на ложе,
Влагою живительной хранимый
Он ей в сердце не запустит ножик.

Но, горя ревнивою отвагой,
Будет вслух насвистывать до дома:
«Ну, и что ж, помру себе бродягой,
На земле и это нам знакомо».

Глупое сердце, не бейся,
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участья...
Глупое сердце, не бейся.

Месяца желтые чары
Льют по каштанам в пролесь.
Лале, склонясь на шальвары,
Я под чадрою укроюсь.
Глупое сердце, не бейся.

Все мы порою, как дети,
Часто смеемся и плачем.
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бейся.

Многие видел я страны,
Счастья искал повсюду,
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся.

Жизнь не совсем обманула —
Новой напьемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.

Гори, звезда моя, не падай,
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.

Ты светишь августом и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалистою дрожью
Неотлетевших журавлей.

И голову вздымая выше,
Не то за рощей, — за холмом
Я снова чью-то песню слышу
Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил и бросил,
Листвою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется также мне.

Погаснет ласковое пламя
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.

Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:
— Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

Жизнь — обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена.

Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: — лишь сердце потревожь,
Жизнь — обман, но и она порою
Украшает радостями ложь.

Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе.

Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь — стезя.
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.

Пусть меня ласкают нежным словом,
Пусть острее бритвы злой язык.
Я живу давно на все готовым,
Ко всему безжалостно привык.

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого люблю я, отреклися,
Кем я жил—забыли про меня.

Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.

Сергей Есенин

Кольцо.

Поутру нелады и ссоры
И неумытое лицо...
Ох, как же закатилось скоро
В лазью мышиную кольцо...

В ту ночь, как в первый раз ушла ты,
Всю ночь была такая тишь...
Играли по углам мышата,
Всю ночь точила угол мышь...

Колечко укатил мышонок,
В колечке камушек — любовь...
В ту ночь был месяц чист и тонок,
Как на лице влюбленном бровь...

С тех пор слеза едка, как щелок,
Угрюм и непривычен смех...
И выцвел над кроватью полог..
И вылинял на шубке мех...

Ах, эта шубка, шубка эта!
Какая-то сплошная боль...
И платье розовое где-то
На дне сундучном точит моль.

Есть у меня трава от моли
И верный на мышей запрет...
А вот от этой лютой боли
Ни трав, ни заговора нет...

Виной всему не мышь, не мышь ли?..
Иль впрямь и сам я виноват?..
В ту ночь и тишь мы оба вышли
И не вернулась ты назад...

С тех пор, как ночь, стоит у елки
И смотрит месяц на крыльцо
И словно тонкий луч из щелки
Переливается кольцо...

Сергей Клычков.

Стихи о поэте и соловье.

Весеннее солнце дробится в глазах,
В канавы ныряет и зайчиком пляшет;
На Трубную выйдешь — и громом в ушах
Огонь соловьиный тебя ошарашит.

Куда как приятны прогулки весной!
Бредешь по садам, пробегаешь базаром.
Два солнца навстречу: одно над землей,
Другое, расчищенным вдрызг, самоваром.

И птица поет. В коленкоровой мгле
Скрыт пафос и гром соловьиного лада.
Под клеткою солнце кипит на столе
Меж чашек и острых кусков рафинада.

Любовь к соловьям — специальность моя.
В различных коленах я толк понимаю:
За лешевой дудкой в раскат стукотня,
Кукушечий оклик и дробь рассыпная.

Ко мне продавец: «Покупаете? Вот
Как птица моя на базаре поет.
Червонец не деньги! Берите — и дома,
В покое, засвищет она по-иному».

От солнца, от свиста звенит голова...
Я с клеткой в руках дожидаюсь трамвая.
Крестами и звездами тлеет Москва,
Церквами и флагами окружает.

Нас двое: бродяга и ты, соловей,
Глазастая птица, — предвестница лета!
С тобою купил я за десять рублей
Черемуху, полночь и лирику Фета!

Весеннее солнце дробится в глазах,
По стеклам течет и в канавы ныряет.
Нас двое. Кругом в зеркалах и звонках
На гору с горы пролетают трамваи.

Нас двое. И нашего номера нет.
Земля рассолодела. Полдень допет.
Зеленою смушкой покрылся кустарник.
Нас двое. Нам некуда нынче пойти,
Трава горячее и воздух угарней,
Весеннее солнце стоит на пути.

Куда нам пойти? Наша воля горька.
Где ты запоешь? Где я рифмой раскинусь?
Наш рокот, наш посвист распродан с лотка,
Как хочешь — распивочно или на вынос.

Мы пойманы оба — мы оба в сетях.
Твой свист подмосковный не грянет в кустах,
Не дрогнут от грома холмы и озера.
Ты выслушан, взвешен, оценен в рублях;
Греми же в зеленых кустах коленкора,
Как я громыхаю в безлюбых сердцах!

Э. Багрицкий.

Разбойник.

(В. Скотт).

Брэнгельских рощ прохладна тень,
Незыблем сон лесной,
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной.

Над лесом снизилась луна,
Мой борзый конь храпит;
Там замок встал. И у окна
Над рукоделием, бледна,
Красавица сидит.

Тебе, владычица лесов,
Бойниц и амбразур,
Веселый гимн сложить готов
Бродячий трубадур.

Мой конь, обрызганный росой,
Играет и храпит,
Мое поместье под луной
Ночной повито тишиной,
В горячих травах спит.

В седле есть место для двоих,
Надежны стремена,
Взгляни, как лес курчавый тих,
Как снизилась луна.

Она поет: прохладна тень
И ясен сон лесной,
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной.

О, жизнь есть прах,
И смерть — есть прах,
Но мой удел — любить,
И я хочу в лесах, в лесах
Вдвоем с Эдвином жить.

От графской свиты ты отстал,
Ты жаждою томим.
Охотничий блестит кинжал
За поясом твоим.

И соколиное перо
В ночи горит огнем,
Я вижу графское тавро
На скакуне твоем.

— Увы, я графов не видал,
И род не графский мой,
Я их поместья поджигал
Полуночной порой.

Мое владенье вдаль и вширь
В ночных лесах лежит,
Над ним кружится нетопырь
И в нем сова кричит.

В ответ красавица поет:
«Прохладен сон лесной,
Там говорливый рокот вод
Беседует со мной.

О, жизнь — есть прах,
И смерть — есть прах,
Но мой удел — любить,
И я хочу в лесах, в лесах
Вдвоем с Эдвином жить.

Мой милый всадник. Твой скакун
Храпит под чепраком,
Теперь я знаю — ты драгун
И мчишься за полком.

Недаром скроен твой наряд
Из тканей дорогих,
И шпоры длинные горят
На сапогах твоих».

— Увы, драгуном не был я,
Мне чужд солдатский строй,
Казарма вольная моя —
Сырой простор лесной.

Я песням у дроздов учусь
В передрассветный час,
В боярышник лисицей мчусь
От вражьих скрыться глаз.

И труд необычайный мой
Меня к закату ждет,
И необычная за мной
В туманах смерть придет.

Мы часа ждем в ночи, в ночи
И вот в лесах, в лесах
Коней седлаем — и мечи
Мы точим на камнях.

Мы знаем тысячи дорог,
Мы слышим гул копыт,
С дороги каждой грянет рог
И громом пролетит.

Где пуля запоет в кустах.
Где легкий меч сверкнет.
Где жаркий заклубится прах.
Где верный конь заржет.

И листья плещутся, дрожа,
И птичий молкнет гам,
И убегают сторожа
Открыв дорогу нам.

И мы несемся вдаль и вширь
Под лязганье копыт,
Над нами реет нетопырь
И вслед сова кричит.

И нам не страшен дьявол сам,
Когда пред черным днем,
Он молча бродит по лесам
С коптящим фонарем.

И графство задрожит, когда,
Сырой взметая прах,
Из леса вылетит беда
На взмыленных конях.

Мой конь, обрызганный росой,
Играет и храпит,
Мое поместье под луной,
Ночной повито тишиной,
В горячих травах спит.

В седле есть место для двоих,
Надежны стремена,
Взгляни, как лес курчавый тих,
Как снизилась луна.

Она поет: Брэнгельских рощ
Что может быть милей,
Там по весне стекает дождь
С разбухнувших ветвей.

О, жизнь — есть прах,
И смерть — есть прах,
Но мой удел — любить,
И я хочу в лесах, в лесах
Вдвоем с Эдвином жить.

Э. Багрицкий.

Песни старой гитары.

Памяти Котовского.

Чтоб никому не мечталось,
Ветер, вставай на дыбы!
Листьев осеннюю вялость
В даль раскидайте дубы.

Лягут огромные ночи
В кубок седой старины.
В мокрых лесах разворочат
Черную падь кабаны.

Кличет на старом баштане
Стон затерявшихся птиц...
Сгинула в лунном тумане
Тьма у румынских границ.

Сладко мерещатся дыни...
Спит очарованный пруд...
Тихо. На желтой Волыни
Жолуди скоро спадут.

Тихо. Молдавия стара...
— Спой же нам! Песня проста.
Белая вишня — гитара,
Девушка Зара — мечта.

«Тише... Не клонится ветка
В топот и конскую рысь
Вольности дикие предки
С пулей давно улеглись».

— Знаем! Но с нами, подружка,
Песня сдружилась одна...
Выше, высокие кружки!
Больше, хозяин, вина!

«Чу. Со степей потянуло —
Светят в тумане костры.
С чубами — верные дула,
Сабли студено востры.

Миг — и в кровавой заботе
Саблям мерещится рай...
Мертвый комбриг на отлете
Сам проскакал за Дунай.

Миг — и знамена — на бочку:
Ветер качает бояр.
Завтра хозяйскую дочку
Ждет кишиневский базар.

Шибче и звонче гитара,
Белая вишня — мечта!
Сабля Котовского стара,
Ну, а любовь — молода».

— Знаем. Смелее, подружка,
Песня сегодня — одна:
Выше, высокие кружки!
Больше, хозяин, вина!

Ник. Зарудин.

Газ.

И вот, как вор, как друг или знакомый,
Без грохота, без топота, без шума
Придет к тебе, тебя застанет дома,
Когда ты спал и ни о ком не думал.

И подползет движением широким,
И складки губ нащупает рукою,
И поцелуем долгим и глубоким
Дыхание и сердце успокоит.

И так ко всем... И все умрут, не слыша...
И только после вспомнят и запишут
Историки жестокие рассказы,
Как города погибли без отмщенья,
От этого, проползшего по щелям,
От этого непрошенного газа.

Н. Дементьев.

Воспоминания о В. И. Ленине (Ульянове).

В. В. Старков.

Некоторые товарищи просили поделиться воспоминаниями о моей совместной работе с Владимиром Ильичем.

Я охотно делаю это. Но когда я начинаю вспоминать то время, когда мне приходилось очень тесно соприкасаться с В. И., я сам себе начинаю представляться глубоким стариком, хотя, вообще-то говоря, я старости совсем не чувствую.

Моя первая встреча с В. И. относится к самому началу девятидесятых годов прошлого столетия, т.-е. тридцать с лишним лет тому назад.

Прежде, чем перейти к воспоминаниям о совместной работе с В. И. в начале девятидесятых годов, я должен, хотя бы очень бегло, охарактеризовать общественную атмосферу того времени. Без этого образ В. И. того периода не может быть представлен достаточно ярко и выпукло. Без учета общественной обстановки образ В. И. будет рассматриваться, вполне естественно, через призму теперешних условий и теперешней общественной психологии и, в силу этого, она не может не представиться в сильно искаженном виде.

Как известно, соц.-демократическое движение или, правильнее сказать, течение появилось в России в более или менее заметных размерах в конце восьмидесятых и в начале девятидесятых годов. Правда, группа «Освобождение Труда» образовалась значительно раньше, в 1883 году, но до конца восьмидесятых годов работа ее ограничивалась литературной агитационной и пропагандистской работой из-за границы. Работа группы «Освобождение Труда» с самого начала нашла живой отклик в России, но практические результаты ее начали сказываться в масштабе широкого общественного движения, как я уже сказал, к концу 80-х годов. Что же представляют собой в историческом смысле, с точки зрения общественного развития СССР, восьмидесятые годы и начало девятидесятых годов? Всем известно, что восьмидесятые годы были годами сильной реакции. Но для понимания конкретного содержания политической борьбы того времени и психологического облика борцов необходимо, хотя бы бегло, выявить характер этой реакции.

Если иметь в виду прогрессирующий, а не разлагающийся, гниющий общественный организм, то в нем могут иметь место два типа общественной реакции.

Во-первых, в известные периоды общественного развития, интересы господствующих классов могут в общественном сознании до такой степени идентифицироваться с интересами всей нации, что порабощенные классы могут не за страх, а за совесть защищать эти интересы, как свои собственные, усматривая в них, иногда бессознательно, интересы общественного развития. Такие периоды всегда бывают периодами общественной реакции. Крайне наглядный пример такой реакции представляет Германия начала XX столетия вплоть до самой войны и во время войны. Рабочий класс, как принято обычно выражаться, ведется в таких случаях на поводу буржуазией, а руководствующая верхушка далеко не всегда ограничивается ролью послушных овечек, но иногда и активно не за страх, а за совесть проводит политику, направленную не столько в защиту интересов собственного класса, сколько в сторону максимального выявления потенций буржуазного развития. Мощь буржуазного развития и те блага, какие оно с собой несет, как бы подкупают на некоторое время рабочий класс, и последний готов вместе со своим антиподом распевать и действительно распевал патриотические гимны, жертвуя для своего «отечества» не только собственным благосостоянием, но и жизнью. Таков один тип общественной реакции, и такая реакция является всегда наиболее глубокой, наводящей временами отчаяние на элементы общества, не поддающиеся разлагающему влиянию ее.

Но бывает и другой тип реакции, когда господствующие классы, напуганные раскатами грома, исходящего из рядов их общественного антипода, начинают в страхе пятиться назад и отступают при этом значительно дальше, чем это обусловлено их собственными интересами. Типичным примером такой реакции является время исключительного закона о социалистах в Германии. Такие периоды являются временем жестоких политических репрессий со стороны господствующих классов. При этом следует, однако, иметь в виду, что поскольку этот тип реакции сводится в первую очередь к политическим репрессиям и лишь попутно, если можно так выразиться, сопровождается признаками подлинной общественной реакции в некоторых кругах господствующих или примыкающих к ним классов, такая реакция не может быть столь глубокой и столь мертвящей, как реакция первого типа — это во-первых. Во-вторых, такая реакция не разлагает по существу сил сопротивления рабочего класса, а, наоборот, концентрирует и накапливает их. Рабочий класс в такие периоды уподобляется стальной пружине, которая сжимается внешней силой и развивает внутренние силы сопротивления пропорционально внешнему давлению. Только что приведенная аналогия не вполне пригодна для случая политических репрессий только потому, что силы сопротивления угнетенного класса возрастают не пропорционально росту внешнего гнета, а в гораздо бо́льшей степени. Поэтому в данном случае гораздо больше применима обычно применяемая аллегория: гидра революции, у которой на место одной головы вырастает сразу две. Так или иначе, а реакция второго типа ведет лишь к большей общественной поляризации, к более строгому разграничению борющихся классов и к обостренной классовой борьбе. Пример этот мы видим в Германии в период исключительного

закона о социалистах и по существу то же самое, хотя и при иной общественной обстановке и в других формах, мы наблюдаем и в России в период реакции весьмидесятых годов и в начале девятидесятых.

Начиная с шестидесятых годов и даже раньше, Россия все время находилась в стадии общественного под'ема и революционного брожения, которое в семидесятые годы приняло формы широко разлитой и решительно и энергично проводимой революционной борьбы. Борьба эта зачастую, если не всегда, шла под флагом якобы социализма, но теперь не может быть уже сомнения в том, что по сути дела эта борьба была борьбой за минимум условий, необходимых для превращения России в буржуазное государство современного типа. В семидесятые годы революционная борьба достигала очень сильной степени напряжения и завершилась, в конце концов, актом 1 марта 1881 года — убийством Александра II. Проводимая в таких решительных формах революционная борьба, на-ряду с широко распространенной стачечной волной, начавшейся в 78 году в Петербурге и дошедшей до высшего предела в 84—86 годах в Центрально-Промышленном районе, испугали правительство и буржуазные элементы общества. Правительство ответило на все это жестокими репрессиями, а идеологи буржуазного общества, близко соприкасавшиеся раньше с чисто революционными элементами, резко начали пятиться назад. К концу восьмидесятых годов от революционного еще так недавно народничества, можно сказать, ничего не осталось. Толстовская проповедь непротивления злу насилием, на-ряду с проповедью «малых дел» со стороны народничествующего литературного лагеря, до такой степени заполнили арену литературного выявления общественных настроений, что все остальное отошло на задний план или перешло в подполье при крайне трудных полицейских условиях, сделавших совершенно невозможным доступ нелегальной литературы не только к широким массам, но и к отдельным лицам, проявляющим к ней особо сильный интерес. При этом вы не должны упускать из виду, что под понятие «нелегальная литература» подводилось в то время все, что только носило хоть малейший признак живой мысли.

Но, как я уже сказал раньше, такая реакция не могла задушить живой жизни; она могла лишь придавить ее. Под внешним гнетом живая жизнь все же шла своим чередом, и борющиеся элементы русского общества собирали и накопляли силы. На фоне крайне серого общего тона общественной жизни выплыла в средине восьмидесятых годов нелегальная литература группы «Освобождение Труда» (в первую очередь статьи Плеханова) с бодрым призывом к борьбе. В конце восьмидесятых и в начале девятидесятых годов появляются первые группы практических работников социал-демократии. В самом начале девятидесятых годов на этом сером фоне выплывает яркая фигура Владимира Ильича.

Я до сих пор отлично помню первую мою встречу с В. И. Он появился в Петербурге (в 1893 году) тогда, когда мы сравнительно еще маленькой группой начали работу по пропаганде среди питерских рабочих и в интеллигентских кругах. На меня и на всех моих товарищей по работе В. И. с самого начала произвел глубочайшее впечатление. Во-первых, я должен сказать,

что все мы, несмотря на юный возраст, были большими книжниками в смысле теоретической научно-литературной подготовки. К этому вынуждали нас условия нашей работы. Нам — юнцам, адептам нового общественно-революционного течения, приходилось при нашей работе, при борьбе за сферу влияния, сталкиваться с корифеями русской общественной мысли, обладающими большим научным багажем. Это вынуждало и нас, в свою очередь, быть хорошо подкованными. И, тем не менее, В. И. поразил нас всех, хотя он быя таким же юнцом, как и все мы, тем литературным и научным багажем, которым он располагал. Особенно резко проявилось это при наших дискуссиях с Струве, Потресовым и инженером Классоном. Указанные лица, вскоре после появления в наших рядах В. И., образовали группу легальных марксистов, которая из'явила готовность попробовать договориться с нами о совместной легальной литературной деятельности. Струве, выпустивший к этому времени уже свою первую книгу и выступавший не раз на публичных собраниях и диспутах в качестве марксиста, пользовался уже довольно большой известностью, как широко и всесторонне образованный марксист. От нашей группы на диспут с группой легальных марксистов были намечены В. И., я и умерший, если мне память не изменяет, в 1910 году С. И. Радченко. Диспут длился несколько дней, и хотя он кончился соглашением о совместном издательстве (один сборник был выпущен), но в прениях выяснилось такое глубокое расхождение во взглядах, что если бы даже это дело не было насильственно приостановлено нашим арестом и ссылкой в Сибирь, то все равно на длительное существование этого начинания рассчитывать было бы нельзя. Расхождение касалось, главным образом, методов работы. Мы настаивали на необходимости и неизбежности борьбы чисто революционными методами, отводя подчиненную роль легальной литературной работе. Наши противники, наоборот, старались доказать нам, что революционная работа при данных условиях является не только невозможной, но и вредной впредь до основательной обработки общественного мнения путем легальной литературы. Споры доходили до самых глубин исторических и экономических проблем и в конечном счете велись почти исключительно между Струве и В. И., при чем, полагаю, Струве был не меньше нас поражен глубиной и всесторонностью познаний В. И. в этой области. А между тем В. И. в это время было всего 22—23 года. Затем при этих диспутах В. И. поразил нас всех, в том числе и Струве, своей поразительной трудоспособностью. Бывало не раз так, что Струве оперировал при спорах каким-либо литературным материалом (обычно иностранным), неизвестным В. И-чу. В таких случаях В. И. забирал томы материалов у Струве или находил их в публичной библиотеке и на следующее заседание, всего лишь через один или два дня, являлся во всеоружии, вполне владея этим материалом и давая нам блестящий и глубокий анализ его. Думаю, что и Струве и Потресов до сих пор не забыли этих диспутов.

Затем, не меньше, чем теоретической подготовленностью, В. И. поразил нас также практической зрелостью и, я бы сказал, трезвостью мысли. Это последнее свойство его ума особенно резко подчеркивается его принци-

пиальной прямолинейностью и неуступчивостью, доходящими до «твердокаменности», как со временем стали говорить. Будучи очень твердым в установлении общей принципиальной линии, он сравнительно очень эластичным проявлял себя в вопросах повседневной тактики, не проявляя в таких случаях излишнего ригоризма. Помню, с какой горячностью он отстаивал от наших нападок свой взгляд на террор, как на метод политической борьбы, который он изложил в первом своем литературном произведении, ходившем по рукам в рукописи (помнится, в статье под названием «Что такое „друзья народа“»). Там он излагал еретическую, с нашей точки зрения, мысль в том смысле, что принципиально соц.-демократия не отрицает террора, как метода борьбы. Главное — это цель, а каждый метод борьбы, в том числе и террор, может быть хорош или плох в зависимости от того, содействует ли он при данных условиях достижению цели или, наоборот, отклоняет от нее. Нам, воспитанным на статьях Плеханова, резко критиковавших программу и тактику народовольцев, поставивших во главе угла террор, и лично поломавшим не мало копий при борьбе с народовольцами, такие мысли казались еретичными. Не помню уже, на чем состоялось примирение, но В. И. во всяком случае и впредь остался таким. Обладая стойкостью и прозорливостью истинного вождя, он мог позволить себе роскошь быть до некоторой степени оппортунистичным в вопросах о методах борьбы, так как он знал всегда, до каких пределов в этих случаях можно итти и с какого момента вопросы тактики начинают затрагивать уже чисто программные вопросы, по отношению к которым требуется полнейшая неуступчивость. Эти свойства своего ума он проявил и в дальнейшей борьбе с экономизмом (рабочедельчеством в конце девятидесятых и начале девятисотых годов). Ведя упорную принципиальную борьбу с экономизмом, подменившим политическую борьбу чисто экономической, он в то же время усваивал у них отдельные методы борьбы, именно как методы борьбы. Таковым, я полагаю, В. И. остался до последних дней своей жизни.

И, наконец, в-третьих, В. И. поражал революционным пылом и даже некоторым задором, а также беззаветной преданностью делу революции. Если вообще про задор социал-демократов того времени ходило немало разговоров и публика охотно читала стихотворение, в котором, после описания растерянности представителей других течений, было сказано: «Юные же марксисты, задирая нос, заявили гордо, что решен вопрос», то все это в значительно бо́льшей степени можно было бы отнести к В. И., чем к любому из нас. Пыл и задор, с которыми В. И. пускался в бой со сторонниками противных течений, были неиссякаемы. Я помню один случай, когда мы с В. И. в бытность нашу зимой 93—94 года в Москве, попали на одно большое нелегальное собрание с огромным преобладанием на нем народовольцев и народников. Надо заметить, что Москва в то время вообще значительно отставала от Питера в развитии социал-демократического умонастроения: Там продолжали еще главенствовать народовольцы и народники. В. И-ча в частности там совершенно еще не знали. После того, как народники и народовольцы (в том числе, помнится, и Чернов) наговорили кучу красивых фраз

о социализме, внезапно выступил, с присущей ему скромностью, В. И. и начал с того, что здесь много говорят о социализме, но прежде чем говорить о социализме, надо сначала условиться, что следует понимать под ним, а дальше — и пошел, и пошел. Я с своего места наблюдал, какое впечатление его речь производит на слушателей и видел, что они совершенно опешили и долго не могли притти в себя. На другой день те мои знакомые, через которых нам удалось попасть на это собрание, говорили мне, что такой бешеной страстности и внутренней стойкости и убежденности им не только не приходилось видеть, но они и не представляли себе возможным ничего подобного. На-ряду с этим они должны были отметить, что и такой стальной логики им также не приходилось встречать. Этим замечанием они подчеркнули еще одно разительное свойство. В. И. никогда не терял логической нити своих рассуждений и всегда полностью владел собой. Недаром В. И. был хорошим шахматным игроком. При дальнейшей своей работе в гораздо более крупном мировом масштабе В. И. не только не потерял этих свойств своей натуры, но, наоборот, развил и проявил их до чрезвычайности.

Этого человека, непрерывно горящего пламенем революции и непрерывно переваривающего в своем мозгу все, что может иметь хотя бы косвенное отношение к поставленной им себе цели, я видел и на маленьких пропагандистских рабочих собраниях, и в рабочих кружках. Надо было видеть, с каким огромным терпением и чуткостью к уровню понимания слушателей он развивал им теорию Маркса о стоимости и об основах буржуазного строя. И, надо сказать, рабочие платили ему за это данью огромного уважения и любви.

Помимо самого тесного контакта в течение трех лет совместной работы, мне пришлось пробыть с В. И. в тюрьме (предварилке) 1 год 2 месяца, большую часть которых мы провели в соседних камерах и все время перестукивались и сносились записками (ухитрялись даже играть в шахматы), а затем 3 года пробыли вместе в Сибири (в 40—50 верстах друг от друга) и часто виделись там. Но повторяю, если бы начать говорить об всем этом, то можно было бы написать целые томы. В этом человеке все до такой степени было оригинально и значительно, что если уже писать о нем подробно, то надо было бы описывать по порядку всю его жизнь.

Я полагаю, что я не сообщил ничего особенно нового к тому образу, который сложился о Владимире Ильиче на основании фактов последнего времени. Но необходимо на один момент вернуться к тому, что я говорил в начале, и поставить фигуру В. И. на тот серый фон, который там изображен: фигура получается до последней степени яркая, и уж одного этого для нас, соработников В. И., было в свое время достаточно, чтобы быть убежденным в правоте и перспективности нашего дела. Я виделся с В. И. несколько раз в 1920 году после длительного перерыва (предпоследний раз я виделся с ним в Женеве в 1907 году). При этих свиданиях меня поражало, до какой степени он мало изменился сравнительно с тем, каким я видел его в девятидесятых годах. При этом мне всегда приходила мысль, что только теперешние события

создают надлежащий фон для этой колоссальной фигуры, и в то же время невольно мысленно эту фигуру, оставшуюся в сущности нисколько не изменившейся за истекшие тридцать лет, я ставил на фон серой действительности конца восьмидесятых и начала девятидесятых годов. В моих глазах фигура от этого нисколько не теряла, а, наоборот, выигрывала. И мне приходили в голову слова одного из персонажей, если не ошибаюсь, Островского: «Но какой, однако, с божьей помощью, поворот!..».

Из жизни Г. И. Успенского.

А. И. Иванчин-Писарев.

(Окончание).

VI.

Не прошло трех дней, как получились из Калуги деньги для Глеба Ивановича. Я поторопился отвезти их в Отейль. Дома была только Александра Васильевна.

— Глеб ушел погулять в Булонский лес, — об'яснила она его отсутствие. — Вы посидите: он скоро вернется... Глеб Иванович очень удручен, что из «Отечественных Записок» не шлют денег, и боится, как бы без них все прогоны из Калуги не ушли на хозяйство и уплату долгов: тогда не с чем будет выехать из Парижа...

— Ну, придумаем какую-нибудь новую комбинацию, — возразил я. — Из Калуги прислали 200 рублей, я привез.

— Прислали? Вот хорошо... Спасибо вам... Вернется Глеб Иванович — надо будет обсудить, как распорядиться ими...

— Алек-сандр Ива-но-вич! — воскликнул Успенский, когда, по возвращении домой, увидел меня.

— И с деньгами... — поторопилась сообщить Александра Васильевна.

— Из Калуги?.. Да, — произнес равнодушно Глеб Иванович. — Придется немедленно послать их обратно.

На мой вопрос: почему? — он об'яснил:

— После нашего подсчета... помните, на бульваре S-t Michel?.. нагрянули еще непредвиденные расходы, и открылись новые должники... Даже с деньгами от Елисеева не выкроишь на поездку... Да и пришлют ли из «Отечественных Записок»... Сильно сомневаюсь... Из Калуги — 200 рублей?

— Да, 200... Вот получите!

Глеб Иванович взял деньги, посмотрел на них и положил на стол.

— Хорош капиталец, — сказал он, — да не про нашу честь!.. Возьмите-ка, голубчик, и верните завтра Верховскому, а я напишу ему благодарственное письмо...

Я предложил не торопиться возвращать деньги и подождать ответа из «Отечественных Записок».

— Несомненно, вашу просьбу исполнят, — сказал я, — и тогда в вашем распоряжении будет 500 рублей... Разве этой суммы не хватит, чтобы ликвидировать долги и уехать в Россию?

Глеб Иванович закурил новую папиросу, склонил голову на бок и с улыбкой произнес:

— Еще вопрос, удержатся ли эти 200 рублей до денег Григория Захаровича... Александра Васильевна подвела итоги новейших неотложных расходов, и с калужским капиталом в кармане, признаться, будет трудновато не пустить его в оборот...

— Ну, что вы, Глеб Иванович!—воскликнула Александра Васильевна.— Конечно, можно не тратить 200 рублей... Разве нельзя удержаться?

— Потрудитесь, — сказал Успенский, сделав характерный жест левой рукой с двумя вытянутыми пальцами. — Нам с вами легко удержаться от трат, когда нет денег в кармане... да и то норовим ухватить в долг...

— Что подумает о нас Александр Иванович после такой характеристики, — конфузливо заметила Александра Васильевна.

— Ничего худого, — ответил я: — экономия, расчетливость, скопидомство не пользуются моей симпатией... Если вы истратите эти 200 рублей, я только постараюсь, как уже сказал, придумать новую комбинацию для от'езда Глеба Ивановича...

— Придумаете? — переспросил Успенский и, не дождавшись ответа, быстро зашагал в другую комнату, откуда вдруг вылетел крик его первенца. За ним скрылась Александра Васильевна... Через две-три минуты Глеб Иванович вернулся, держа в руках своего «Сашечку».

— Дай ручку Александру Ивановичу, — сказал он.

Ребенок протянул руку прямо к моим губам.

— Вы видели, как он тушит спички? Посмотрите.

Настроение Глеба Ивановича резко изменилось, и, вместо прежнего унылого тона, он говорил радостно.

Опустившись на диван, он посадил перед собой сына на стол и взял коробку спичек. Мальчик заерзал на столе и вытянул губки, приготовляясь дуть... Спичка вспыхнула и погасла. Ребенок с досадой замахал ручонками.

— Сейчас, сейчас, — успокаивал его Глеб Иванович, зажигая вторую спичку. — Смотрите на его глазки: сколько любознательности в них.

Спичка горела. Мальчик внимательно следил за колебанием пламени и, видимо, ждал, когда предложат ему потушить огонь.

— Дуй, дуй! — торопливо сказал Глеб Иванович, приближая спичку к сыну.

Он не мог еще сразу потушить пламя и безостановочно дул, увеличивая его колебания. Наконец, Глеб Иванович приблизил спичку настолько, что от дуновения ребенка она погасла.

Мальчик опять заерзал на столе и замахал ручонками, издавая какой-то сложный звук, принятый Глебом Ивановичем за требование «еще»!

— Хочешь еще?.. Ну... вот! — и Глеб Иванович повторил опыт с новой спичкой. — Изумительно! — говорил он. — Я пробовал давать ему спичку за спичкой, и он с одинаковым интересом тушил и тушил... Для нас это — однообразное, скучное занятие, а ребенок все открывает в нем что-то новое... Вероятно, дети не могут сразу получить цельное впечатление от предмета, воспринимают его по частям, как неграмотные крестьяне готовы слушать без конца чтение одного и того же занимательного рассказа, пока не усвоят его целиком...

В комнату вошла Александра Васильевна и, протянув руки к сыну, чтобы унести его, сказала:

— Взять от вас этого гасителя света?.. Ему пора есть...

— Меня занимает детская психология, — продолжал Глеб Иванович. — Я наблюдаю, как Сашечка относится ко всему, что окружает его, и часто становлюсь в тупик, не зная, чем об'яснить то или другое движение его души... Чаще всего терзает меня его плач... Почему плачет? Чего хочет? Что нужно?.. Сдуру суешь конфекту, игрушку, зажигаешь спичку, берешь на руки — ничего не помогает. «Вероятно, животик болит», — высказывает предположение Александра Васильевна... Хватаемся за животик — массаж просто рукой, рукой с маслом, согревающий компресс. Утомленный волнением и криком, вызванные неизвестно чем — непонятной просьбой, болью, досадой, — Сашечка, наконец, засыпает... «Ну, конечно, животик», — закрепляет свою догадку Александра Васильева, и я, чувствуя полную беспомощность разобраться в психологии ребенка, соглашаюсь: да, животик!

— Значит, в моменты родительской растерянности все равно — дома вы или нет? — с улыбкой спросил я.

— Это к чему же, господин, такой вопрос? Хотите одного меня отправить в Россию, а Александру Васильевну с Сашечкой попридержать здесь?.. Признаться, я об этом сам подумывал. Но нельзя нам разорваться на две части. Первым делом, Александра Васильевна и при мне весьма неспокойна, когда у нас нет денег, а без меня — и вовсе изведется, чуть в получке капиталов выйдет заминка... Ну, а жить в Питере или Калуге и ежечасно представлять себе тревогу Александры Васильевны, ее волнения, страх, раз'езды по Парижу в поисках десяти франков, переживать все это с болью в сердце при каждом получении письма, телеграммы — воля ваша, сил не хватит... При моей наличности в семье нам обоим легче... даже без всякой наличности, и переселяться в Россию необходимо сразу втроем... Кабы только поскорее получить деньги из «Отечественных Записок»... Вы думаете, пришлют?

— Несомненно, Глеб Иванович.

— Можно, значит, не возвращать этих 200 рублей?

— Конечно.

— Александра Васильевна!.. Получите-ка капиталец... Позаткнем дырки, откуда особенно хлещет и отшибает, и прикупим, чего надо... маленько.

VII.

Когда прибыли деньги из «Отечественных Записок», от «капитальца» не осталось и следа... В этот раз к обычным причинам беспокойства Глеба Ивановича присоединился новый мотив: «Спустил все прогоны, и не добраться до места служения».

— Посчитайте-ка! — возбужденно говорил он. — Для ликвидации здешней жизни надо мало-мало сто рублей — раз; дорога до Питера во втором классе (с Сашечкой, ведь, не поедешь в третьем?) без малого двести — два; да на первоначальное устройство Александры Васильевны с ребенком около сотни, — вот и все 300 рублей... На что же я двинусь в Калугу?

При данных условиях менее впечатлительный человек не считал бы себя в безвыходном положении, но Глеб Иванович был болезненно удручен и быстро крутил свою бородку.

— До Петербурга еще доберусь как-нибудь, а дальше... относительно Калуги-то... придется признать себя с к а - т и - н о й.

Необходимо было вывести Глеба Ивановича из угнетенного состояния, и на выручку явился наш общий друг, Мария Павловна Лешерн-фон-Герцфельд.

Она просила Глеба Ивановича не смущаться соображением, как он попадет в Калугу, и готовиться к от'езду. Если обнаружится в дороге, что ему не хватит денег, пусть он завернет в Минск к ее брату, Николаю Павловичу Мейнгардту, управляющему Ландварово-Роменской железной дороги, и передаст ему ее письмо.

Она напишет, чтобы он дал 200—300 рублей, сколько потребуется...

— И он даст? — удивленно спросил Глеб Иванович.

— Непременно. Я напишу, что деньги нужны мне... Брат охотно исполнит мою просьбу, тем более, что он получает десятки тысяч, а такая сумма — пустяк для него.

— Пре-вос-ходно!.. Ну, а вам-то когда же я верну... этот п у с т я к?

— Сосчитаемся... Об этом не думайте.

— Лучше постарайтесь ускорить свой от'езд, чтобы сократить расходы в Париже, — сказал я.

— Я сейчас... Поеду к Александре Васильевне... Скажу, что снова призван к жизни... Воскресили вы меня, Марья Павловна... Спасибо! — с чувством произнес Глеб Иванович, пожимая ее руку.

Он направился к выходу и вдруг остановился перед самой дверью.

— Знаете что? — обратился он ко мне. — Пусть Александра Васильевна укладывается с Marie, прихватит вместо меня мужа concierge (какой же я укладчик!)... а мы с вами давайте погуляем последние дни по Парижу. Согласны?

— С большим удовольствием.

— Значит, au revoir!

VIII.

Когда, дня через два, я зашел к Глебу Ивановичу, он встретил меня довольно сумрачно.

— Александра Васильевна протестует против наших прогулок, — сказал он и насмешливо улыбнулся. — Видите ли, очень серьезные доводы. Во-первых, я нужен для укладки вещей: с Marie и с мужем concierge она не управится; во-вторых, наши прогулки влетят в копеечку, а перед от'ездом каждый сантим — капитал, и, в-третьих, самый неотразимый аргумент, мое присутствие дома крайне важно именно в последние дни на случай семейного совета, например, не захватить ли мой старый галстух?

— Разве я не права? — спросила Александра Васильевна. — Глеб хочет побывать с вами в Сен-Клу, в Butte de Chaumont, еще где-то... Значит, будет пропадать целые дни... не обойдется без трат, а потом... сожаления, вздохи...

— Какие же траты? Позвольте спросить, — возразил Глеб Иванович. — До Сен-Клу на пароходе по Сене, в Butte de Chaumont возьмем correspondance... где-нибудь подзакусим маленько — вот вся смета: даже мой карман не заметит!

— То-то п о д з а к у с и м! — с особым ударением повторила это слово Александра Васильевна.

— И под-за-ку-сим! — с оттенком недовольства произнес Глеб Иванович. — Так подзакусим, что все шантаны об'ездим!

— Ну, до этого не дойдет; что вам там делать!

— Успокойтесь, Александра Васильевна! — сказал я. — Как отразится на ваших сборах отсутствие Глеба Ивановича, не представляю себе, но чувствительных расходов ему не предстоит: на прощанье он будет моим гидом, а я за это отблагодарю его подвижной «отвальной» в каких-нибудь epiceries...

— Видите, как, с божьей помощью, обернулись мои безумные траты, — сказал Глеб Иванович, с улыбкой покручивая свою бородку.

Дорогой на пароход он говорил мне:

— Вы думаете, протестуя против моих отлучек, Александра Васильевна приводит настоящие мотивы своего недовольства? Нет, за ними таится чувство ревности.

— Ну, что вы!

— Не зайди вы сегодня за мной, она продолжала бы терзаться подозрением, что прогулка с вами — один предлог улизнуть к дочерям Г. В последнее время ее воображение работает в этом направлении. Ей говоришь: был в вашей компании, беседовали о том-то, — она смотрит, смотрит на меня пристально, в упор — и вдруг: «А у Г. не был?».

— Кто эти Г.?

— Г. — молодые девушки, по своему развитию скорее дети, чем взрослые, не могут ущемить ни моего сердца, ни ума, но Александра Васильевна заметила раз их радушие при встрече со мной и с тех пор строит догадки у этого пустого места...

— Все это Александра Васильевна говорит вам?

— Нет, прямо не говорит, но ее сосредоточенный взгляд, намеки, тревожное ожидание, когда меня нет, и замешательство при встрече, часто переходящее в слезы — все это лучше слов раскрывают ее душу...

Успенский остановился, вставил в гильзу почти докуренной папиросы новую и продолжал, волнуясь:

— Ужасно тяжело находиться в подозрении насчет любовной благонадежности! Чувствуешь себя связанным в каждом движении. Намереваешься, примерно, повидать Петрова или Семенова, повидать так, без особой надобности, но не можешь сказать просто: «иду туда-то», потому что в голове вертится мысль: «заподозрит иной алюр», и умышленно выдвигаешь вперед настоятельную необходимость визита, хотя ее нет... А застрял в гостях, пересидел заранее определенное время, уже представляешь себе душевную бурю дома, а за ней мучительную уверенность: «ясно, попал не туда, куда хотел», и, по возвращении, действительно слышишь: «а я думала, не зашел ли ты куда-нибудь»...

Мы шли по берегу Сены.

— Присядем здесь, — предложил Глеб Иванович, когда мы поровнялись с лавчонкой, где можно было спросить сифон с красным вином.

— Говорят, ревность — оборотная сторона любовной страсти, — проговорил Успенский, выпив залпом свой стакан. — Не знаю, так ли, но факт тот, что страсть по временам стихает, а ревность не знает устали... Вот, сидим мы с Александрой Васильевной дома, вдвоем, можно сказать, воркуем... Вдруг — звонок в передней. Почтальон принес письмо. Александра Васильевна опережает Marie, берет конверт в руки и, пока несет мне, разглядывает адрес.

— Чей это почерк, — смущенно говорит она, — точно женский, — а письмо от Исидора Голдсмидта [1]).

Или усаживаюсь я к столу писать. Беру почтовую бумагу (я всегда пишу на ней), наклоняю голову и чувствую, что она смотрит на меня...

— Вы что? — спрашиваю.

— Ты пишешь письмо?..

Достаточно этого вопроса, чтобы писательские мысли разлетелись, как воробьи от выстрела, и захватило раздумье о семейных путах, позвякивающих довольно частенько и пренеприятно...

Глеб Иванович опорожнил еще стакан.

— Самое гнусное чувство собственности — супружеское: «ты мой», «не отдам». Оно требует безраздельной принадлежности одного человека другому; не допускает ни малейшей свободы в выборе знакомств, отношений, времяпровождения и решительно пред'являет права на получение постоянного отчета: куда идешь? где был? кого видел? что тебе не сидится дома?.. Безропотно, покорно переносить любовный деспотизм с его надоедливым контролем над каждой мыслью, над каждым движением — ведь это — отка-

---

[1]) Исидор Альбертович Гольдсмидт—редактор журнала «Знание», живший в Париже.

заться от себя самого, утратить права на независимое существование! Разве это мыслимо!.. Терпишь, терпишь — и вдруг фыркнешь. А фыркнул — потоки слез, несправедливые упреки, жалобы... Извольте восстановлять истину... Что говорить: занятие приятное для ревнивого сердца, жаждущего лишний раз услышать признание в любви хотя бы в такой форме, но не для меня, не повинного перед ним ни душой, ни телом: я предпочитаю убегать из дому от этих любовных упражнений... И убегаю. Однажды три дня пропадал, даже застрелиться хотел, но денег не нашлось купить пистолет...

— Застрелиться из-за ревности «на пустом месте», как вы говорите? — изумился я.

— Такая-то ревность и мутит... Навалились тогда сразу все злодейства: денег не было, нужда вылезала из всех щелей, к письменному столу не влекло... Стал я шляться в Булонском лесу... Мыкался, мыкался из конца в конец и догулялся до подозрительных взглядов и расспросов Александры Васильевны... И раньше они были не кстати, а тут перевернули все нутро, мысль уперлась в безнадежный тупик, все перспективы исчезли, охватила меня прямо безысходность... Да, государь мой, будь у меня в тот момент десять франков на Лефошэ, не попивали бы мы с вами винцо [1])...

— Вы сказали об этом Александре Васильевне?

— Как же, в тот же день сказал, как образумился и вернулся домой... Конечно, — теплые слезы, раскаяние... потишела месяца на два, а потом — опять это слепое чувство...

Меня заинтересовал вопрос: при каких условиях Глеб Иванович заметил признаки ревности Александры Васильевны, не подал ли сам он повода подозревать его в «любовной неблагонадежности» и неужели весь период их близости отмечен вспышками «слепого чувства»?..

После остановки в пути мы скоро сели на пароход, направлявшийся в Сен-Клу.

На левом, высоком берегу Сены, среди богатой растительности, показались развалины грандиозного сооружения.

— Ээ, Наполеонтий, Наполеонтий! — воскликнул Глеб Иванович: — Какое именьице прогулял... Чудный парк, бассейн, фонтан... был роскошный дворец. Здесь в 1870 году он, на свою голову, пруссакам войну об'явил... Немцы залезли сюда, а французы, задыхаясь от злобы, на все, что напоминало Бонапартов, давай громить Сен-Клу ядрами из форта Мон-Валерьян: разрушили и сожгли дворец до основания...

В парке мы встречали кое-где обожженные деревья, новые скамейки, взамен старых, пострадавших от бомб, но, кроме развалин дворца с его пристройками, не замечалось больших следов разрушения.

— Быстро оправляются французы, — говорил Глеб Иванович: — выбросили в немецкое хайло пять миллиардов — и ничего... А немцы, прямо ска-

---

[1]) Об этом случае Г. И. Успенский упоминает в письме к В. А. Гольцеву, говоря: «За границей я пережил такие моменты, когда готов был даже наложить на себя руки».

зать, обалдели от успеха! Я видел их в Берлине в 71 году, после разгрома Франции. Все эти Фрицы, Михели, Карлушки-колбасники разбухли от сознания солдатского величия: ходят самодовольные, грудь колесом, морда кверху, усы — словно бычачьи рога... Перед дворцом то-и-дело в каком-то исступлении вскидывают и опускают ружья; по тротуарам щелкают шпорами; царапают асфальт саблями на колесах... Везде лязг, шум, звон... При встрече с своим братом — у каски два пальца и гордая улыбка; в толпе — презрение в глазах и что-то зверское... А дальше что будет, когда все пять миллиардов они ухлопают на новые пушки, ружья, палаши!.. Ведь только и думают, как бы, стальной щетиною сверкая, нагнать на всех страх!

— Но французы не очень огорчены постигшими их бедствиями, — сказал я: — утешились изгнанием Наполеонтия навсегда.

— Хорошо, как навсегда!.. Citoyen'ы любят liberté, égalité и fraternité... даже тюрьмы украшают такими надписями... и в то же время слабоваты насчет парадов, орденов... как бы не заскучали об них?.. Бывали примеры... Правда, расправа с Коммуной версальского правительства показала, каких злодеев наплодил наполеоновский режим... Возвращаться к нему не очень-то соблазнительно, даже если какой-нибудь авантюрист и станет махать лентами Почетного Легиона... Авось, утвердится республика!

В парке мы сели на лавочку, и я поднял вопрос, заинтересовавший меня, когда Глеб Иванович говорил о ревности Александры Васильевны.

— Сам я дал маху, — ответил Успенский. — Всегда я посвящал Александру Васильевну во все: где был, с кем виделся, как проводил время — ничего не скрывал от нее... Но вот со дня на день она ждала появления Сашечки, а на меня совершенно неожиданно прицелилась набросить любовную сеть одна девица, с уверенностью, во что бы то ни стало, запутать в свои петли... Из боязни, — тут-то и был сделан первый ложный шаг, — из предосторожности, как бы не потревожить Александру Васильевну рассказом о слишком смелом, решительном нападении на меня, я умолчал о первой встрече с девицей, о прогулке с нею по Невскому и беседе в отдельном кабинете в Знаменской гостинице: ловкой змеей обернулась — незаметно обвилась и потащила за собой... Скрыл я от Александры Васильевны этот ритурнель, а затем быстрые подходы девицы обратились в сплошное преследование с записками, назначениями свиданий — Александра Васильевна могла подумать, что роман — не в первой стадии развития, и я усугубил свое молчание...

— Откуда взялась эта девица? — спросил я.

— А, видите, как было дело. В едину от суббот, когда у Александра Александровича Ольхина [1]) был очередной веселый вечер с молодежью, дамами, танцами, явился туда я с корректурой биографии Решетникова... Я был поглощен мыслями, навеянными на меня его перепиской, дневником,

---

[1]) Мировой судья, присяжн. поверенный, поэт (ему принадлежит, между прочим, стихотв. «На смерть Мезенцева»), сотрудник газет «Вперед» и «Народная Воля».

заметками, отрывками сочинений... частью материала я воспользовался для биографии, а другая, не совсем удобная для печати, носилась в голове.

— Не желаете ли, господа, — обратился я к танцорам, — отдохнуть, послушать биографию Ф. М. Решетникова? Вчера только кончил и, под свежим впечатлением любопытного материала, могу делать к ней словесные добавления... — «Пожалуйста, пожалуйста!» — закричали все и бросились подсаживаться к столу, где я разложил свои листочки... Рядом со мной очутилась красивая высокая блондинка, подперла руками лицо и, вперив в меня жгучий взор карих глаз, приготовилась слушать.

Вообще надо заметить, чтение Глеба Ивановича отличалось выразительностью, напоминавшею его манеру говорить, и захватывало особенно слушателя, если он прерывал его разговорной речью с неожиданными остроумными сравнениями, примерами, мимикой и жестами... Легко представить себе, в какое восхищение пришла молодежь, слушая интересную биографию Ф. М. Решетникова в изложении Успенского.

— Несколько раз меня прерывали аплодисментами, — говорил Глеб Иванович, — а когда я кончил, поднялся такой оглушительный треск, стук ногами и стульями, что грохот этого неистовства вылетел на улицу и, вероятно, так встревожил городового, что он донес в полицию о преступном сборище: по крайней мере, с этого вечера стали следить за квартирой Ольхина.

Когда я одевался в передней — итти домой, ко мне подошла красивая блондинка, пристально посмотрела на меня и, протянув руку в перчатке, произнесла:

— Позвольте поблагодарить вас от души... Ах, если бы чаще вы читали на наших вечерах, было бы куда приятнее танцев... Мне хочется спросить вас кое-что о Решетникове, но вы торопитесь, к сожалению, — прибавила она со вздохом, застегивая свое пальто.

— Если не претендуете на целый реферат—пройдемтесь,—предложил я.

— А вы далеко живете?

— На Невском, за Знаменской площадью.

— Значит, нам по пути.

С Малой Итальянской, где жил Ольхин, мы повернули на Надеждинскую и прошли на Невский. Девица сразу увлекла меня в полемику, заставив защищать Решетникова от ее уверений, будто он — графоман, не больше.

За этим разговором мы раза три прошлись по Невскому. Девица уставать стала...

— Хотелось бы присесть где-нибудь, — говорит. — К сожалению, не могу пригласить вас к себе: для поздних визитов мои родственники — неподходящие люди.

— И у меня большое неудобство, — говорю: — жена больна.

— Зайдемте в ресторан!

Так мы очутились в отдельном кабинете Знаменской гостиницы... Пришлось спросить чего-нибудь. Она пожелала чаю, я взял бутылку пива. После моей защиты «Подлиповцев» и «Где лучше», не поколебавшей ее взгляда, она подошла к вопросу с другой стороны.

— Ну, хорошо, — сказала она, — я могу согласиться с вами, что недостатки произведений Решетникова об'ясняются неблагоприятными условиями его жизни; изменись обстановка к лучшему — он писал бы лучше. Но его пристрастие к вину, ведь это — явный признак, что он не был идейным человеком, его ум не горел заботой о людском счастьи... По моему, искать забвения в водке от всяких невзгод — удел мелких натур. Разве человек идеи согласится терять сознание хотя бы на один час, а ваш Федор Михайлович постоянно находился под влиянием винных паров... Вот почему мне и кажется, что он был больше графоманом, чем писателем.

Тут я вышел из себя.

— Ну, сударыня, — говорю, — в этом вопросе вы — не судья! Литературный труд сопряжен с такими тяжелыми переживаниями, что писателю часто необходимо прибегать к наркотическим средствам (табаку, вину, брому, хлорал-гидрату), чтобы привести себя в норму и снова приняться за работу... Возьмите такой случай. Вы пишете. Мысль ваша развивается в направлении несомненной истины, вдруг — соображение о цензуре!... Уверенность, что вся ваша правда погибнет, рвет в клочки вашу мысль, и получается мучительное ощущение: точно перерезали вам нерв тупыми ножницами...

— Ну, это вы такой впечатлительный, — возразила она, — другие, вероятно, так не страдают при воспоминании о цензуре.

— Всякому дорога своя мысль... Будь у меня время, я раскрыл бы вам ужасные моменты писательской жизни, и тогда, надеюсь, вы не стали бы смотреть косо... ну, хоть на мою бутылку.

— Ну, что вы, Глеб Иванович, — воскликнула девица и схватила меня за руку. — Вас я не имею в виду. Вы особенный, вы... — И пошла расхваливать меня по всем правилам расстроенного воображения...

В ресторане я все время сидел в тревоге: было уже поздно, и меня беспокоила мысль, как-то чувствует себя Александра Васильевна? Я предложил девице разойтись по домам. Она запротестовала, стала просить «посидеть еще часик» и познакомить ее с тяжелыми моментами писательской жизни, чтобы она могла судить правильно о литературном творчестве. Остаться я положительно не мог: так захватило беспокойство за Александру Васильевну. Чтобы покончить с упорством девицы: «подождите», «посидите, прошу вас», — я сказал:

— Сейчас остаться просто не в силах. Хотите, встретимся завтра?

— А где?

— В двенадцать часов дня в Екатерининском сквере.

— Хорошо, — говорит, — только не опоздайте! Я буду ровно в двенадцать часов, вместе с ударом пушки.

На улице она взяла извозчика, и мы расстались.

Дома я застал Александру Васильевну в большом смущении: приближались роды...

Явился Сашечка. В разных хлопотах я основательно забыл девицу. Но она не забыла меня. Каждый день стала присылать записки по почте с назначением свиданий то на Николаевском вокзале, то в Екатерининском

сквере; раз даже зашла с черного хода спросить у кухарки, здоров ли я. Я не отвечал ей.

Прошла неделя со времени рождения Сашечки, я сидел у постели Александры Васильевны, вдруг — звонок. Вошла прислуга и подала мне довольно об'емистое письмо, сказав, что принес посыльный и ждет ответа. Я вышел в другую комнату посмотреть, от кого письмо. Оказалось, пишет девица!.. Страстный, безумный лепет влюбленной с упреками в жестокости и в то же время с надеждой на взаимность, потому, видите ли, что, если бы она не приглянулась мне с первого раза, то вряд ли я гулял бы с нею по Невскому, сидел в отдельном кабинете ресторана и назначил ей на другой день свидание в Екатерининском сквере: ловко скомбинировала все факты в свою пользу. Чему приписать мое упорное нежелание видеть ее? Допустить, что я болен, она не может, потому что лично справлялась о моем здоровьи на дому и вчера видела меня с кем-то на извозчике... Ей необходимо видеть меня. Когда? Где? — ей безразлично. Она лишь просит пожалеть ее, не томить продолжительным ожиданием встречи, так как все это время она не знает покоя ни днем, ни ночью...

Признаюсь, смутило меня это письмо. Без предварительных об'яснений по характеру содержания, его нельзя было показать Александре Васильевне; ответить смелой, решительной девице категорически: «убирайтесь к чорту с вашей любовью!» было рискованно... Я машинально вышел к посыльному и сказал, что пришлю ответ по почте...

Когда я вернулся к Александре Васильевне и она спросила, от кого такое большое письмо, я ответил: «Кривенко прислал чью-то рукопись, просит просмотреть»...

Через два — три дня раскрылось, какая это рукопись. Письмо лежало в кармане моего пиджака. Я небрежно бросил пиджак на стул и письмо очутилось под столом. Прислуга, убирая комнату в мое отсутствие, заметила его и подала Александре Васильевне. Думая, что это рукопись от Кривенко, Александра Васильевна заглянула в письмо. Сердце ее замерло, когда она увидела, какими любовными эпитетами девица уснастила свое обращение ко мне... С ней сделалась истерика, пришлось приводить ее в чувство... Когда, по возвращении домой, я зашел к ней, она встретила меня слезами, а на мой вопрос, что с нею, подала письмо, сказав, что была уверена, что это — рукопись от Кривенки... Я старался убедить ее, что если на основании этого письма она пришла к мысли о моей измене, то жестоко ошиблась. Я рассказал ей все, как было, и просил прочесть письмо целиком. Я думал, мои доводы вместе с письмом убедят ее, что у меня и в помышлении не было спускать на девицу амура... Но я не достиг цели... Вся в слезах, Александра Васильевна спросила: «Почему же раньше ты не сказал мне об этом?». — «Я хотел устранить от тебя всякое беспокойство,' — ответил я и сейчас же понял, что это об'яснение не удовлетворит ее... Она сильнее расплакалась. Я с досадой ушел в свою комнату, сказав: «Ну, время покажет тебе, что я прав»!..

Но время не давало успокоения. Девица все настойчивее добивалась свидания. Раз я вышел из квартиры и заметил, что она прохаживается около нашего дома. Я взял извозчика и велел ему ехать как можно скорее. Через мгновение она уже гналась за мной на лихаче и, поровнявшись, окликнула: «Глеб Иванович». Меня обуял страх... Некоторое время мы ехали рядом, и она все твердила: «Почему вы избегаете меня? Чем я провинилась?». На Надеждинской я остановился у знакомого табачного магазина, сунул извозчику деньги и быстро вошел в магазин с намерением скрыться через заднюю дверь. Только я показался на дворе, как увидел ее. Она шла навстречу, протягивая руки. — «Оставьте меня в покое, — крикнул я, — никаких свиданий я не желаю». — Да почему? Скажите, — спрашивала она, сильно жестикулируя. В ответ я повернулся и снова вошел в магазин. С полчаса я пробыл там, пока она образумилась и уехала.

Я полагал, что этот случай будет последним в ряде ее домогательств. Но ошибся. Она продолжала назначать мне свидания и, наконец, известила, что каждый день будет ждать меня от двенадцати до двух часов на Николаевском вокзале. Не в пример другим посланиям, даже грозившим добраться до меня во что бы то ни стало, эта записка была в нежном тоне, с мольбой пожалеть ее молодость, не лишать счастья провести со мной хотя мгновение... После этого послания прошла, пожалуй, неделя без писем. Но вот, в день крестин Сашечки, когда совершался обряд, раздался неистовый звонок в передней. Я отворил дверь. Вошел посыльный внушительного вида. Он подал письмо. Было всего две строчки: «Я на вокзале. Прошу ответить: увижу или нет». Я сказал посыльному: — Ступайте, ответа не будет. Он заорал на всю квартиру: «Без ответа не приказано уходить». — Ступайте, я вам говорю. Вот вам на чай. — Он поблагодарил и прибавил: «Велено беспременно, чтоб ответ принес». — У меня крестины, а вы кричите... Уходите, пожалуйста, — сказал я, выпроваживая его за дверь, и сунул ему еще мелочи. Он ушел.

Появление посыльного и его крик очень взволновали Александру Васильевну... Между тем девица готовила ей более потрясающий сюрприз. Пронюхала она (вероятно, через кухарку), что с появлением Сашечки нам нужна няня или горничная и, нарядившись в соответствующий костюм, пришла наниматься. По описанию моему ее внешних примет и по разговору Александра Васильевна догадалась, что это — она, и, почему-то заподозрив, что девица явилась с намерением совершить убийство, в испуге прибежала ко мне...

Я вышел в кухню и не застал уже «горничной»: она исчезла, оставив на память свою визитную карточку...

Потянулись скучные дни. Я боялся выходить на улицу из опасения встречи с девицей и чувствовал себя отвратительно без личных сношений с редакцией и с нужными людьми... Прошло недели две моего затворничества.

Раз вечером ко мне зашел Николай Константинович Михайловский и убедил меня пройтись с ним по Невскому. В Екатерининском сквере мы присели на лавочку покурить. Вдруг, откуда ни возьмись — передо мной торговка с лотком; протянула мне лоскуток бумаги: «Прочти, кормилец.

адресок, я неграмотная»... Я взял бумажку, подошел к фонарю и... смутился — мой адрес, взглянул на бабу — она... — «Когда же кончится ваше преследование!» — чуть не закричал я... Мой голос услыхал Николай Константинович и подошел к нам... «Я без вас жить не могу... Каждый день брожу по улицам в ожидании встречи», — волнуясь, проговорила мучительница.

Послушайте, — сказал ей Михайловский, — присядем вон на ту лавочку; я хочу поговорить с вами. Ведь вы видали меня у Ольхина?

Они отошли в сторону, а я подрал домой.

Николаю Константиновичу удалось убедить девицу оставить меня в покое. Он неопровержимо доказал ей, что упорство, с каким она преследует меня, только угнетает и держит меня в постоянном страхе, — разве на такой почве может родиться симпатия? Девица восприняла мудрый совет, образумилась и стала лишь изредка напоминать о себе присылкой фруктов со вложением визитной карточки.

Александра Васильевна, к сожалению, не усвоила взгляда Николая Константиновича на мои отношения к девице и продолжала подозревать меня в измене...

— Вот с этого-то случая, — закончил Глеб Иванович свой рассказ, — и стала культивироваться в ее сердце ревность, причиняя нам обоим неприятности...

Девица это по временам то исчезала, то снова появлялась. При виде ее неизменного приношения в руках дворника, Глеб Иванович приходил в волнение, просил догнать ее и вернуть ей фрукты, но постоянно следовал ответ: «Барышня была на извозчике и сейчас же уехала».

Однажды при мне повторился такой же случай. В 1880 году, летом, Глеб Иванович жил на Забалканском проспекте, в доме Сивкова. Я зашел к нему. Только мы расположились на диване, как явился дворник Иван с корзиной фруктов, украшенной цветами. — «Вашей милости», — сказал он, подавая корзину Глебу Ивановичу. — Барышня?! — с испугом спросил Успенский. — «Так точно». — Голубчик, Иван, догоните, отдайте ей и скажите: дома нет, — «Не догнать, Глеб Иванович; на хорошей лошади приезжала и сейчас же назад». — Положительно — шпионка, — неожиданно воскликнул Успенский, когда вышел дворник. — Раз также явилась, когда у меня сидел Н. А. Саблин, теперь — вы... Выследит всех, кто у меня бывает, и донесет... — «Давно бы донесла, — сказал я, — если бы этим занималась... Просто, ее визиты случайно совпали с нашими». — Ох, сколько она мне причинила беспокойства! — с тяжким вздохом произнес Глеб Иванович.

Подозрение девицы в шпионстве, несомненно, следует приписать особой мнительности Успенского, порожденной непонятным для него упорством этой особы, несмотря на явную невозможность достигнуть цели.

Глеб Иванович не отдавал себе отчета в той обаятельности, какая была ему присуща.

Выразительные темно-карие глаза, отражавшие бесконечную доброту; ласковая, застенчивая улыбка; особые манеры; оригинальная речь, всегда искренняя, содержательная, с большой дозой редкого юмора, — все это сразу

приковывало к нему внимание. Даже поверхностное знакомство с ним вело к тому, что люди искали его общества, а частые сношения порождали глубокую, прочную привязанность. В обращении многих мужчин к Глебу Ивановичу сказывалась такая нежность, что его имя произносилось не иначе, как с добавлением ласкательных эпитетов, некоторые же за глаза называли его любовно «Глебушкой». Если так относились к нему мужчины, то женщины, очарованные им, свои симпатии проявляли еще ярче, и не удивительно, что среди них встречались поклонницы, готовые не считаться с его семейным положением.

«Девица», так упорно преследовавшая Глеба Ивановича, не была единственным примером исключительных отношений.

Вот две сестры, красивые, молодые девушки, случайно познакомившиеся с ним в дороге от Петербурга до Одессы. Они ехали с целью совершить морское путешествие за границу, но за три дня пути так увлеклись Глебом Ивановичем (в особенности старшая), что по приезде в Одессу не захотели ехать дальше. Располагая большими средствами, они остановились в лучшей гостинице и старались не разлучаться с ним, приглашая его к себе завтракать, обедать и гулять вместе. Однажды, любуясь морем, Глеб Иванович воскликнул:

— С каким удовольствием я прокатился бы с вами за границу!

— Едем, — последовал решительный ответ.

— Ну, это не так просто. Нужен заграничный паспорт, деньги, необходимо предупредить домашних...

— Все пустяки! Паспорт мы вам достанем, денег у нас много, а домой пошлите телеграмму...

— Что же вы думаете, — передавал Глеб Иванович. — Через день захожу к ним. Старшая выбегает навстречу, держа что-то в руке, и кричит: — Едем! Вот паспорт и деньги!..

Я, признаюсь, смутился.

— Как все это быстро у вас, — говорю: — раздобыли заграничный паспорт без моего вида на жительство: прямо волшебницы!

— Здесь комиссионеры — ловкий народ, — говорят: — устраивают более серьезные дела.

— Ловкий народ? — говорите.

— Изумительно ловкий!

— Знаете что? — сказал я, улыбаясь. — Поручите им обставить нашу поездку так, чтобы моя жена признала ее необходимой, и я мог пуститься с вами в кругосветное плавание с полным спокойствием и — на собственные средства... Иначе не могу! — Огорчились, вроде как обиделись... Не знаю, как бы они изловчились еще для нашего совместного бытия, но мне страшновато стало от их фантазий и решительности: я удрал из Одессы... Впрочем, мы остались друзьями навсегда...

Дружба эта поддерживалась не столько свиданиями, сколько перепиской. Вероятно, из боязни, как бы письма их не породили в семье Глеба Ивановича какого-нибудь недоразумения, они пользовались адресом Н. К. Михайловского. Их расположение к Успенскому сказалось активно и в тот период, когда

по болезни он потерял трудоспособность, и для его семьи, по инициативе Михайловского, был образован капитал, позволявший Александре Васильевне содержать пятерых детей и давать им образование: наиболее крупные пожертвования исходили от этих сестер.

Вот, писательница, симпатичная особа средних лет, долго дружившая с Глебом Ивановичем. 17 апреля 1885 года он писал мне о ней: «N. N. теперь не хочет иметь со мной никакого дела, потому что я ей не соответствовал»...

При свидании в 1888 году я спросил, почему произошел разрыв, и он сказал:

— Для резюме наших отношений она требовала от меня ре-бен-ка. И прибавляла, наивная душа: «Ну, что вам стоит»! Так и разошлись.

Я знаю еще случай. Однажды Успенский заехал в провинциальный город N., где в кружке «радикальной» молодежи встретил хорошую знакомую из Петербурга. По пословице «старый друг лучше новых двух» он оказывал ей предпочтительное внимание. Обоим предстояло уехать из города одновременно и часть пути совершить на пароходе. Глеб Иванович предложил приятельнице отправиться вместе. Она дала согласие, но через день обратилась к своим близким товарищам с просьбой как-нибудь расстроить эту поездку. На вопрос: почему? — она об'яснила, что обаятельность Глеба Ивановича лишает ее самообладания, и, не ручаясь за свое поведение в дороге, она может скомпрометировать себя в глазах любимого человека...

Та же обаятельность Глеба Ивановича, но еще с большей силой, привязывала к нему его жену, и если можно сожалеть, что ревность Александры Васильевны иногда причиняла ему страдания до потери «всякой охоты писать», то в защиту ее следует сказать, что «слепое чувство» у нее никогда не проявлялось в резких формах, а, кроме того, и впечатлительность Глеба Ивановича могла внушать ему предположения, не всегда совпадавшие с действительным настроением Александры Васильевны.

Так в 1889 году Успенский говорил мне:

— При каждом звонке вздрагиваю, потому что чуть звонок — Александра Васильевна уже трепещет: не девица ли какая ко мне?.. Женщин боюсь и приглашать к себе.

В этой характеристике отношений Александры Васильевны к «каждому звонку», несомненно, было преувеличение: в тот же вечер за чайным столом Успенских я встретил их общих знакомых, и среди них были две больших поклонницы Глеба Ивановича. Александра Васильевна была одинаково приветлива со всеми.

IX.

Прогулка в Бютт-де-Шомон, куда через день мы отправились полюбоваться красивой местностью, вышла неудачной. По дороге туда Глеба Ивановича охватили воспоминания о жестокой расправе версальских властей с коммунарами, и его настроение быстро изменилось. Мы шли пешком. Он

жадно курил, часто останавливаясь, чтобы зажечь новую папиросу, и все время возмущался наполеоновским режимом, породившим Тьера и его сподвижников.

— Ведь какое зверье, — говорил он. — Расстреливали народ тысячами, а в Бютт-де-Шомон еще соорудили из трупов колоссальный костер, облили его керосином и зажгли... Им показалось мало убить и зарыть их в землю, захотелось изжарить в огне, обратить людей в густое, вонючее облако дыма, стоявшее больше недели над лесом!..

Освещая разные стороны наполеоновского режима, Глеб Иванович сильно волновался и в таком состоянии предпочитал итти пешком, а не сидеть в омнибусе, так что, когда мы добрались до Бютт-де-Шомона, почувствовали порядочную усталость.

В одном месте, на краю живописной лощины, где, вероятно, происходил расстрел коммунаров, мне вздумалось лечь на траву, к тому же я нигде не заметил запретительной надписи: «цветов не рвать, травы не мять» и т. д. Я лег ничком и быстро заснул. Вдруг я почувствовал, что чья-то сильная рука приподняла меня за шиворот, и в тот же момент услышал крик Глеба Ивановича:

— Comment osez-vous?

Я вскочил и увидел, что Успенский левой рукой держит за грудь внушительного вида мужчину в форме охранителя порядка в парке, а правой замахнулся на него палкой. Оба неистово кричат: один по французски, другой — с примесью русских бранных слов... Несомненно, мой отдых на траве и заступничество Глеба Ивановича кончились бы весьма печально, если бы во-время не подоспела группа французов, принявшая нас под свое покровительство, как иностранцев. Блюститель порядка принужден был удалиться, ворча что-то под нос, а мы, с чувством благодарности пожав руки нашим избавителям, поспешил оставить Бютт-де-Шомон.

Глеб Иванович долго не мог успокоиться при воспоминании о страже, называя его не иначе, как «наполеоновский огрызок»... Его нападение на этого «огрызка» явилось для меня совершенно неожиданным: он казался мне робким человеком, неспособным на решительные поступки, отчасти даже трусливым, потому что обнаруживал страх в таких случаях, когда не предстояло никакой опасности. Так, он боялся комнатных собак и выражал большое смущение, если такая собака подходила к нему ласкаться; отказывался ездить на извозчиках, а когда нельзя было избежать этого способа передвижения, постоянно хватался за сиденье возницы и просил: «Cocher, doucement s'il vous plait», хотя сам же говорил, что французские лошади «шлепают, а не бегут»...

В России я мог убедиться, что душе Глеба Ивановича вовсе не свойственна трусость, и его отношения к собакам и лошадям — лишь психические странности, какие встречаются иногда у нервных людей. Для примера укажу на Ю. Н. Богдановича. Несомненно, смелый, решительный человек, обнаруживший большое самообладание в роли Кобызева, — он готов был падать в обморок при виде черного таракана.

X.

Мне не пришлось проводить Глеба Ивановича в Россию, так как по неотложному делу я должен был с'ездить в Лондон. Он уехал в мое отсутствие, кажется, не встретив никаких помех. Зато в Вержболове, как он передавал впоследствии, — его «ждал сюрприз»: пригласили в жандармское управление. Причиной послужило письмо Глеба Ивановича А. А. Ольхину, где по поводу статьи последнего о русских судах в газете «Вперед» была фраза: «присылайте н а м (т.-е. русским, живущим за границей) еще», понятая в Петербурге в том смысле, что Успенский очень близок к революционной газете («играет такую же роль в Париже, какую П. Л. Лавров — в Лондоне»). В действительности Глеб Иванович был только знаком с П. Л. Лавровым, и, по настоятельной просьбе его друзей, напечатал в его органе юмористический фельетон: «Шила в мешке не утаить», впоследствии появившийся в апрельском номере журнала «Современность» за 1906 год.

— Перед Вержболовом, как полагается, отобрали паспорт, — рассказывал Глеб Иванович. — Стою у своих вещей в таможне. Вдруг откуда-то выплывает жандармский офицер и прямо ко мне: «Вы г. Успенский?.. Глеб Иванович». — Да, — говорю. — «Это ваши вещи?» — Мои. — «Неси, — приказал он артельщику, — и вы пожалуйте за мной!..» — Очутился я в присутствии... Там еще какой-то синий мундир. — «По приказанию III отделения Е. И. В. канцелярии, мы должны призвести у вас обыск», — говорит бравый ротмистр. — Но у меня нет ничего запрещенного, — говорю. — «А вот увидим-с!..»

При помощи унтера стали перебирать мои вещи...

— Это что? Книга? Клади сюда... Письмо? — На стол!

Был у меня номер «Отечественных Записок» и листочки начатой рукописи. Перетрясли все потроха... Насупился жандрам и стал смотреть в книгу, а в ней как раз моя статья... — Вы изволите писать в «Отечественных Записках?» — Как видите... — «Гм! И эта рукопись тоже предназначается для журнала? — Странно! В предписании не сказано, что вы писатель. Просто говорится: «Учитель Глеб Иванович Успенский»... И в паспорте тоже — «учитель». — Это я и есть, — говорю, — звание мое — учитель, а занятие — литература... — Оба уставились на меня. — «А позвольте узнать, в каких же революционных делах вы замешаны? Не будут же зря давать предписания об обыске и, смотря по результатам его, об аресте?» — Уж этого я не знаю, — говорю: — какой же я революционер? Так искренно я изумился... да и, в самом деле, какой же я революционер? — что жандармы переглянулись, что-то пошептали друг другу, и ротмистр торжественно произнес: «Вы свободны... В Петербурге разберут»... Ну, а в Петербурге меня уж не трогали...

XI.

В Калуге, где служба на железной дороге, по мнению Глеба Ивановича, могла «гарантировать его семье основное пропитание, а ему обеспечить возможность писать не из-под палки», — он прожил около пяти месяцев.

11 сентября 1875 года он писал Н. К. Михайловскому: «Сижу в должности». 1 же февраля следующего года: «Места у меня больше нет». Бросить службу заставили его не денежные расчеты или нелады с начальством, — обычные причины, играющие роль в жизни простых людей. На решение Глеба Ивановича повлияло исключительно особое настроение, вызванное знакомством с железно-дорожными порядками, а также — с «благодетелями», от кого он получил место, вообразившими, что их служба имеет государственное значение и они вправе третировать других людей, в особенности симпатичную ему молодежь, предпочитавшую в то время всякой службе «хождение в народ».

В произведениях Успенского нет статей, специально посвященных порядкам Ряжско-Вяземской железной дороги. В беллетристике он не был корреспондентом-обличителем, кому нужна точность в изложении фактов и группировка их с целью обвинения известных лиц. Он освещал явления жизни, не рисуя портретов деятелей, и хотя в его очерках и рассказах встречаются иногда фразы: «Моя записная книжка свидетельствует», «Моя записная книжка говорит», — в действительности у него не было таких «книжек», не было никаких записей.

14 марта 1876 года Глеб Иванович писал Н. К. Михайловскому:

«Место в Калуге я должен был бросить, и как ни скверно это в материальном отношении, но решительно не раскаиваюсь: подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле там, в глубине страны? Громадные челюсти концессионеров ничего бы не сделали, ничего бы не проглотили, если бы им не помогали эти острые двугривенные зубы, которые там, в глубине-то России, в глуши, пережевывают не повинного ни в чем обывателя. Я не могу быть в числе этих зубов. Если бы мне было хоть мало-мальски спокойно, я бы, может быть, и не так был чувствителен ко всему этому и, понимая, считал бы себя скотиной, но жалованье получал бы аккуратно. Но при том раздражении, которое временами достигает поистине глубочайшей невыносимости, я не могу не принимать этих скверных впечатлений с особенною чувствительностью. Место надо было бросить: все, там служащие, знают, что они делают разбойничье (будьте в этом уверены), но все знают, чем оправдать свое положение... а вот зачем литератор-то (каждый думает из них) тоже макает свое рыло в эти лужи награбленных денег — это уж не хорошо. «Пишет одно, а делает другое». Вот почему нужно было бросить их в ту самую минуту, как только стала понятна вся подлецкая механика их дела».

Впоследствии, при встрече со мной, Глеб Иванович самыми мрачными красками рисовал и порядки железной дороги, и поведение интеллигенции, «за два двугривенных осуществляющей разбойничьи проекты», и, между прочим, сказал:

— Прочитайте мой рассказ «Неплательщики»: там я изобразил порядки этой подлецкой дороги и дал хо-ро-шу-ю затрещину моим «благодетелям».

По его письму к Михайловскому и по тому, что он говорил мне о своих впечатлениях за период службы на железной дороге, можно ожидать, что в рассказе «Неплательщики» он, действительно, не пожалел красок, чтобы обрисовать все безобразия дороги и «острые двугривенные зубы благодетелей». На самом деле, рассказ не имеет даже отдаленного отношения к железной дороге, и только отдельные штрихи в нем позволяют догадываться, что Глеб Иванович коснулся того «пустого места», где «с великим трудом пробыл около пяти месяцев».

Для характеристики творчества Успенского, как художника, стоит привести некоторые места рассказа, тем более, что на основании их можно судить об его общественных склонностях и симпатиях.

Вот описание порядков конторы движения якобы «Кавказско-погибельной железной дороги» («Неплательщики»,—«Отечественные Записки», апрель 1876 года):

«У под'езда сидели, кто на ступеньках, кто на тротуарной тумбе, несколько человек, и стояли два — три извозчика... Все это были местные коренные жители, знали всю подноготную (каждого), а, главное, — знали, кто сколько получает — до тонкости. Не успел один заявить, что М. получает девятьсот рублей, как другой прибавил:

— Велики ли это деньги... У них ведь сколько охотников на эти деньги-то... Их нешто мало!..

— Рожали не в свою голову — известное дело!

— Ну, то-то и есть! — как бы обидевшись чем-то, заявил человек, начавший говорить о деньгах.

— Фамилия была большая... Много их было фамилиев-то таких... Нонче все больше пошло так, что дом под железную отдадут, а сами — на железную служить...

Посмеялись этой остроте.

— Она, матушка (т.-е. железная дорога), много ихнего брата кормит. Иной так бы и сгинул с голоду, — ан, глядишь, побалует что-нибудь в конторе, — сто рубликов и есть...

— Нашему брату от этого баловства-то только достается... Я вон почесть год дожидаюсь арбузов... Неизвестно где...

— Да, вот извольте почитать эту штучку... — вдруг, оживившись и весь вспыхнув, заговорил один из разговаривающих. Очевидно, его задело за живое. Он выхватил бумагу и подал мне. В ней было сказано:

«На предписание ваше от 15 сего июля, чтобы получить мне по накладной мороженого судака, погруженного в Астрахани ноября прошлого 187* года, то позвольте вам заметить, которая рыба имеет полную свою протухливость, и тое рыбы я принять несогласен. А что взыскиваете вы за провоз онные рыбы по всем дорогам, и даже загнали вагон в Прусскую землю, и там онную рыбу таскали неведомо по каким местам, покуда в полную ее скверность не превратили, то двух тысяч шести сот рублей семи гривен за этакое безобразие платить я несогласен, в том смысле, что и онная рыба сама того не стоит, и тогда штуку придется продавать по восьми рублей

судак, окроме потехи в эфтом не будет ничего, а за порчу взыщет начальство. Посему имею я донести об оной рыбы господину министру, об неудовлетворении меня в мерзлом судаке».

— Ей-богу, вот перед создателем — дойду до министра... — повторял, задыхаясь, товароотправитель, покуда я читал эту бумагу. И едва я кончал одну, как тотчас являлась другая, в которой тоже вопияли против какой-то ни с чем не сообразной ошибки господ служащих... Мне грозило неожиданно превратиться в судью таких дел, которые были мне совершенно неизвестны. Несмотря на то, что люди эти видели, что я — человек, совершенно посторонний и имею свое, не касающееся их, дело; несмотря на то, что я почти не отвечал им, потому что не знал, в чем дело, — они один перед другим старались излить передо мной все обиды, причиненные им железной дорогой. Я даже думаю, что именно совершенно постороннее железной дороге лицо и было то лицо, которое могло понять их и сочувствовать им по человечеству, тогда как всякий специалист железнодорожного дела, именно вследствие своей специальности, непременно будет понимать не по человечеству, т.-е. взыскивать за рыбу, которую надо выкинуть в помойную яму, налагать штраф за собственную свою ошибку и т. д. Ничего не понимая, я продолжал молча слушать эти излияния, когда на под'езде вдруг появилась какая-то фигура. Излияния замолкли... Просители сняли шапки. Фигура оглянула их, оглянулась на извозчика, который тотчас зашевелил вожжами, и произнесла:

— Опять вы... я говорил, что нельзя.

Сразу все просители возопили о судаках, об арбузах и т. п. Фигура надевала перчатки и говорила:

— Нельзя, господа, нельзя... я говорил вам — нельзя...

Вопли усилились, и голоса вопющих поднялись на два тона выше.

— Нельзя, нельзя и нельзя, — спускаясь с трех ступенек, три раза произнесла фигура. Занося ногу в пролетку, она еще раз сказала: — Нельзя-с.

Затем, уложив портфель на коленях, прибавила:

— Невозможно-с [1]).

— Ну, вот и поди!..

Я чувствовал вместе с этими людьми какую-то физическую усталость от этого «нельзя». Точно все мускулы размякли у меня и нервы упали: так это «нельзя» было неминуемо и непреклонно... Вялость какая-то, вместо кажущегося негодования, напала на всех, и уезжавшая на извозчике фигура казалась окруженною какою-то невидимою, но ничем не преоборимою атмосферою. Просители, еще недавно горячившиеся, как осенние мухи, разбрелись в разные стороны».

---

[1]) В описании «фигуры» сказалась наблюдательность и впечатлительность Глеба Ивановича. Достаточно этих штрихов, чтобы в «фигуре» узнать начальника движения Ряжско-Вяземской железной дороги, А. М. Верховского. И он узнал себя.

— Такой благодарности я не ожидал от Успенского, — говорил мне Верховский, пожимая плечами.

Характеристика «интеллигенции», от кого зависели эти порядки на железной дороге, дана в отрывке общих соображений об «интеллигентных неплательщиках».

«Обремененные жалованьем, — говорится о них, — они заседают вокруг пустого места. Изо дня в день, из года в год тянется их унылая, пустая, скучная и пестрая жизнь... В атмосфере «не настоящего», «не заправского» нет минуты веселья, нет здоровья, нет дела, нет сознания простого покоя... Всякого что-то точит, вертит в душе, особливо, когда этот всякий остался один сам с собой и улучил минутку, когда может если не лгать прямо, то хоть не вывихивать себя, — что почти составляет всеобщую привычку... Лучшее, задушевнейшее желание большинства их — уйти друг от друга, и, несмотря на это, завтра, напившись утром чаю, все желающее разбежаться вновь сцепляется в тесный хоровод вокруг пустого места и вновь продолжает почти бесплодную толчею, вырабатывая, или, вернее, «вылыгая» себе хлеб»...

Понятно, что такие «интеллигентные неплательщики» могут лишь крайне недружелюбно относиться к людям, не желающим следовать их примеру, т.-е. — тратить свою жизнь н е в з а п р а в д у, уставать от хлопот вокруг пустого места.

Для оценки их отношений к таким людям Глеб Иванович вводит в соприкосновение с ними «пропагандиста» 70-х годов.

«Они все не верят, — говорит он, — думают, что это (пропаганда) только так, одна либеральная праздность, нежелание делать какое-нибудь простое, но серьезное дело... Они думают, что так вот, болтаясь, да разговаривая разные разности, я просто-напросто живу, ничего не делая, на чужой счет — и все... И знаете, ведь так думают очень добрые люди... «Врешь, каналья», — и все тут... Или так еще: «Нахватался верхушек, прочел книжонку — и задрал нос... ну и, натурально, пошли эти разные идолослужения и все такое»... Главное, допекают нашего брата деньгами; а деньги откуда ты берешь? «Попробовал бы ты, говорят, зарабатывать так, как я... повозился бы ты с этой канителью, да тогда бы и разговаривал». Что отвечать на это, кроме того, что н е м о г у я так, как вы, зарабатывать, что н е м о г у жить так, как вы, потому просто, что нет у меня таких забот, таких огорчений, ради которых я бы так испугался жизни, что взял бы да подал прошение на железную дорогу. Мне ничего не нужно. Но именно этому-то и не верят... Еще вот как иные называют: «новомодное дармоедство», а о д и н д е л о п р о и з в о д и т е л ь п о к о м м е р ч е с к о й ч а с т и н а ж е л е з н о й д о р о г е, г д е н е т н и к а к о й к о м м е р ц и и, так тот вот как ощетинился: «Вы,— говорит, — все равно, что странники прежнего времени: придет, напустит на всех туману, получит даяние — и марш; а тут сиди да отрабатывай своим хребтом»... Очень все это натурально... Я только хочу сказать, что я именно и могу только вот, как делопроизводитель сказал, туман пускать... Если бы я мог не пускать его, я бы, разумеется, где-нибудь на железной дороге очень обстоятельно доказывал отправителю, что, облив его рожь керосином, я доставил ему только удовольствие и что не только мне за это платить ему не приходится, но, напротив, еще он обязан мне внести уйму рублей.

В том-то и горе, а может, и счастье, что не могу. Уж крепко сидит во мне эта жажда туман распускать. А-то бы почему окладами не побаловаться — самое любезное дело».

К числу причин, заставивших Глеба Ивановича бросить должность на железной дороге, надо отнести еще попытки его товарищей по службе эксплоатировать его литературный талант в свою пользу. О порядках «конторы движения», где устроили его, они умалчивали, зато охотно знакомили с неурядицами других служб дороги: управления, ремонта пути и пр.

— Вот бы вам изобразить своим пером, что там творится, — внушали ему. — Знаете, — пояснил Глеб Иванович, — как у Благовещенского в рассказе «Богомольцы» один странник определяет, что такое дьячок? Это, — говорит, — дудка, через которую проходит глас божий... Вот и меня они хотели обратить в свою дудку... И как старательно вдували всякую дрянь, не замечая, что я не могу петь с чужого голоса...

XII.

Действительно, несмотря на мягкость натуры, даже на кажущуюся слабохарактерность, Глеб Иванович всегда был самостоятелен в выборе тем и в своем отношении к тому или другому предмету. Навязывание, внушение ему мысли возмущало его до глубины души.

Летом в 1880 году в Петербург приехал один земец и, остановившись в «Европейской Гостинице», в определенный день пригласил к себе Успенского, художника П. П. Забелло и меня. После продолжительной беседы он вздумал угостить нас обедом в загородном ресторане «Ливадия».

Забелло отправился с ним на извозчике, а Глеб Иванович, из предосторожности, как бы не вывалиться из пролетки, поехал со мной на империал-конке.

— Наслушаемся мы всяких жалоб, — говорил он дорогой, — узнаем, как противодействует либеральным начинаниям администрация; как «правые» ухитряются организовать выборы по своему вкусу... не услышим только рассказов о смелых, решительных поступках господ либералов...

За обедом земец много говорил о корыстолюбивых планах «правых», особенно подчеркивая деятельность предводителя дворянства, выступившего, между прочим, с проектом: «для здоровья заводских и фабричных рабочих отпускать их на летние месяцы в деревню», — имея в виду, что таким образом они будут поставлены в необходимость наниматься на работы в дворянские экономии.

Он говорил интересно, живо, но слишком часто, обращаясь к Успенскому, предлагал ему:

— Воспользуйтесь этим материалом... Или: — Приезжайте к нам на земское собрание: вы увидите наших квазимод в действии и потом изобразите их яркими красками...

Глеб Иванович безостановочно курил и нервно пощипывал свою бородку.

После одного предложения земца он с досадой произнес:

— А сами-то вы что же не размахнетесь? Занялись бы своими «арапами» в газете или журнале.

— У меня так не выйдет, как у вас, — последовал скромный ответ.

От внимания земца ускользало, что, чем больше он приводит фактов с намерением, чтобы Успенский воспользовался ими для посрамления «правых» в своих очерках, тем сильнее растет его протест против этого «насвистывания скворца».

Раз Глеб Иванович вышел со мной в коридор и, волнуясь, сказал:

— Ли-бе-ра-лиш-ка!.. Его я продернул бы с удовольствием: не виляй хвостом... А то дались ему «арапы».

Когда мы вернулись в кабинет, земец точно нарочно воскрикнул:

— Еще, Глеб Иванович, случай. Он прямо просится под ваше перо.

— Сейчас, сейчас, — заторопился Успенский. — Папиросы забыл в буфете, — и потащил меня за собой.

— Знаете, что? — сказал он, посмотрев на дверь кабинета. — Мне противен его обед... не спроста затеян: он надеялся настроить меня, как балалайку. Я хотел бы сегодня же расквитаться с ним: поедем к Борелю и угостим его шампанским.

Я согласился.

Было уже поздно, когда лакей подал земцу счет.

— Как бы мне еще повидаться с вами, — сказал земец, обращаясь ко всем.

— А на сегодня разве довольно? — спросил Глеб Иванович. — Уж извините-с, у нас так не водится... Едем к Борелю... Вы угощали нас обедом, теперь мы с А. И. предложим вам нечто.

— Слишком поздно, Глеб Иванович. В другой раз...

— Дождешься с вами другого раза... Нет, уж, сударь, не отказывайтесь... не побрезгуйте провести с нами часок.

Земец отговаривался на разные лады. Все-таки уступил, наконец.

Спускаясь с лестницы ресторана, Глеб Иванович шепнул мне:

— Хорошо бы взять ландо, чтобы ехать вместе: боюсь, сбежит дорогой...

Ландо не нашлось. Поехали на извозчиках: земец с Забелло впереди, мы сзади.

При спуске с Троицкого моста, предусмотрительность Глеба Ивановича оправдалась: извозчик земца повернул налево, а не направо.

— Видите, — сказал Успенский. — Голубчик, догони их, — обратился он к извозчику.

Когда мы поравнялись с ними, Глеб Иванович воскликнул:

— Господа! Разве так по-суседски?.. Уговорились к Борелю, а вы наутек.

— Да поздно, Глеб Иванович! Мне завтра надо рано вставать, — оправдывался земец.

— Успеете выспаться... В кои веки столкнулись — надо же проститься по-хорошему... Мы ведь не «арапы»...

Дальше не было остановок. Когда мы под'ехали к Борелю, я хотел расплатиться с извозчиком, но Глеб Иванович опередил меня, сунув ему

вместо одного рубля по уговору три. Зная постоянные нехватки в его бюджете, я невольно воскликнул:

— Зачем столько?!

— Ведь он старался, — просто ответил Глеб Иванович и направился в ресторан.

Там мы заняли отдельный кабинет. Успенский скрылся на минуту и вернулся довольный.

— Что вы замышляете? — спросил земец.

— Ничего неудобоваримого... даже рассказов об «арапах» не будет! — с улыбкой ответил Глеб Иванович.

На двух подносах лакеи внесли две бутылки шампанского, фрукты и тарелку поджаренного миндаля. Когда они налили стаканы, Глеб Иванович, указывая на дверь, сказал им улыбаясь:

— А выпьем мы уже без вас!

Лакеи скрылись. Глеб Иванович сделал пригласительный жест рукой:

— Пожалуйте... Сначала рекомендую с'есть две-три миндалинки!

— Угощение с хитрецой, — заметил земец, но все-таки взял одну миндалинку. — А за что прикажете выпить?

— За победу и одоление «арапов»...

— При вашем участии?

— Сами расправитесь в лучшем виде.

— Ну, нет, Глеб Иванович, не отговаривайтесь, — и земец стал настойчиво убеждать Успенского воспользоваться «богатейшим материалом» и непременно приехать на земское собрание.

Глеб Иванович теребил свою бородку и, часто ударяя своим стаканом шампанского об его, повторял:

— Кушайте, кушайте!

Допив первый стакан, земец стал прощаться. Как ни уговаривали мы его остаться, он не согласился и увез с собой Забелло.

Глеб Иванович сидел молча, маленькими глотками пил шампанское и курил...

— Только и знают эти господа, — недовольным тоном произнес он, — убеждать правительство в своей благонадежности и насвистывать нашего брата ругать «правых»... «Мы, мол, тихонько, да легонько будем строить козни, а вы размахнитесь по-хорошему»... Ну уж, больше не угостишь обедом.

Лакей подал счет.

— Шашенька! [1]) А ведь денег-то у меня нет, — сказал Глеб Иванович: — Последнюю трешницу отдал извозчику... Вы расплатитесь... После сочтаемся.

Для меня было ясно, что «насвистывание» земца так удручало Глеба Ивановича, что при желании расквитаться с ним за обед, казавшийся подкупом, он просто не мог думать, окажутся ли у нас деньги для его угощения.

---

[1]) Так часто звал меня Успенский.

XIII.

Как глубоко возмущало Глеба Ивановича внушение ему определенной точки зрения на общественные явления, так противно было и навязывание ему роли «учителя жизни». На просьбу отдельного лица помочь ему разобраться в таком-то вопросе, он отвечал: «При моем участии еще больше запутаетесь: не гожусь я в толковники». Если же молодежь домогалась видеть его в своей среде с намерением получить от него ответ на какие-нибудь общественные вопросы, он всегда решительно уклонялся.

В 1880 году мы были с ним в Москве на «Пушкинском празднике». В «Дворянском собрании», где происходили торжества, я познакомил его с одним симпатичным студентом Петровско-Разумовской академии. Через день этот студент, по уговору с товарищами, решившими устроить сходку с участием «любимого писателя», стал убедительно просить Глеба Ивановича приехать в Петровско-Разумовское.

— Что же мы там будем делать? — спросил Успенский.

— Соберутся все ваши поклонники, — ответил студент. — Мы хотим приветствовать вас и получить от вас раз'яснения на некоторые вопросы, очевидно, по цензурным условиям, только слегка затронутые в ваших произведениях.

— Вы думаете, значит, что при свободе слова, какую вы предоставите мне, я наболтаю больше?

Студент сконфузился.

— Как наболтаете?.. Мы полагаем... убеждены...

— Уверяю вас, что никаких раз'яснений я не могу дать.

— Мы хотели бы получить от вас указания...

— Как жить свято? — перебил Глеб Иванович. — Нашли к кому обратиться... Пожалуйста, поблагодарите своих товарищей за внимание и скажите, что не поеду ни в каком случае.

Вот еще случай, относящийся к 1888 году.

В июле этого года Глеб Иванович приехал в Томск, где я жил в то время и работал в «Сибирской газете» вместе с Феликсом Вадимовичем Волховским, Петром Александровичем Голубевым и Георгием Феликсовичем Здановичем. В день приезда Глеба Ивановича мы были очень заняты составлением номера газеты, целиком посвященного открытию 22 июля первого университета в Сибири. Глеб Иванович заинтересовался подробностями предстоящего торжества и захотел принять участие в нашей работе, предложив написать биографию историка и политического деятеля А. П. Щапова для отдела газеты «Замечательные сибиряки» [1]).

За время коллективного обсуждения вместе с Глебом Ивановичем очередных статей для этого номера и в следующие дни он сошелся с моими

[1]) Очерк напечатан в № 55 «Сибирской газеты» 1888 г. и, к сожалению, не вошел в полное собрание сочинений Гл. Успенского.

товарищами. Последовательность его симпатий к ним оказалась в его письме ко мне из Омска от 30 июля, где он писал: «Поцелуйте первого — Здановича. Я его люблю, и Петра Александровича люблю. Подлюбливаю и Волховского, Феликса Вадимовича, и если не вполне, то потому, что он хочет жениться, — я против брака. Впрочем, не мое дело».

Кроме нас, сотрудников «Сибирской газеты», в Томске были еще ссыльные, и, между прочим, целая колония их жила на даче в деревне Басандайке. Глебу Ивановичу хотелось видеть всех «изгнанников», и он собирался непременно заглянуть в Басандайку, прозванную им «Бахчисараем». Но вышло так, что в приглашении одного из ссыльных С. П. Ш. приехать туда он заподозрил коварный умысел: видеть его в колонии не простым гостем, а писателем, склонным осветить какие-то вопросы спорного характера.

Вот что по этому поводу он писал мне из Омска 30 июля:

«...Я рад, что видел вас, Ольгу [1]), Здановича, Петра Александровича, Волховского, но я не рад, что привез себя к вам в таком гнусном виде. Скучней вам, милый Александр Иванович, стало от моего визита, не ободрил я вас ничем, ничем — вот что мне горько. Я приехал совершенно в мочальном виде. Что делать! Надо бы мне пожить у вас подольше, и я бы поправился, и мысли бы мои посвежели. Мне и теперь в сто раз лучше, чем тогда, когда я приехал, и теперь я благодарю вас до глубины души, говорю вам от чистого сердца: спасибо вам! Слава богу, что вы живы и такие славные люди. Я ужасно жалею, что не был в Бахчисарае. Я должен был там быть, а главное — сам х о т е л душевно. Довольно я нажился в пустопорожнем обществе, мне нужно ваше и ихнее. Но Ш. как-то так глупо перековеркал мое положение относительно их, что оказалось невозможным поехать просто, так как мы ездили к этим братьям-охотникам [2]). Нельзя было п р о с т о поехать потому, что Ш. так сделал, что, неизвестно почему, стал приходить ко мне, точно к попу звать к родильнице. Родильница помирает, а поп не идет.

— Так мне м о ж н о уехать в Барнаул? Жена больна.

Вот с какими речами он ко мне приходил. Выходило так, что если я не поеду в Бахчисарай, то у него жена умрет, и вообще я его задерживаю. Он в чем-то там о б е щ а л с я, и не то я, не то они его «не пущают» ехать из-за меня, пока не п р и в е з е т. Вот ведь какое недомыслие! Зачем меня привозить «силом», когда я сам хочу их повидать и быть у них? Вероятно, он им обещал, что я буду давать какие-то ответы, как Иоанн Кронштадтский; они будут спрашивать, а я прорицать. Вот от этого-то я и не поехал, так как просто хотел повидаться с людьми хорошими, а к допросу итти не пожелал.

— Извозчик готов сейчас...

Чисто, как к попу.

— Батюшка! Помирает, родит!..

---

[1]) Ольга Николаевна Фигнер.

[2]) К издателю «Сибирской газеты» Н. А. Толкачеву и его брату П. А.

Ш. очень добрый парень, но самовольно произвел меня в неподобающий чин: учителя и казателя путей — раз; а другое: обещал этого попа привезти: «Привезу!». Я ужасно жалею, просто скорблю, скорблю душевно. Вот дуралеюшка какой! Сделал то, что я не видал самого для меня важного. Даже упорство «не ехать» возбудил во мне болванушко!..».

XIV.

Глеб Иванович вообще не любил публичных выступлений не только в роли «прорицателя», даже чтеца своих произведений.

Уклонение от этих функций, приятных для многих литераторов, обусловливалось его изумительной скромностью, заставлявшей его ценить себя ниже достоинств, и полным отсутствием авторского самолюбия. Я не слыхал от Глеба Ивановича, чтобы он когда-нибудь был доволен хотя бы одной из своих статей. Если он передавал, всегда занимательно и остроумно, о чем хочет написать в ближайшей книжке «Отечественных Записок», то, при появлении обещанного очерка или рассказа, приходилось слышать:

— Ведь не вышло того, что хотел: дрянь получилась, не читайте!

Про свою литературную деятельность он говорил:

— Ну, что я? Пишу ради лавочки.

17 апреля 1885 года я получил от Глеба Ивановича письмо, где он жаловался: «...Так ужасно тяжело жить, такая беда бесконечная тяготит надо мною всю жизнь, что едва-едва с страшным трудом и усилиями способен только строчить кое-что для хлеба. Искренности во мне давно, давно нет. Только нужда, и я уже ни о чем, ни о каких планах не мечтаю. Лишь бы что-нибудь, как-нибудь написать и потом думать о следующей работе».

При нашем свидании в Томске, я передал Глебу Ивановичу, что в 1886 году мне пришло в голову переделать в драму его рассказ «Неизлечимый» и самому исполнять роль «дьякона» на сцене, когда минусинские ссыльные затеяли поставить спектакль.

— Из моего рассказа вы сделали драму? — изумился Глеб Иванович. — Как же это удалось вам?

— В драме мне принадлежит только распределение действующих лиц для составления явлений и действий и несколько необходимых вставок. Остальное — все ваше. Хотите, я прочту вам одно явление?

— Очень любопытно!

Я взял сцену, где действующими лицами являются поп с женой, дьякон и двое «практических гостей».

За чайным столом «практические гости» смакуют мошеннические проделки своих соседей, возбуждая восторг «батюшки», и затем приводят его в глубокое изумление рассказом о том, что сельская учительница Абрикосова «ради мужиков» бросила богатых родителей, имеющих каменный дом, лавки.

— Видите, что у вас вышло! — сказал Глеб Иванович, когда я кончил чтение. — Разве мой рассказ производит такое впечатление?

— Да ведь все эти реплики взяты у вас...

— Да, взяты, а сопоставлены иначе... На это-то меня и не хватило.

Так отозвался Глеб Иванович об одном из лучших своих рассказов.

Насколько он не сознавал значения своих произведений, обнаружил случай в Москве, когда Глеб Иванович был на «Пушкинском празднике».

Одна просвещенная дама из высшего круга, высоко ценившая его, как писателя и человека, захотела видеть его в ограниченном кругу знакомых, где Успенский чувствовал себя свободнее, чем в большом обществе. Для этого она затеяла обед в «Эрмитаже» и пригласила на него Глеба Ивановича, Ек. Ст. Некрасову и меня.

Во время обеда, когда Глеб Иванович рассказывал, как на думском фестивале И. С. Тургенев отнесся к тосту М. Н. Каткова, в наш кабинет вошел лакей с подносом в руках, позванивая бокалами шампанского, и направился к Глебу Ивановичу.

— В соседнем кабинете, — сказал он, — кушают господа профессора, Они желают выпить за ваше здоровье и просят вас чокнуться с их стаканами.

Успенский с недоумением оглядел нашу компанию и, улыбнувшись, сказал:

— Позовем их сюда.

Мы согласились. Лакей поставил поднос на наш стол и пошел передать приглашение.

— Несомненно, это — выдумка вашего Гольцева! — сказал Глеб Иванович Е. С. Некрасовой.

Действительно, к нам вошло пять — шесть молодых профессоров под предводительством В .А. Гольцева.

Они разобрали бокалы, и Н. А. Зверев, обратившись к Глебу Ивановичу, произнес блестящую речь.

Он говорил о значении сочинений Успенского вообще и в частности для молодежи, подготовляющейся к юридической практике. Глеб Иванович дает богатейший материал для знакомства с условиями жизни народа, с его миросозерцанием, психологией; он помогает разобраться в разных сторонах его быта, сложившегося под действием обычая, а не закона, и в его неодинаковых отношениях к людям, стоящим на разных ступенях общественной лестницы... Все это очень важно для юриста, выступающего в роли судьи, прокурора или защитника.

Если наш суд отличается гуманностью, то в ряде причин, влиявших на развитие его в этом направлении, видную роль необходимо отвести сочинениям Г. И. Успенского.

Речь профессора была лишена всяких иллюстраций, какие могли бы свидетельствовать о действительном знакомстве его с произведениями Успенского, зато выливалась в такую изящно красивую форму, что вполне овладевала вниманием слушателей.

Глеб Иванович стоял с бокалом в одной руке, а другой все быстрее и быстрее крутил свою бородку, внимательно следя за воплощением ораторского искусства в один период за другим. По его выражению можно было

заключить, что все похвалы, расточаемые профессором, как будто не относятся к нему; он воспринимает его речь, как любопытную импровизацию на тему, не имеющую ни малейшей связи с его литературной деятельностью.

Оратор кончил приветствие глубокой благодарностью гуманнейшему учителю и пожеланием ему здоровья и сил для дальнейшей работы.

Воцарилось молчание в ожидании, что скажет Глеб Иванович:

Он протянул свой бокал Н. А. Звереву и тоном похвалы произнес:

— Очень хорошо! Прекрасно! Превосходно, — и, обернувшись к нам, прибавил: — Каково в Москве-то говорят...

Все невольно расхохотались.

При таком отношении Глеба Ивановича к самому себе, легко представить в какое смущение он пришел, когда по случаю 25-летия его литературной деятельности, в 1886 году «Общество любителей российской словесности» избрало его своим почетным членом, а тысячи лиц «разного звания и общественного положения» засыпали его сочувственными письмами и телеграммами... Прошло два с половиною месяца, прежде чем Глеб Иванович мог разобраться в «многосложности пережитых им за это время впечатлений» и поблагодарить «Общество» «за нежданное к нему внимание».

В «Письме Г. И. Успенского в Общество любителей российской словесности», напечатанном в феврале 1887 года в журнале «Русская Мысль», он говорил:

«Высокая честь, которой удостоило меня почтенное общество, была для меня неожиданна, велика и во всех отношениях многозначительна... Я очень хорошо знаю и вполне умеренно оцениваю как размеры моих литературных способностей, так и тот круг наблюдений, который доступен был мне по моему развитию и общественному положению. И то, и другое ни в каком случае не может итти в каком бы то ни было сравнении с размерами талантов, кругозора и задач тех светил русской литературы, имена и труды которых всегда по достоинству оценивались московским Обществом любителей российской словесности.

«Вот почему я искренне рад видеть, что почтенное Общество, присоединяя мое имя к числу других имен своих почетных членов, не желало, хотя бы даже только в формальном отношении, воздавать мне чести не подобающей, и, ставя меня в ряды таких талантов и дарований, среди которых мне, по совести, быть не место, — делало это из побуждений несравненно более умеренного свойства и незатруднительных для моего понимания».

«Незатруднительным для понимания» Глеба Ивановича оказалось лишь признание его заслуг группой рабочих. Они писали ему:

«Мы, рабочие, грамотные и неграмотные, читали и слушали ваши книжки, в которых вы говорите о нас, простом сером народе. Вы о нем говорите с п р а в е д л и в о, так, что мы думаем, кто бы из образованных людей ни прочитал ваши книги, всякий п о д у м а е т о нас, о нашем темном и светлом житье, если только у этого человека доброе сердце».

«Действительно, — говорит Успенский, — желание писать справедливо всегда было во мне, равно как и желание, чтобы образованный человек подумал «о темном и светлом житье простого человека».

«Это, действительно, правда. И если высокоуважаемое Общество любителей российской словесности нашло возможным оказать мне высокую честь, избрав своим почетным членом — именно только за эти простые цели, руководившие мною в моей литературной деятельности, то оно должно само видеть, как глубока, искренна и чистосердечна должна быть ему моя благодарность»...

XV

В начале июня 1880 года Глебу Ивановичу предстояла поездка в Москву, в качестве депутата от «Отечественных Записок», на открытие памятника А. С. Пушкину, 5 июня. Редакция «Отечественных Записок» отпустила ему на расходы 100 рублей и отдельно 50 рублей на приобретение фрака.

— Михаил Евграфович требует, чтобы я обязательно был в сорочьем костюме, — говорил Успенский. — Сроду не вертел хвостом, а тут, в Москве, четыре дня под-ряд будет болтаться у меня хвост... Мне нужнее для Москвы какой-нибудь пиджачишка для домашнего обихода, чем фрак... Впрочем, — вспомнил Глеб Иванович, — мои приятели устроят мне и то и другое

Приятели, кого Успенский имел в виду, были два аптекарских помощника: М. С. Мороз и Чернышев, служившие в аптеке Трофимова на Загородном проспекте. Идейные люди, они содействовали, между прочим, революционному движению 80-х годов устройством надежного склада для номеров газеты «Народная Воля». Крайне добрые и отзывчивые, они так любили Глеба Ивановича, что всегда были готовы оказать ему любую услугу. По словам Успенского, он нигде не чувствовал себя так просто, уютно, как в их обществе, и не испытывал ни малейшего стеснения, если приходилось «перехватить у них малую толику».

— Дают от всего сердца, не то, что какой-нибудь «купон».. Раз зашел к ним попросить десять рублей. — Пока выкушайте, говорит, стакан чаю, а мы сейчас. — Скрылись за перегородку, пошептались, и Чернышев исчез. — «Куда же он?» — спрашиваю. — За деньгами, — ответил Мороз. Оказалось у них не нашлось десяти рублей, и они решили заложить сюртук... Вот какие люди.

Эти молодые друзья Глеба Ивановича пользовались кредитом у портного Дмитриева, жившего на Загородном проспекте, и расположили его отнестись к Успенскому как можно внимательнее и, если понадобится, рассрочить ему уплату денег.

Я сопровождал Глеба Ивановича к этому портному. Когда мы вошли к нему, то по внешности, вероятно, описанной приятелями с большой точностью, портной узнал его.

— Вы г. Успенский? — спросил Дмитриев.

— Он самый, — ответил Глеб Иванович и протянул ему руку. — Видите, г. Дмитриев, мне нужно сшить сорочий костюм... по-вашему, фрак, и пиджачную пару. Фрак не из блистательных — нужен всего на четыре дня. Ну, а пиджак понадежнее — каждый день носить. За фрак я заплачу вам, а за пиджак... нельзя ли подождать?

— С удовольствием, — ответил портной. — И за фрак можете не пла- Ведь он вам нужен всего на четыре дня, а потом носить не будете?

— Боже сохрани!

— Так вот как мы уговоримся: верните фрак в сохранности (пятнушки там, какие, это — пустяки!) — уплатите восемь рублей за прокат, по два рубля в день. А износите до полной негодности — уплатите его стоимость... Едва ли будете носить без надобности, уж если зовете «сорочьим костюмом»...

— Превосходно... Может, и шить не надо, найдется готовый?

— Готовый-то найдется... Но вам необходимо сшить новый, по мерке, чтоб не конфузиться среди писателей.

— А вы знаете, что я писатель?

— Еще бы! Как г. Чернышев сказал, что ко мне придет Гл. Ив. Успенский, я сейчас же спросил: не автор ли вы будете рассказа «Будка»... Понравился мне ваш рассказик. Теперича всех городовых зову «Мымрецовыми»... Хотелось бы почитать и другие ваши сочинения, да все времени нет.

— У вас есть мои сочинения?

— В библиотеке можно достать.

— Я подарю вам... Приду примерять фрак и принесу.

— Покорнейше благодарю вас.

— Как великолепно обернулось дело, — сказал Успенский, когда мы вышли на улицу. — Мне ужасно не хотелось брать у Салтыкова 50 рублей на фрак. Теперь я возвращу эти деньги и сам заплачу за прокат... Вообще экипировка меня на счет редакции — сущая нелепость! Я щеголяю четыре дня в чужом фраке, затем везу его обратно, а дальше что прикажете делать? Вернуть Михаилу Евграфовичу на память или продать его татарину и вырученную сумму представить в редакцию?.. Спасибо Дмитриеву: сразу избавил от всяких неловкостей!

Щепетильность Глеба Ивановича сказалась и дальше, когда всем депутатам от литературы, от ученых и просветительных обществ были предложены разные льготы для поездки в Москву и пребывания там. Так, министерство путей сообщения предоставило им даровой проезд в Москву и обратно; московская дума приготовила помещение в лучших гостиницах и лошадей для раз'ездов и все содержание их за время «пушкинских дней» приняла на счет города.

В «депутатском вагоне» Глеб Иванович не поехал, потому что: — в III классе, среди простого люда, куда интереснее, и благодарить министерство не придется...

В Москве он поселился в гостинице «Париж» на Тверской улице. Когда он узнал, что за номер и за содержание его будет платить городская управа,

то заявил администрации гостиницы, чтобы она не представляла его счетов в управу: за все он расплатится сам.

— Этак с голоду помрешь, — говорил он. — Будешь стесняться, как бы не взять из буфета чего лишнего, дабы не подумали: «Ишь обрадовался даровщинке: сколько наел!».

В Москве Глеб Иванович узнал, что торжество открытия памятника Пушкину начнется приемом депутатов комиссией по устройству памятника под председательством принца Ольденбургского, и предполагается, что депутаты будут произносить приветственные речи.

— Ну, уж извините, на это я не согласен, — заявил Успенский. — Наблюдать, описывать — мое дело, а для речей пусть Михаил Евграфович командирует Г. З. Елисеева. Сейчас пошлю телеграмму.

Елисеев приехал.

В качестве уполномоченного от журнала «Русское Богатство», принадлежавшего в 1880 году литературной артели (Н. Ф. Бажин, П. В. Засодимский, С. Н. Кривенко, Г. И. Успенский), я тоже был в Москве и не разлучался с Глебом Ивановичем.

Прием депутаций происходил в городской думе. Я зашел за Глебом Ивановичем.

— Полюбуйтесь, каков депутат, — воскликнул он, одетый во фрак, с chapeau claque под мышкой. — И дурацкое же мое положение будет рядом с Елисеевым. Он пробормочет что-нибудь от «Отечественных Записок»; может, закатит даже целую речь (недаром был профессором), а я?.. поклон — да и вон!

И Глеб Иванович чувствовал себя, действительно, крайне неловко, когда вместе с Григорием Захаровичем представлялся комиссии. Неприятное ощущение осложнялось еще тем, что из-за chapeau claque он не мог разредить его обычным приемом — покручиванием своей бородки.

Когда Елисеев кончил приветствие, Глеб Иванович захотел как-нибудь об'яснить свое пребывание рядом с ним:

— А я — его товарищ, — сказал он, указывая на него шляпой, и с поклоном отошел от стола.

XVI.

На четвертый день «Пушкинского праздника» мы обедали с Глеб Ивановичем в «Новотроицком трактире». Я сказал ему, что с этим трактиром у меня связано два воспоминания, приуроченных к одному и тому же дню: об освобождении меня из немецкого плена в пансионе Шмоль, куда я был отдан матерью, и о знакомстве с цыганами... Немец часто сек нас розгами, хранившимися в соляном растворе, и мы приходили в ужас, когда он приказывал итти в столовую, где происходила экзекуция. За короткий промежуток времени мне предстояло вторично подвергнуться жестокому наказанию. Я со страхом стоял уже у входа в столовую, как вдруг распахнулась дверь перед-

ней, и передо мной предстал мой отец. Инстинктивно я бросился к нему с жалобой: «Папа, меня сечь хотят»... Он пришел в сильнейшее негодование и потребовал к себе немца.

— Разве затем отдали вам моего сына, чтобы вы драли его! — сердито сказал он Шмолю. — Больше я не оставлю его в вашем пансионе... Прошу немедленно собрать его вещи.

Пока укладывали в чемодан мое имущество, отец ходил со мной по залу, положив свою могучую руку на мое плечо. Лицо его было красно, и, как мне казалось, сквозь его любимые духи от него пахло вином... Прислуга принесла чемодан. Мы оделись и вышли. У под'езда стояла коляска отца, запряженная парой серых лошадей. Когда мы сели в экипаж, отец приказал кучеру: — в Новотроицкий трактир... — Ты еще ведь не обедал, — добавил он, обратившись ко мне.

Судя по тем почтительным поклонам, какими половые встречали нас, отец был в трактире желанным гостем. Он занял отдельный кабинет и велел подать мне обеденную карту. — Возьми себе любой обед, какой захочешь, — сказал он, — а я пойду... скоро вернусь. — Я заказал обед из пяти блюд и, в ожидании его, стал ходить по обширному кабинету и рассматривать картины, развешенные по стенам... Вскоре половой пригласил меня «кушать»... Насыщение тянулось довольно долго, благодаря длинным промежуткам между блюдами, а отца все не было. Наконец, когда я доедал пирожное, обе половинки двери с шумом растворились, и вошел отец в сопровождении хора цыган, в характерных костюмах. Он шел прямо ко мне, положив руку на шею красивой цыганки в голубом шелковом платье, и как будто не замечал меня. Но вот, цыганка что-то шепнула ему, он остановился, снял руку с ее шеи и сказал половому, указав на меня: — Проводи его к экипажу... Вели кучеру отвезти его домой...

Таковы мои первые впечатления после немецких розог, связанные с этим трактиром, — закончил я свой рассказ. — И, представьте, с тех пор я не видал больше цыганских хоров и не слышал пения цыганок, хотя знаю, что увлечение ими иногда уносит целые состояния: значит, в них есть что-то непреоборимое...

После некоторого раздумья Глеб Иванович со вздохом сказал:

— А мне понятно это увлечение... Ведь я сам чуть-чуть не женился на цыганке.

— Вы?

— Да. Давно это было. Жил я в то время в Москве, частенько ездил с приятелями в Петровский парк и заглядывал в трактир «Яр», где поют цыгане. Хоровое пение их мне не нравилось, но среди женщин встречались солистки, исполнявшие с неподражаемой выразительностью разные романсы. В хоре была цыганка Стеша. Красивая, скромная девушка, она отличалась особым даром оживотворять пением некрасовские стихи. Под влиянием ее пения, некоторые стихотворения Некрасова производили на меня более сильное впечатление, чем раньше... Я познакомился с нею, несколько раз гулял в парке и... не замедлил сделать ей предложение выйти за меня замуж...

Она согласилась на условии, если разрешат ее родители. Им она сказала, что я — писатель, зарабатываю хорошие деньги и могу содействовать устройству ее концертов... Родители дали согласие на брак, но потребовали, чтобы обручение происходило, по обычаю, в их доме публично. Надо было купить золотые кольца, позаботиться о костюме, — вообще, это увлечение загнало меня в порядочные долги... Все было готово, и вечером в назначенный день я отправился в Ямскую слободу... В передней квартиры моего будущего тестя была такая густая толпа, что, протискиваясь вперед, я уронил шляпу и не мог поднять ее... В следующей комнате, за длинным столом, сидела масса старых цыган, один страшнее другого, все галдели по-своему что-то несуразное. Меня охватил такой ужас, что, воспользовавшись теснотой, я незаметно скрылся в толпе и выскочил на улицу, не замечая, что я — без шляпы... К счастью, на Тверской подвернулся магазин, где я мог купить фуражку и уже на извозчике продолжать бегство... В тот же день я удрал из Москвы.

— И больше не заглядывали в «Яр», не видали Стеши? — спросил я.

— Стеша вскоре после моего бегства вышла замуж за московского купца... Напуганный неудачным сватовством, я боялся «Яра» больше пяти лет... Потом бывал с Михаилом Алексеевичем Саблиным и другими любителями цыганского пения из «Русских Ведомостей»... Хотите — прокатимся? Если найдется цыганка, умеющая петь некрасовские стихи, — получим большое удовольствие.

— Ведь это дорого стоит?

— Каждая песня десять рублей. Вы заплатите за одну, я — за другую... Надо еще угостить чем-нибудь певицу и гитаристов... Едем?

Я согласился.

Когда мы приехали в «Яр» и узнали, что в хоре есть цыганка, исполняющая некрасовские романсы, мы заняли отдельный кабинет и пригласили к себе певицу с акомпаниатором.

Вошла довольно миловидная цыганка в красном платье, с массой украшений на голове, на шее и на руках; за нею шел высокий цыган, в желтой канаусовой рубашке и плисовой безрукавке, с гитарой в руках.

— Вы не торопитесь? — спросил Глеб Иванович цыгана.

— Никак нет-с, можем пробыть, сколько угодно, — ответил он.

— Садитесь, пожалуйста! Не желаете ли чего?

— Разве рейнвейн и грушу? — как бы нехотя проговорила цыганка.

— А мне позвольте российского очищенного! — пробасил ее спутник

Угощение было подано. Наливая рейнвейн, Глеб Иванович говорил цыганке:

— Вы можете спеть что-нибудь из Некрасова?.. Что же?.. Из «Размышлений у парадного под'езда»? Очень хорошо.

Цыган выпил две рюмки водки и взялся за гитару.

— «Родная Земля»? — спросил он певицу.

Она кивнула головой в знак согласия, встала и, повернувшись к нам лицом, запела...

У нее был контральто, приятного тембра, и она владела голосом артистически.

Обращение к «родной земле» с просьбой «указать такую обитель, где бы русский мужик не страдал», было передано таким тоном, что получилось впечатление совершенно безнадежной просьбы... Заключительные слова — «Волга! Волга! Весной многоводной ты не так заливаешь поля,,,» были произнесены со слезами в голосе, и глубокой скорбью, чуть не с рыданием прозвучала фраза: «Где народ, там и стон»...

Глеб Иванович сидел на диване, привалившись ко мне, и я чувствовал, как он воспринимает впечатления от изумительной передачи некрасовских стихов: он дрожал.

Подавленные впечатлением, мы оба молчали... Цыганка подошла к столу и залпом допила свою рюмку рейнвейна.

— Хотите еще песню? — спросила она.

— Да, да, непременно!—сказал Глеб Иванович.—Как хорошо вы поете.

Из того же стихотворения Некрасова цыганка взяла часть, начинающуюся словами: «Раз я видел, сюда мужики подошли»...

В ее исполнении были моменты выразительного речитатива, ноты глубокой грусти, насмешливого отношения при упоминании «владельца роскошных палат», полного презрения при обращении к нему и, наконец, безысходная тоска, переданная низкими контральтовыми нотами при последнем выводе: «Но счастливые глухи к добру»...

Глеб Иванович сидел бледный и порывисто дышал. Цыганка пила рейнвейн маленькими глотками и заедала ломтиками груши. Цыган выпил еще рюмку водки и переходил от одной закуски к другой...

Я взялся было за бумажник, чтобы расплатиться с певицей, но Глеб Иванович встал с дивана и глазами пригласил меня выйти из кабинета.

— Вы кушайте, а мы сейчас... — сказал он цыганке.

В коридоре он говорил мне:

— Вы хотите расплатиться. Подождите! Попросим ее еще спеть.

— Будет, Глеб Иванович! Вы слишком волнуетесь, даже побледнели... И удовольствие не из дешевых: уже сейчас стоит тридцать рублей. Я не могу истратить больше пятнадцати...

— Я один заплачу за все!

— Нет, Глеб Иванович, довольно, прошу вас... И меня расстраивает это пение. Расплатимся и уедем.

— Ну, еще только одну песенку!

— Будет, будет.

— Ну, бог вам судья! — сказал Глеб Иванович и с этими словами направился в кабинет.

После взаимных благодарностей цыгане ушли.

— Теперь вы понимаете, почему я чуть-чуть не женился на цыганке? — спросил Успенский, когда мы ехали на извозчике.

Осколки первобытного человечества.

М. Кооген.

I.

«Искание отцовства», стремление разрешить загадку своего происхождения, представить себе своего отдаленного предка—неизменно присуще сколько-нибудь развитой человеческой мысли. Нет ни одного обладающего собственным фольклором народа, который бы не создал или не заимствовал легенд о своем происхождении или о происхождении человечества вообще.

Только со времени обоснования эволюционной теории, связанной с именем великого мыслителя Чарльза Дарвина, вопрос о происхождении и предке человеческого рода приобретает научные очертания и становится предметом специального научного внимания.

Однако до сей поры понятие о первобытном человеке, существовавшем в неизмеримо отдаленные времена, остается довольно туманным. Мы принуждены только допустить, что, достигнув анатомически и, по всей вероятности, физиологически развития уже близкого современному человеку, этот примитивный Homo Sapiens в психическом отношении еще незначительно отличался от своего филогенетического предшественника. И тем не менее, как по своему психическому складу, так и по формам борьбы за существование, первобытный человек должен был представлять собой уже нечто вполне своеобразное.

В последнее время наука о первобытности, или праистория, чрезвычайно развилась и обратилась в самостоятельную и весьма сложную отрасль знания. Основная цель этой еще молодой науки состоит в стремлении реконструировать как ту географическую среду, в которой мог возникнуть новый вид высшего животного, как всю совокупность условий его существования, так и его самого со всем комплексом его хозяйственного бытия, его мышления, представлений и общественных отношений. Наука стремится восстановить весь, и внешний и внутренний, облик этого существа, определить запас материальных средств его борьбы с природой, способы добывания пищи, его быт, его зачаточное миропонимание, формы его половой жизни, его отношение к себе подобным.

С тех пор, как эволюционное учение оказало глубочайшее влияние на ряд естественных и гуманитарных наук, с признанием здесь, в особен-

ности, неот'емлемого значения генетического метода, ответы на все вопросы, связанные с учением о первобытности, имеют капитальную важность для этнологии, социологии, психологии, антропологии, философии истории и политической экономии.

Вопросы первобытности составляют необходимый научный материал и доктрины исторического материализма. Значение этих вопросов было должным образом оценено Марксом и Энгельсом. Недаром, строя свою всеоб'емлющую философию истории, Маркс делает подробные выписки из только что появившегося тогда Моргановского «Первобытного общества» и собирается, — как сообщает Энгельс, — «изложить результаты исследований Моргана в связи с данными своего материалистического исследования истории». И, как бы исполняя завещание Маркса, Энгельс использует записки Маркса и посвящает отдельную работу вопросам о происхождении основных устоев капиталистического общества — семьи, собственности и государства [1]).

Действительно, в конечном счете реконструкция первобытности должна дать те простейшие элементы, из которых в долгом историческом процессе развития образовалась сложная структура современного человеческого общества.

Приходится, однако, сразу сказать, что полное и точное достижение поставленной нашей наукой основной задачи должно навсегда остаться невозможным. Слишком много страниц начальной истории человечества вырвано бесследно. Праистория не только сейчас, но и в будущем не может претендовать на ту полноту и точность, которой может добиваться «настоящая» история.

Не может быть и речи о действительном приближении к исходному пункту развития человечества, или, как выражаются, к нулевой точке человеческой культуры. Здесь возможны лишь более или менее допустимые гипотезы, более или менее удачное приближение к скрытой от нас навсегда загадке нашего прошлого.

II.

С того момента, как научно оформилось самое понятие о первобытности и было поставлено задание реконструировать первобытного человека, наука ищет пути и средства для достижения этой цели. В настоящее время наша наука обладает уже рядом соответствующих методов исследования.

Мы раньше всего, конечно, стремимся получить совершенно непосредственные памятники отдаленнейшего прошлого человеческого рода, неустанно пытаемся извлечь на свет те предметы материальной культуры первобытности, которые скрыты в верхних пластах земной коры. Таковы задачи

---

[1]) Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, перевод Цедербаума под ред. Д. Рязанова. М. 1923 (готовится новое издание Института К. Маркса и Ф. Энгельса). См. предисловие Энгельса к первому изданию этой работы 1884 года.

первобытной археологии. К сожалению, материал, добытый археологией до настоящего времени, при всех успехах этой науки, при всей смелости ее догадок и обобщений, еще скуден и не вполне красноречив. И если, вообще говоря, археологические данные могут дать представление о внешнем быте наших предков, а тем самым могут помочь восстановить основные черты первобытной экономики, то рассказать о многих сторонах начального быта человечества, ответить на большое число вопросов они, — пока во всяком случае, — бессильны [1]).

Нет сомнения к тому же, что самым первым материалом для изготовления орудия и оружия человека было дерево. Человечество начало свою историю с деревянной эпохи. Но деревянная культура не могла оставить свои следы в недрах земли, деревянные орудия не могли сохраниться.

В качестве метода, для восстановления психики первобытного, некоторыми авторами делались попытки использовать данные также еще молодой науки — генетической психологии, оперирующей изучением психики ребенка и высших животных. Но и молодость этой науки и тот внутренний кризис, который до сих пор еще переживает психология вообще, — причина того, что мы не имеем еще убедительного и достоверного материала, который мог бы быть использован надежным образом.

Существуют еще попытки вывести первобытные человеческие общественные формы, в особенности семейные отношения, из явлений, наблюдаемых среди высших и даже низших животных. И этот материал остается пока слишком противоречивым.

Несомненно очень большое значение сохраняет предложенный в свое время Тэйлором метод пережитков, хотя и сильно опороченный новейшей критикой. Эволюция экономики, быта, представлений и социальных форм человека оставляет свои надолго неизгладимые, хотя и часто сильнейшим образом искаженные, отложения, обращающиеся преимущественно в обычаи и обряды. Сопоставить эти пережитки, как они сохранились у разных народов, найти их общее происхождение, восстановить истинное их значение и, так сказать, возвратить их на принадлежащее им в отдаленном прошлом историко-культурное место — значит восстановить прежние реальные формы действительности.

Исключительная произвольность таких сопоставлений и перестановок и крайняя спорность выводов заставляет с большой осторожностью прибегать к этому методу. Во всяком случае, он дает возможность реконструкции, отступающей сравнительно неглубоко в прошлое человечества.

Язык представляет собой также сложное эволюционное образование, всегда сохраняющее следы прошлого. Отсюда метод лингвистический, своего рода языковая археология. Однако и это в известном смысле скользкий путь, в свою очередь также ведущий не очень далеко в прошлое.

---

[1]) Все, что может дать археология для учения о первобытности, систематизировано и использовано в превосходной работе В. Никольского «Очерк первобытной культуры», М. 1924.

Наконец, стремясь восстановить перед своим взором нашего предка со всей его естественной и бытовой средой, наука прибегает к помощи этнографии, описанию ныне существующих на земле диких и так называемых полукультурных народов. И здесь используется метод пережитков. Все эти племена, сколь бы отсталы они ни были, имеют свое всегда уже долгое прошлое, прошли ряд стадий культурного развития, оставивших так или иначе свои следы.

Далее, все современные примитивные, как короче всего, за неимением лучшего термина, называть эту часть современного человечества, народы далеко не одинаковы по своему культурному уровню. Они, напротив того, стоят на самых различных ступенях развития. Непосредственное наблюдение над всей совокупностью условий существования, над бытом, миросозерцанием и социально-экономической структурой примитивных народов убеждает, что мы можем обнаружить здесь картину пестрой изменчивости и смены форм. Этнологическое изучение этого материала дает или, вернее, должно дать возможность установить пути следования эволюции человечества и законы его развития, а тем самым взойти до истоков, до первобытных элементарных форм.

Мы должны исходить здесь, конечно, из тех материально-бытовых условий, в которых живет данная группа, из формы ее хозяйства, ее экономики, на основе каковой слагается и психическое развитие, и примитивные понятия, и мировоззрение, и обще-социальная структура.

Трудность и недостаточная надежность, как мы видим, путей, даваемых перечисленными методами исследования, делают особо заманчивой еще одну частную задачу этнографии и этнологии.

Изучая сохранившиеся посейчас дикие племена, наука стремится решить, какое из них следует признать стоящим на наиболее низкой ступени культурного развития, а следовательно, — по всем научным признакам, — всего ближе к искомому нами образу первобытного родича человечества.

Мы ищем, следовательно, тот живой доступный непосредственному наблюдению и изучению образец, который всего ближе к нулевой точке человеческой культуры. Конечно, условно, — ибо даже самые примитивные имеют уже свою историю, прошли долгий путь не только самостоятельной эволюции, но также и скрещиваний с другими культурами, влияний и заимствований.

Между тем решать поставленный вопрос в пользу того или иного из современных примитивных народов значит одновременно до известной степени решать и ряд кардинальных вопросов первобытности, значит устанавливать признаки, по которым делается такое отнесение к наиболее первобытным. Отсюда немалая затруднительность этой научной задачи и серьезная спорность отдельных попыток ее разрешения.

И все же задача остается слишком заманчивой. Вот почему поиски «самых диких», «самых первобытных» из современных дикарей составляют предмет постоянного внимания этнографии.

III.

Существует ряд народностей, которые считаются наиболее отсталыми или наиболее дикими среди современного человечества и относятся обычно к представителям именно «первобытных» обитателей земли. Таковыми признаются огнеземельцы, австралийцы, бушмены, некоторые карликовые племена Африки, недавно открытые также карликовые народцы Новой Гвинеи и других островов Меланезии и проч.

Обширная и разнородная по своим географическим условиям арена части юго-восточных оконечностей азиатского материка с Малайским архипелагом и Филиппинами также дает в малодоступных горных и лесных дебрях убежище ряду чрезвычайно отсталых, больше или меньше сохранившихся от влияния окружающего более культурного населения, народцев.

Вообще, население этой арены возбуждает глубочайший интерес с точки зрения исторической и этнологической. Здесь одна за другой сменялись в неизмеримо отдаленном прошлом волны миграций народов, здесь несомненно имела место историческая стоянка предков тасманийцев, австралийцев, папуасов, меланезийцев и полинезийцев. Сюда, с другой стороны, спускались новые исторические волны монголов и индусов-арийцев.

Отсюда необычайная пестрота, необычайная смешанность громадного количества различных отдельных маленьких племен и народцев, населяющих эту арену. Классификация их составляет труднейшую и до сих пор неразрешенную задачу этнографии. В соответствии с новейшими научными данными, все туземное население указанной географической области делится на негритосов, веддоидов, протомалайцев, старомалайцев и новомалайцев[1]).

Такой же, если не совершенно особой, этнической пестротой отличается один из наиболее крупных островов Малайского архипелага и в то же время один из самых больших островов земного шара — Суматра.

Омываясь с запада Индийским океаном и с востока внутренними морями Тихого океана — Сиамским заливом и Зондским морем, вытянувшись в юго-восточном направлении, Суматра лежит на самом экваторе, который как бы перерезывает ее пополам. Точные географические границы острова обозначаются как 5°4′ сев. и 6° южной широты и 95°20′ и 106° восточной долготы.

Богатейший по своей тропической природе, таящий в своих недрах золото, нефть и др. ценные ископаемые, Суматра, примерно, с середины XVII века находится во владении голландцев и в настоящее время считается «жемчужиной» голландских колоний, так называемой Нидерландской Индии.

На площади в 434.234 кв. километров Суматра дает, как сказано, население, отличающееся совершенно исключительной этнической пестротой.

---

[1]) Недостатки этой классификации очевидны. Все же, за неимением лучшей возможности ориентироваться в этом этническом хаосе, мы и здесь и ниже придерживаемся этой схемы, предложенной д-ром Р. Гейне-Гельдерн, см. G. Buschan, Illustrierte Völkerkunde, B. II, Erster Teil, St. 1923.

Здесь насчитывается до двадцати различных народностей. Помимо очень небольшого числа голландцев, хозяев острова, и других европейцев, население Суматры распадается прежде всего на две резко отличные как в расовом, так и в культурном отношении группы: древних обитателей острова и позднейших пришельцев.

Последние — малайцы или, точнее, как они уже были названы, новомалайцы — довольно высоко развитый народ земледельцев, ремесленников, и торговцев. Более позднее пришествие их на Суматру достаточно резко бросается в глаза уже по одному тому, что они расселены в прибрежных областях острова и углубляются внутрь только по долинам нижнего течения крупных рек.

Остальное население представляет собой древнейших обитателей острова. Все они живут в сравнительно трудно доступных горных странах и в девственных лесах. Распадаясь на длинный ряд мелких племен, они остаются преимущественно очень изолированными как друг от друга, так и от малайцев. Все они принадлежат по той классификации, которой мы придерживаемся, к протомалайцам и старомалайцам.

Наконец, в девственных тропических лесах южной и средней части острова обитает еще один весьма немногочисленный народец, достаточно явственно отличающийся от остального населения и более других изолированный. Это — племя к у б у. В расовом отношении оно причисляется к наидревнейшим вместе с негритосами, обитателями Индонезии — в е д д о и д а м.

Своеобразный интерес, который кубу с нашей стороны возбуждает и заслуживает, основывается на совершенно исключительно низком уровне развития, на котором находится этот народец.

Не все кубу в настоящее время стоят, однако, на одинаковом культурном уровне. Очень недавно, — именно в течение последних десятилетий, — сравнительно небольшая часть кубу стала переходить к оседлости и подверглась влиянию малайцев. Впрочем, несмотря на предоставляемые им льготы, кубу оседают и окультуриваются с большим трудом. Тем не менее, некоторые кубу довольно сильно малаизировались. Это, если можно так выразиться, «культурные» кубу.

Другой пласт составляют бродячие кубу, стоящие на очень низкой ступени развития, но все же кое-что перенявшие у малайцев, во многих отношениях и самостоятельно перешедшие за грань первобытной дикости.

Наконец, третий слой составляют «настоящие» дикие кубу, совершенно изолированные в девственном лесу, застывшие на исключительно низком культурном уровне, почти совершенно не соприкасающиеся с малайцами, почти не тронутые культурой, поистине чуть ли не подлинные первобытные люди, осколок первобытного человечества.

Первые литературные сведения о кубу стали появляться с 1827 г. преимущественно в голландской прессе, выходящей в Батавии, на острове Яве. Как эти сообщения, так и позднейшие, представляли собой отрывочные и частично недостоверные данные, иногда основанные не на непосредственных наблюдениях, а на рассказах малайцев.

Первые научные наблюдения над кубу произвели только в начале нынешнего столетия почти одновременно и независимо друг от друга чиновник голландской колониальной администрации ван-Донген, затем известный географ и этнолог профессор Лейпцигского университета В. Фольц и, наконец, франкфуртский этнолог д-р Б. Хаген. Последний в сводной работе присоединил к своим личным наблюдениям весь существовавший уже литературный материал, в том числе и отчет Донгена [1]).

Первыми европейцами, видевшими и описавшими подлинных диких кубу, были ван-Донген и Фольц. Особое значение имеют для нас отличающиеся полной об'ективностью, вполне научные наблюдения Донгена. Ему довелось познакомиться в глубине девственного леса, в районе речки Ридан, с небольшой ордой дикарей, о существовании которых до тех пор никто, за исключением нескольких малайцев, входивших с ними в соприкосновение, не имел никакого понятия.

Между прочим, в силу того, что многие местности Суматры остаются еще неисследованными, что в иные лесные дебри еще никогда не проникала нога не только европейца, но даже и малайца, не исключена, как полагают, возможность открытия новых, доселе неизвестных орд кубу, скрывающихся в глубине тропического леса.

Мы в дальнейшем будем говорить, конечно, почти исключительно об этих «самых диких» кубу и, в частности, о тех так называемых ридан-кубу, которых обследовал Донген.

Очень немногочисленные, обитающие в иногда совершенно недоступных дебрях, вечно бродящие в поисках за пищей, чрезвычайно пугливые, всячески избегающие встречи с чужими, дикие кубу почти неуловимы. Фольц говорит, что встретить в лесу кубу еще труднее, чем тигра или слона. Это обстоятельство делает диких кубу почти недоступными мало-мальски продолжительному наблюдению. Надо считать, действительно, что мы обладаем еще очень недостаточным материалом для многих суждений и выводов. В особенности, еще очень неглубоко и неудовлетворительно удалось проникнуть во внутренний мир этих дикарей, их переживания и представления. Точно так же недостаточны и сведения об их повседневном быте.

IV.

Область поселения племени кубу составляет глубочайший девственный лес. Сюда лишь изредка проникает малаец. Так кубу в течение неизмеримо долгого времени могли оставаться совершенно изолированными от всего остального человечества.

Тонкую и художественную картину девственного леса Суматры дает профессор Фольц. В совсем новом для нас свете представляется нам этот римба, как называют тропический лес малайцы.

[1]) Работу ван-Донгена, напечатанную в 1906 г. в голландском журнале, издающемся в Батавии, нам не удалось раздобыть, почему пришлось ограничиться использованием всех, повидимому, исчерпывающих выдержек, сделанных Хагеном.

Непрестанная непримиримая борьба идет в первобытном лесу. Тесно сгрудившимся в необычайном разнообразии пород, исчисляемых в нескольких сотнях видов, деревьям римба приходится вести постоянную борьбу за существование, за место на солнце. Дереву приходится тянуться вверх на громадную высоту, чтоб увидеть солнце. Совершенно гладкие лишенные веток стволы такой толщины, что их могут обхватить только пять-шесть человек, достигают высоты в 70—80 и более метров и увенчиваются сравнительно небольшой шапкой листвы.

Лес так густ, что солнечный свет не проникает до земли. Внизу царит постоянный сумрак. Поэтому растительность на земле очень бедна. Почва большей частью гола или покрыта сгнившими листьями. Редко можно видеть густую траву, преобладают только мхи, лишаи, сорные травы, папоротники и орхидеи. Малейшие промежутки между стволами деревьев заполнены беспорядочной сеткой лиан и ползучих растений, тонких, как нити, и толстых, как канаты. Некоторые места так заросли, что через них с трудом пробираются даже все сокрушающие слоны.

Необычайно обилие животного мира римба. Суматра — одно из самых богатых фауной мест на земле. Здесь водятся почти все крупные породы тропиков: слоны, бегемоты, тигры, носороги, медведи, кабаны, тапиры и хищные обезьяны. В реках часто попадаются крокодилы. Римба дает приют самым крупным на земле ядовитым змеям: здешние питоны достигают 15—20 футов длины. Весь лес кишит пьявками, скорпионами, мелкими москитами и другими жалящими насекомыми.

При всей своей пышности, сумеречный римба чрезвычайно однообразен. Роскошная и разнообразная по формам листва — одного и того же унылого темно-зеленого цвета, господствующего повсюду. Влажная оранжерейная духота, постоянный сумрак, отсутствие кругозора — все это действует угнетающим образом на психику человека.

При всей роскоши, обилии и разнообразии флоры и фауны первобытного леса, он очень скудный источник питания человека. Правда, деревья приносят много плодов, но большинство их нес'едобно. То же самое и корни. Охота в римба почти совершенно невозможна. Все кругом заросло так густо, что взгляд не проникает в чащу дальше двух-трех шагов. Вы чувствуете и слышите присутствие животного, но редко встречаетесь с ним лицом к лицу. Птицы живут в недоступной солнечной вышине, их едва видно и слышно. Даже туземцы-малайцы, отправляющиеся в лес, никогда не рассчитывают на лесные продукты и запасаются пищей.

«Девственный лес — скупой хозяин, — говорит Фольц, — в нем легко можно умереть с голоду».

Таков римба — страна племени кубу.

Как было сказано, кубу относятся к своеобразной этнической семье, распространенной в виде осколков — маленьких народцев на Малайском полуострове и по всему Малайскому архипелагу, об'единяемой под общим наименованием ведд о и д о в. Этим вся эта семья сближается с довольно извест-

ным весьма примитивным племенем ведд, живущих на острове Цейлоне, одно время считавшихся древнейшим остатком арийской расы [1]).

Основные антропологические признаки веддоидов: малорослость, но не карликовость, коричневатый цвет кожи, жесткие, волнистые черные волосы, сильно выпуклый лоб, выдающиеся надбровные дуги, глубоко сидящие глаза, широкое лицо, плоская переносица и широкие ноздри.

Ни один из народцев, причисляемых к веддоидам, не дает, однако, чистого типа, все они обнаруживают признаки скрещиваний с другими расами.

Точно так же и кубу в антропологическом отношении представляют собой племя смешанной расы, так что даже новейшая классификация колеблется, относя их то к веддоидам, то к протомалайцам. Действительно, очевидно, современные кубу являются результатом скрещивания по меньшей мере двух чрезвычайно древних первобытных обитателей острова. Возможно даже, что кубу соединяют в себе смешение нескольких древнейших этнических пластов.

Как Фольц, так и Хаген, занимавшиеся независимо друг от друга антропометрическим изучением кубу, единогласно констатируют наличие среди них во всяком случае двух явственно отличающихся антропологических элементов. Тот элемент, который преобладает и считается древнейшим, относится именно к тем расовым чертам, которые присущи веддоидам.

Хотя кубу и принадлежат к низкорослым людям, их все же нельзя причислить к карликовому типу. В общем они хорошо сложены, худощавы, но мускулисты. Очень хорошего сложения в молодости и женщины-кубу. Организм кубу отличается чрезвычайно быстрой изнашиваемостью, они очень недолговечны. Женщина в десять лет достигает уже половой зрелости, а в двадцать лет она уже старуха.

Быстрая изнашиваемость в связи с тяжелыми условиями существования, громадная смертность детей, наконец, заносимые в лес эпидемии — все это ведет к быстро совершающемуся, в особенности в последнее время, вымиранию всего племени. Пройдет еще немного времени, и кубу исчезнут с лица земли.

V.

Кубу целиком и полностью связан со своей родиной — первобытным лесом. «Римба» — произносит он через каждое слово, когда что-нибудь об'ясняет или рассказывает. Привыкшие к постоянному сумраку лесной чащи, дикие кубу с трудом переносят яркий солнечный свет. Когда Донген вел беседы со своими ридан-кубу, они старались все время держаться в тени деревьев, заявляя, что на солнце им «больно» (они употребляли здесь слово, означающее одновременно «жжет» или «огонь»).

---

[1]) См. Sarasin P. u. F., Die Wedda von Ceylon und die sie umgebenden Völkerschaften (Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon in den Jahren 1884—1886), Wiesbaden 1892—93.—Seligmann C.G. and B.Z., The Veddas, C. 1911.

Случалось, что женщины-кубу из дикой орды брались в жены малайцами, жили в домах, в условиях неизмеримо лучших, чем их жалкая, полная лишений бродячая жизнь в лесу, в сытости и довольстве, любимые своими мужьями. И, тем не менее, они выдерживали эту культурную жизнь год, два, самое большее три. Достаточно было появиться по близости кочующей орде их родичей, чтобы эти женщины бросили мужей и убежали к своим, в девственный лес, в римба.

Дикие кубу представляют собой яркий и наиболее чистый образец бродячих собирателей.

Отдельные орды, повидимому, не имеют определенного, строго ограниченного участка территории, на которую распространяются пределы их кочеваний. Все же известная привязанность к определенным местностям намечается. Повидимому, нет строгой определенности также и в избираемых ими направлениях, нет присущей другим кочевникам известной регулярности переходов и возвращений на старые места в зависимости от климатических условий и, в частности, смены времен года.

Беспрестанно бродят они, переходя с места на место в поисках пищи, созревших лесных плодов, сухого места. Самое большее остаются на одном месте ридан-кубу один месяц, но часто не больше недели, покидая стоянку лишь только округа уже не дает пищи.

В общем, страна кубу составляет громадную территорию в 40—50 тысяч кв. километров. Несколько тысяч душ кубу на эту территорию — немного, и запас пищи, хотя и скудной, достаточен, чтоб поддержать их существование.

В гущине леса кубу прокладывает себе дорогу не рубя ветки, как это делают уже самые низшие дикари, а, подобно крупным животным, ломают препятствия телом, руками и ногами. Вместе с тем они обладают способностью двигаться с изумительной быстротой и легко переходить такие дебри, которые малайцу приходится прорубать с большим трудом.

Исключительную и совершенно своеобразную особенность дикарей кубу составляет подлинная водобоязнь. Несмотря на то, что населяемая ими лесная область очень обильна реками и ручьями, которым свойственны к тому же очень частые и бурные разливы, — кубу являются, как выражается Фольц, злейшими ненавистниками воды.

Самый незначительный ручей, который нельзя перейти посуху по камням или по стволам упавших деревьев, представляет собой уже непреодолимое препятствие, уже становится границей их кочеваний. Эта боязнь или отвращение к воде приводит к тому, что кубу никогда не моются и не купаются. «Настоящий кубу не прикоснется к воде во всю свою жизнь», говорит Донген.

С'едобно для них почти все. Кубу питаются плодами, ягодами, корнями и клубнями. Едят ящериц, лягушек, гусениц, личинок жуков.

Никаких запрещений определенных видов пищи, столь характерных для самых низших дикарей и столь широко распространенных, например, у австралийцев, — кубу не знают. По крайней мере, Донген не мог добиться

никаких указаний на это от ридан-кубу. Точно так же универсально распространенных ограничений в пище для женщин в периоде беременности — нет. Тем не менее, есть животные, мясо которых ридан-кубу не едят: это — слон, тигр и дикая кошка. Мужчины ридан-кубу курят табак, вымениваемый у малайцев.

Голод утоляют тем, что найдут в течение дня. Если пищи много, едят до отвала, но нередко ложатся спать с пустым желудком. Забота о завтрашнем дне им чужда, и никаких запасов они не делают.

Охота и рыбная ловля даже у более культурных кубу играют незначительную роль и обнаруживают признаки явного заимствования от малайцев. Но западни и силки для зверей уже известны ридан-кубу.

Единственное прирученное животное, имеющееся у кубу, — собака. Мы таким образом еще раз убеждаемся, что собака была первым прирученным животным, первым спутником человека. Только очень недавно культурные кубу стали разводить кур.

Фольц приходит к заключению, что первобытно кубу обитали на деревьях и только впоследствии спустились на землю. До сей поры ветви дерева иногда служат диким кубу приютом и убежищем.

Замечательно, что и сейчас кубу обладают исключительной способностью взбираться на высочайшие и совершенно гладкие стволы деревьев. Для этого они вколачивают при помощи простой деревянной дубинки в ствол дерева заостренные колышки в палец толщиной, располагая их постепенно на расстоянии полуметра один от другого. Отличающиеся своей ловкостью и далеко не чуждые сноровки в путешествиях по лесу малайцы никогда не решаются взобраться по таким оставленным кубу лестницам.

Спустившись на землю, кубу и в настоящее время постоянного жилища не имеют. Где застанет их ночь, там сплетают они из веток нечто вроде кровли или зонта, едва достаточного, чтоб защитить от непогоды. Иногда приютом целой семье служит дупло большого дерева.

Но уже ридан-кубу нередко сооружают себе своеобразного типа жилье, временное и очень недолговечное. Это строение представляет собой приподнятый над землей помост, нечто вроде платформы на четырех столбах, с крышей из больших листьев или пальмовой соломы, но совершенно без стен. Снявшись с места, кубу бросают свою хижину и на новой стоянке строят себе новое жилье.

VI.

Наиболее ярким показателем уровня развития кубу представляется, конечно, их материальная культура, основа хозяйства, основа быта.

Собственно говоря, единственное орудие, свойственное диким кубу, это палка, представляющая собой расщепленный ствол бамбука с естественно острым концом, служащая для выкапывания корней и клубней.

Единственное собственное оружие кубу — длинное деревянное копье с наконечником опять-таки из острой щепки бамбука.

Происхождение и назначение этого оружия представляется в известных отношениях загадочным. Откуда взялось у кубу такое копье?

С одной стороны, оно, несомненно, не заимствовано у малайцев, которым подобное оружие незнакомо. С другой стороны, как правильно замечает Хаген, густо заросший, опутанный тысячами видов лиан, ползучих и вьющихся растений болотистый девственный лес, где кругозор большей частью ограничен расстоянием в десять шагов, — не место для изобретения копья длиной почти в три метра.

Вместе с тем, как полагает Хаген, это копье, вероятно, только в редких случаях употребляется для метания и скорей служит, так сказать, ударным орудием. Вероятно, именно эта длинная палка служит для сбивания добычи с веток. Такое орудие как раз должно было быть изобретено в первобытном лесу с его высокоствольными деревьями.

Лук и стрелы, как и распространенное на Суматре духовое ружье, кубу неизвестны.

Поистине замечательно, что у кубу совершенно отсутствует понятие о применении камня в качестве орудия или оружия как самостоятельно, так и в каком-либо соединении с деревом. Никаких признаков употребления камня в каком бы то ни было виде у кубу не обнаружено. Правда, в обитаемой ими области вовсе нет острых камней. Не встречается и раковин, дающих столь широко распространенный у других народов материал для орудий, утвари и оружия.

Таким образом кубу живут целиком в деревянном веке. Остается признать, что они не достигли еще, либо прошли мимо даже палеолита (древне-каменного века).

Надо только заметить, что, естественно, благодаря соприкосновению с малайцами, к ридан-кубу проникли в последнее время металлические ножи, равно как и некоторые другие «культурные» предметы.

Наше внимание естественно обостряется, когда мы обращаемся к вопросу об употреблении кубу огня, этого наипримитивнейшего достояния человека, возвышающего его над животным.

В настоящее время ридан-кубу добывают огонь высекая его при помощи кремня и куска стали. Эти предметы они получают у малайцев. Как добывали они огонь раньше, до знакомства с малайцами? Каковы их собственные средства и способы получения огня? И было ли вообще им знакомо его добывание, сохранение и использование?

Всей литературе о кубу решительно ничего не известно о существовании у них каких бы то ни было примитивных, например, посредством трения, способов добывания огня. Несмотря на все поиски и расспросы Хагена, он не мог получить никаких указаний на существование у кубу в настоящем или прошлом чего-либо подобного.

При таких условиях остается только вместе с Хагеном притти к заключению, что кубу сами не знали употребления огня и познакомились с ним только через посредство малайцев, получив от них огниво. Подтверждает этот вывод и то, что дикие кубу в прежнее время ели все в сыром виде. Один

из старейших авторов, описывавший кубу, говорит, что они с трудом привыкали есть вареную пищу.

В качестве несложной утвари служит кубу скорлупа кокосового ореха и полые стволы бамбука. Лишь у несколько окультурившихся кубу встречается очень ограниченный набор утвари, вырезанной из дерева.

Ремесленные навыки кубу ничтожны. Самостоятельного происхождения, повидимому, своеобразного типа корзина, которую кубу носят привязанной на спине. Намочив древесную кору, они путем отбивания ее деревянной колотушкой изготовляют нечто вроде ткани. Этот материал идет на изготовление набедренных повязок, закрывающих половые органы, и на выделку шнурков. Использование, как и обработка звериных шкур им совершенно незнакомы.

Кубу дают наглядное подтверждение общераспространенного взгляда на происхождение одежды. На самом деле, однако, у диких кубу не существует решительно никакой одежды.

Единственный предмет, сюда относящийся, — сейчас упомянутые повязки из древесной коры, которые, однако, никак не могут быть сочтены за одежду, а представляют собой защиту наиболее чувствительных частей тела. Достаточно представить себе первобытный лес, его густоту, трудность проникновения через его заросли, чтоб необходимость в такой повязке была очевидной. Донген рассказывает, что тела встреченных им дикарей были покрыты сочащимися кровью царапинами и ранами.

Донген утверждает, что чувство стыда своей наготы совершенно чуждо ридан-кубу. Они наотрез отказывались от предложенной им одежды, заявляя, что в ней им «жарко» (или «больно», «жжет»).

В силу присущей им водобоязни, кубу, как мы знаем, никогда не моются и не купаются. Тело их покрыто толстой корой грязи, которая, когда высохнет, сама отваливается кусками, либо соскребывается острой бамбуковой палочкой. Неудивительно, что ридан-кубу распространяли невыносимое зловоние.

Никакой прически кубу не знают. Волосы на голове у мужчин лежат или, вернее, торчат беспорядочным спутанным клоком, у женщин спадают ничем не придерживаемыми космами. Мужчины волосы бороды и на теле имеют обыкновение выщипывать.

VII.

Уровень умственного развития кубу необыкновенно низок.

Но раньше всего — их язык.

Кубу, как и ридан-кубу, говорят на ломанном малайском языке. Однако, что касается ридан-кубу, то о том, что они пользуются малайским языком, можно заключить только из сношений их с малайцами. На каком языке говорят они между собой в римба?

Вопрос об их собственном языке остается пока без ответа. Несомненно наличие у них языка жестов и мимики. Хаген считает возможным допустить,

что звуковой язык у кубу просто даже не оформился за ненадобностью, либо же достиг только самой незначительной ступени развития. И только навязанные им сношения с малайцами привели их к научению небольшому запасу малайских слов.

Однако в языке более культурных кубу обнаруживаются остатки какого-то другого языка, не малайского происхождения. Разобрать что-либо здесь, определить лингвистическое место этих немногочисленных осколков невозможно за крайней скудностью этого материала.

Мышление, умственная деятельность диких кубу повидимому совершенно ничтожного масштаба. Видимо, нет привычки к выражению своих восприятий, нет навыка или надобности в обмене мыслями. А ведь слово рождает мысль.

«О чем может говорить кубу с женой, находящейся при нем неотлучно? Ничто не побуждает его к мышлению, к духовному развитию. От всего отчужденный, кубу остается тем, чем он был много тысяч лет тому назад», — говорит Фольц.

Названия дней недели или месяцев неизвестны и не употребляются даже культурными кубу.

Более или менее продолжительное умственное напряжение совершенно невыносимо для кубу. Как только расспросы сколько-нибудь затягиваются, они начинают плакать. Подобное явление знакомо нам и у детей.

Основные черты характера кубу — необычайная пугливость и недоверчивость.

Если кубу приходится неожиданно встретиться в лесу с кем-нибудь чужим, они моментально исчезают, бросая все. Они обладают, кстати сказать, прямо поразительной способностью прятаться в лесу даже в непосредственной близости, так что даже малаец не может их найти.

Донген однажды наткнулся в лесу на старуху и мальчика, занятых выкапыванием корней: «Когда они внезапно увидели нас, — рассказывает он, — совсем близко, они присели и прижались друг к другу как пугливые животные, которые не видят спасения в бегстве. Они не издали ни малейшего звука Исполненные страха, с ужасом смотрели они на нас, как бы только ожидая, когда падет удар, который их уничтожит».

Донген был первым европейцем, которого видели встреченные им дикари. С большим трудом удалось их зазвать из лесной чащи. Долгое время они не могли побороть своего испуга, долго дрожали от страха. Много труда стоило преодолеть их подозрительность и недоверчивость. Они сначала ни за что не хотели брать подарки, которые им предлагались.

Всецело владеющий душой и бытом кубу девственный лес, скудный и сумеречный римба, действует, очевидно, подавляющим образом на их психику. Дикарь-кубу выглядит печальным и угнетенным. «Солнце,—говорит Фольц,— дает радость. Обезьяны веселы, потому что, поднявшись на вершины деревьев, могут петь и резвиться в солнечных лучах. Жалкий кубу навсегда прикован к земле».

Мироотношение кубу, повидимому, не получило даже сколько-нибудь явственного оформления. Представления или идеи о внешнем мире еще не сложились. Мысль как бы дремлет еще, ничем не разбуженная.

Проникнуть в область психической деятельности кубу всячески стремился Фольц. Он дает ряд диалогов, которые, как он говорит, составлены из многократно возобновлявшихся попыток получить ответы на ряд вопросов. Эти расспросы постоянно прерывались слезами или упирались в тупое молчание.

Как осознает кубу окружающий его мир и, в особенности, грозные явления природы?

— Видал ты молнию?
— Да.
— Что это такое?
— Не знаю.
— Слыхал ли ты гром?
— Да.
— Что это такое?
— Не знаю.
— Откуда берется молния?
— Сверху.
— Откуда берется гром?
— Снизу.
— Почему бывает молния?
— Не знаю.
— Можешь ли ты сделать молнию?
— Нет.
— Может ли какой-нибудь человек сделать молнию?
— Нет.
— Что же такое молния?
— Не знаю.
— Молния сверкает сама?
— Не знаю.
— Кто делает молнию? Гром?
— Не знаю.
— Может быть, гром делает молнию?
— Не знаю.
— Может быть, молния — животное?
— Нет.
- Быть может, гром — животное?
— Нет.
— Может быть, гром и молнию делает какое-нибудь животное?
— Нет.

Казалось, элементарное для примитивного мышления чувство страха перед странными и необ'яснимыми явлениями совершенно чуждо кубу. Вернее, для него нет ничего непонятного:

— Ходил ли ты когда-нибудь ночью в лес один?

— Да, часто.

— Слыхал ли ты там стоны и вздохи?

— Да.

— Что же ты подумал?

— Что трещит дерево.

— Слыхал ты крики?

— Да.

— Что ты подумал?

— Кричит зверь.

— А если ты не знаешь, какой зверь кричит?

— Я знаю все звериные голоса.

— Не слыхал ли ты ночью в лесу какого-нибудь незнакомого тебе звука?

— Нет, мне знаком каждый звук

— Ты не боишься светящихся деревьев?

— Нет, гнилые деревья всегда ночью светятся.

— Значит, ночью в лесу ты ничего не боишься?

— Ничего.

— И ты никогда не встречал там ничего неизвестного, что бы могло тебя напугать?

— Нет, я знаю все.

Такое отношение дикарей к явлениям природы подтверждает и Донген. Во время его встречи с кубу разразилась сильнейшая тропическая гроза. Кубу оставались совершенно спокойно сидеть и беседовать, как будто ничего не происходило.

Сверхчувственным или сверхестественным существом, каким-либо духам или чему-нибудь подобному нет места в их психике. О каком-либо высшем существе они не имеют ни малейшего понятия. «Они не знают никаких духов, никого не боятся и никому не поклоняются», — говорит Донген. Когда он рассказывал им, что их соседи боятся и почитают дождь, воду, гром, оспу, — они слушали с крайним изумлением, открыв рот, как дети.

Фольц пытался узнать, верят ли они в существование души или имеют ли какое-нибудь относящееся сюда представление.

— Видел ли ты мертвого человека?

— Да.

— Может он ходить?

— Нет.

— Но ведь ноги у него есть?

Кубу пожимает плечами.

— У него есть рот, но он не может есть, имеются руки, но он не может ими двигать?

— Да, это так.

— У него такие же члены, как и у тебя, но он не может ими двигать. Отчего это происходит?

— Оттого, что он мертв.

— Да, но почему же он не может двигаться?

— Не знаю.

— Но если мертвый человек выглядит точно так же, как живой, тело его такое же, как у живого человека, и он не может двигаться, то чем же отличается мертвый от живого?

— Он не дышит.

— Он не может двигать ногами, потому что он не дышит?

— Да.

— А что такое дыхание?

— Ветер.

— Если ты подуешь мертвому в рот, он сможет двигаться?

— Нет.

— Почему?

— Потому что его дыхание ушло.

— Где его дыхание?

— Ушло.

— Что такое дыхание?

— Ветер.

Ярким показателем строя миросозерцания кубу является их отношение к смерти и покойникам. Здесь они находятся еще, повидимому, на наиболее примитивной стадии чисто инстинктивного страха перед болезнью и мертвым телом. Очевидно, боязнь заражения им знакома.

Дикие кубу знают только одно средство от тяжелых болезней — бегство. Они удирают от умирающего, оставляя его на произвол судьбы. В таких случаях они на очень долгое время покидают ту стоянку, где ими оставлен мертвый и во время своих кочеваний старательно избегают этого места. Если им приходится наткнуться в лесу на труп, который, — как они сами выражались, — еще не с'еден зверями, то убегают со всех ног.

Окультурившиеся кубу, живущие по соседству с малайцами, уже начинают зарывать своих покойников, однако без каких-либо церемоний или обрядов. Да и то, после чьей-либо смерти, они на несколько месяцев уходят в лес.

Повидимому, таким образом, дикие кубу не создали себе никакого представления о судьбе человека после смерти. «Если мы умираем, мы — мертвые», — вот все, что можно было от них добиться.

Даже более культурные кубу, которых изучал Хаген и которые уже погребают мертвых, на вопрос о загробном существовании могли ответить только: «Если кто-нибудь умирает, он возвращается туда, откуда явился». Никто из опрошенных Хагеном кубу не мог ничего больше прибавить, никаких подробностей загробного существования человека никто не мог сообщить.

Точно так же никаких «духов» и эти кубу не знали. Звуки граммофона не вызвали у них ничего кроме веселья и смеха, разве что легкое удивление.

Таким образом все наши авторы приходят к категорическому выводу, что кубу совершенно свободны от какой бы то ни было религии и не знают никакого культа. Никто не видел у них какой-либо церемонии. «Я ничего не слыхал о каком-либо культе и не мог найти хотя бы даже какой-нибудь намек на таковой, не видел никакого предмета, который говорил бы хотя бы отдаленно о своем отношении к какому-либо культу», — категорически заявляет Донген.

Мы не знаем ни одного народа, ни одного примитивного племени, которому не были бы знакомы украшения. Любовь к украшениям считается одним из элементарных проявлений дикарской психики. Уровень развития эстетических чувств и формы их проявления должны, действительно, служить весьма выразительным показателем общекультурного развития.

Кубу совершенно неизвестны какие бы то ни было украшения. Ридан-кубу, которых встречал Донген, как мужчины, так и женщины, не имели на себе ни малейшего признака украшения. Единственное «украшение», которое Фольц видел однажды на одной девушке, представляло собой веревочку из древесной коры с навешанными на нее кусочками бамбука. С другой стороны, все украшения, которые имеются у окультурившихся кубу, несомненно и явно, как это доказал Хаген, малайского происхождения.

Столь же чужды кубу и иные способы украшения или выделения своего тела. Как известно, у всех дикарей очень широко распространены обычаи татуировки или окрашивания тела, а равно и различные приемы обезображивания носа, ушей, губ, зубов, об'ясняемые либо эстетическим, либо магическим происхождением. Ничего подобного у диких кубу не обнаружено. Только близкие к малайцам кубу заимствовали у своих соседей манеру надпиливания зубов.

Кубу вообще совершенно неспособен к созданию какого-либо рисунка или изображения. У них нет никакого орнамента. Только более культурные кубу иногда покрывают свою утварь простой невыразительной штриховкой.

Как ни пытался Хаген получить от кубу какой-нибудь рисунок, давая им карандаш и бумагу, ничего кроме черточек не добился. Было вполне очевидно действительное неумение что-либо начертить или нарисовать, как еслиб он имел дело с детьми самого раннего возраста.

Наконец, точно также безусловно чужда кубу потребность в каком-либо проявлении чувства ритма. Никакого танца у них не обнаружено. Все наши авторы единогласно утверждают, что никакой музыки у диких кубу нет, как не найдено и какого-либо музыкального инструмента.

VIII.

После того, что мы знаем о материальной культуре, поистине жалкой экономике и необычайно низком уровне психического развития кубу, мы не можем рассчитывать найти у них сколько-нибудь сложные общественные формы и отношения.

Повидимому, единственной формой соединения особей у диких кубу является семья. Скудность первобытного леса не дает возможности пропи-

тания большой группы людей. Только в исключительно редких случаях, да и то, повидимому, только окультурившиеся кубу соединяются в маленькие орды, большей же частью и они живут по-семейно.

Наконец, даже и у оседлых кубу, по общему правилу, одна или две семьи составляют поселение. «Деревня» Меронг, одно из самых больших поселений кубу в области реки Равас, состояла из шести мужчин, частью юношей, трех женщин, в том числе одной вдовы, и одного ребенка. Другое поселение состояло из одной матери, двух ее взрослых холостых сыновей и двух дочерей-подростков. Наконец, самая большая из деревень кубу, которую видел Фольц, состояла из четырех мужчин, девяти женщин и троих детей.

Дети остаются со своими родителями и ходят с ними вместе на поиски пищи до 10—12 лет. С этого возраста как мальчики, так и девушки считаются уже самостоятельными и способными устраивать свою судьбу и свое будущее. С этого момента они начинают впервые носить повязку, скрывающую половые органы. Во время стоянок они делают себе отдельную хижину рядом с родительской. Но пищу они ищут себе уже самостоятельно и едят отдельно. Связь между родителями и детьми постепенно слабеет и часто вскоре дети отделяются и начинают самостоятельную жизнь в лесу.

При родах помогает какая-нибудь другая женщина, если найдется вблизи, или муж. Никаких церемоний ни при самых родах, ни после не существует. Новорожденного не моют, а только обтирают листьями или тканью из древесной коры. Когда женщина может двигаться дальше, — а это бывает иногда сразу же после родов, но большей частью на следующий день, она опять принимается обычным порядком за поиски пищи одна или в обществе своего мужа.

Когда дети достигают возмужалости, то сами же в лесу находят себе пару, с которой вступают в половую связь, ведущую к более или менее постоянному браку. Засидевшихся в девушках у кубу не существует, тем более, что женщины у них вообще в меньшем числе.

Тем не менее, как говорит Донген, уже у ридан-кубу браки заключаются с ведома родителей обеих сторон, которые, впрочем, никогда не препятствуют молодым в их выборе.

Для брака мы находим уже у ридан-кубу некое подобие церемонии. Донген описывает ее следующим образом: «Молодые садятся рядом на землю, женщина слева от мужчины. Старейший обеих семей садится перед ними. Жених говорит невесте, что он хотел бы иметь ее женой, она отвечает согласием. Тогда старший об'являет присутствующим, чтобы они, если встретят их обоих (он называет их имена) вместе, им не мешали». На этом вся церемония кончается, все расходятся и идут своей дорогой. Никакого торжества, празднества, угощений или чего-либо подобного нет.

Моногамия составляет общее правило, но не закон. У ридан-кубу встречается по две-три жены. Если кубу имеет две жены, он делает свою хижину несколько шире и здесь помещается вместе со своими женами. Во время еды, когда сидит, лежит или спит, мужчина всегда помещается между женщинами, так что они никогда не оказываются рядом.

Еще более, чем заключение брака, легок у кубу развод. Он состоит в том, что каждый просто убегает от своего супруга к своим родителям, братьям или сестрам. Если женщина хочет, она возвращается к мужу. Бывает, что уже через несколько дней мужчина берет себе другую жену, а женщина другого мужа. Взрослые дети остаются с отцом или с матерью, как придется; маленькие, конечно, всегда следуют за матерью. В общем, семейная жизнь кубу очень непрочна, и такие разводы чрезвычайно часты.

Девственный лес так густ и так трудно проходим, территория, на которой кочуют одни только кубу, так велика, что отдельные семьи кубу должны естественно чрезвычайно редко встречаться друг с другом. К тому же какого-либо стимула к общению не существует.

Случается им иногда, конечно, встречаться при поисках пищи, но они ограничиваются только тем, что спрашивают друг друга, возле какой реки они обитают. И—больше ничего, они расходятся, и каждый продолжает свой путь.

Хотя имя имеет каждый кубу, но известно оно только очень узкому кругу. Людей, принадлежащих к другим семьям, кубу не знают индивидуально, а называют только по месту кочеваний: «люди такой-то реки» или «дочери из поселения на таком-то ручье».

На все вопросы Донгена, не сходятся ли они иногда, чтобы рассказать что-нибудь друг другу, устроить какое-нибудь празднество, игру или что-либо в этом роде, кубу отвечали отрицательно. Даже и у более культурных кубу обнаруживается почти полное отсутствие празднеств и церемоний.

Вместе с тем, никто никогда не слыхал о каких-либо распрях, ссорах, драках или войне между ними. И никогда кубу ни на кого не нападали.

Внешний мир, выходящий за пределы обычного участка кочеваний орды, для кубу не существует. Об их изолированности мы уже достаточно знаем. Даже своих оседлых сородичей дикие кубу тщательно избегают.

Еще один из старых авторов дал любопытное описание способа, при помощи которого малайцы вступали в соприкосновение с дикими кубу, чтобы выменивать у них лесные продукты на разные товары. Это довольно распространенная в сношениях более культурных людей с дикарями процедура так называемого «немого обмена». Инициаторами его в данном случае надо, несомненно, считать малайцев.

Когда приближаются малайцы, кубу кладут на определенных уже издавна обычных местах свои продукты, дают знак, стуча по дереву, удаляются в глубь леса и выжидают. Малайцы подходят, кладут рядом свои товары, в свою очередь, стучат по дереву и удаляются. Тогда кубу подходят, осматривают предложенное им в обмен и, если удовлетворены, забирают и, вновь давши тот же условный знак, удаляются. Если же находят, что предложенного им мало, или оно не соответствует их желаниям, то оставляют все на месте нетронутым и уходят в лес. Тогда малайцы добавляют или меняют свои товары, и так длится этот бессловесный торг, пока не будет достигнуто молчаливое соглашение.

В последнее время, очевидно в связи с усилением колониальной эксплоатации Суматры и увеличением спроса на эксплоатируемые отсюда продукты

девственного леса, появился тип особого посредника, так называемый д ж е н а н г, находящийся в постоянном соприкосновении с какой-либо ордой кубу. Это малаец, который приобрел доверие кубу, которого они знают, к которому привыкли и на зов которого они являются. Нередко он имеет жену из племени кубу. При посредстве такого дженанга, да и то с большим трудом, удалось Донгену вступить в общение с ридан-кубу.

Но даже и с "дженангом" кубу встречаются очень редко. Получив в обмен на лесные продукты нож или какой-нибудь другой предмет, кубу исчезают и появляются снова часто не раньше, чем через два-три года.

Что представляет собой такой обмен с точки зрения ценностной — можно себе вообразить. Никакого понятия о деньгах кубу, конечно, не имеют. Когда Донген вздумал подарить им несколько монет, стараясь втолковать, что за это они могут получить много вещей, они с презрительными ужимками побросали эти подарки на землю.

IX.

Вот все, что можно рассказать о жалких дикарях кубу.

Суммируем еще раз основные и наиболее существенные черты их индивидуального и социального облика. Характеристика кубу составляется, как мы видели, преимущественно из отрицательных признаков.

Изолированные в густо-заросшей полутьме скудного римба, дикие кубу целиком и полностью связаны с девственным лесом. Питаясь почти всем более или менее с'едобным из растительного и животного мира, они неустанно бродят в поисках новой пищи. Забота о завтрашнем дне, накопление запасов им неизвестны. Охота и рыбная ловля — явления новые. Единственное прирученное животное — собака.

Еще недавно, по всей вероятности, они обитали на деревьях, постоянного жилища у них нет и сейчас. Единственные виды собственных орудий кубу — острая бамбуковая палка для копания и длинный шест для сбивания плодов. Ни лука со стрелами, ни применения камня они не знают. Они не дошли до самостоятельного изобретения огня. Утварью служит им скорлупа кокосового ореха и бамбуковый ствол. Ремесленные навыки их ничтожны. Они не знают никакой одежды, им чуждо чувство стыда. Они никогда не моются.

Возможно, что кубу не создали даже собственного языка, ограничившись языком жестов. Какое-либо умственное напряжение для них невыносимо. Основная черта их характера — необычайная пугливость. У них нет никаких почти представлений о явлениях внешнего мира. Они свободны от чувства страха перед грозными явлениями природы, они никому не поклоняются, никого не боятся, не знают никаких духов. Они не задумываются над судьбой человека после смерти и не пришли к мысли о существовании души.

Единственное чувство, которое вызывает в них болезнь и смерть — инстинктивный страх, заставляющий их покидать своих покойников. У них нет религии или какого-либо культа.

Эстетическое чувство, проявление ритма — им незнакомы.

Единственная социальная форма кубу — семья, преимущественно моногамная. Брак приближается к свободному парованию полов. Никакого общения внутри своего племени кубу не знают. Уже люди другой орды — для них чужие. Никаких сходбищ, общих церемоний или празднеств — нет. Они не знают столкновений и войны, и, повидимому, им не пришлось изобретать оружия, как наступательного, так и оборонительного. Внешний мир за пределами их лесного участка, ограниченного рекой, для кубу не существует.

Что же такое кубу?

Относительно них, как и о многих более или менее низко стоящих дикарях уже издавна и неоднократно высказывался взгляд, что эти народцы представляют собой вовсе не «первобытных» представителей человечества, а, наоборот, не что иное, как дегенерировавшие, одичавшие группы людей, стоявших когда-то на более высоком культурном уровне.

Если подобное явление и допустимо теоретически, если это может быть приписано некоторым современным примитивным племенам, то в большинстве случаев такое утверждение все же ничем не может быть обосновано с достаточной прочностью.

Культура не исчезает бесследно. Могут утратиться известные навыки, данное племя может впасть в результате своей исторической судьбы в декаданс, но полное одичание, возвращение к нулевому состоянию культуры — невероятно.

Что бы ни случилось, прежняя культура должна сохраниться хотя бы в осколках и сказываться в каких-нибудь признаках, пережитках, традициях, фольклоре, обычаях.

Ничего подобного мы не знаем у кубу.

Надо иметь в виду еще, что если кубу, как это предполагается, и были оттеснены в чащу леса другими пришельцами, то все же они не были насильно или искусственно изолированы, все же всегда сохраняли возможность общения как с другими своими родичами, так и с более цивилизованными пришельцами. Таким образом нить, которая могла соединять их с якобы утрачиваемой собственной культурой, никогда не обрывалась.

Как мы знаем, существуют слои более культурных кубу. Судить по ним о переходных ступенях развития от низших к более высоким культурным формам мы не считаем возможным, ибо трудно решить, что представляет собой в отдельных ее проявлениях эта новая культура — продукт самостоятельной эволюции или заимствование. Последнее часто более вероятно Однако эти разные культурные слои показывают все же эволюцию, а не вырождение: низшие слои ничем не обнаруживают признаков декаданса.

Если так, то чем об'яснить факт столь поразительного застоя кубу на такой низкой ступени хозяйственного, психического и общекультурного развития?

Новые поселения пришельцев, вероятно, заставили кубу отступить и укрыться в недосягаемых тайниках девственного леса. Суровый и скудный римба дал этим дикарям возможность жалкой пищей едва поддерживать свое

существование. В то же время они не были осуждены на полное вымирание и не имели стимула вступать в более тесное соприкосновение с пришельцами. А недоступность грозного римба делала кубу недосягаемыми. Так создалась их вековая изолированность.

«Проходили века, — говорит Фольц, — девственный лес не изменялся, и кубу оставались тем, чем были, — первобытными людьми».

Здесь сыграла важнейшую роль и недолговечность кубу. «Прогресс строится на опыте, — замечает Фольц, — недолговечный кубу в известном смысле должен постоянно начинать с начала». Отсюда постоянная отсталость всего племени. За свою короткую жизнь кубу не успевает накопить опыт и передать его следующему поколению. Нет накопления опыта, нет преемственности, нет культуры.

Так и застыли кубу в своей первобытной дикости, так сохранилась до наших дней эта, по выражению Фольца, «живая человеческая окаменелость».

«Самыми дикими людьми на земле» обычно общепринято считать австралийцев. К тому же, они значительно более основательно изучены. Но именно новейшие успехи австраловедения показывают нам этих дикарей совершенно в новом свете. Мы во всяком случае уже далеки от отнесения всех австралийцев к одному культурному пласту, ибо различные племена их, как это видно из новейших работ, стоят на различных ступенях развития.

Правда, хозяйственная культура этих дикарей чрезвычайно ограничена и бедна. Тем не менее, на-ряду с собиранием пищи — занятием женщины, у них идет и охота мужчин. Австралийцы, так же, как и кубу, не имеют постоянного жилища и находят себе укрытие от непогоды в примитивном щите из древесной коры или веток деревьев. Орудия их ничтожны, но зато они могут считаться сравнительно хорошо вооруженными копьем, замечательным оружием — бумерангом и щитом.

Но зато австралийцам свойственно уже весьма сложное и своеобразное магическое миросозерцание и сложный ритуал. Они обладают хорошо развитым языком и собственным фольклором. Их половые и семейные отношения представляют собой необыкновенно запутанную и сложную систему. Наконец, тотемический строй их общественных отношений, оживленные взаимные сношения и хозяйственный обмен между отдельными группами, хорошо выраженная у некоторых племен геронтократия (владычество стариков), — все это делает их социальный строй весьма сложным.

Таким образом австралийцы должны быть признаны стоящими на неизмеримо более высокой ступени развития, чем обитатели римба — кубу.

Материал исследования кубу недостаточен, конечно, для того, чтобы дать ту реконструкцию первобытного человека, которая составляет заманчивую цель нашей науки. Во всяком случае, изучение кубу еще раз выдвигает и заостряет ряд основных вопросов учения о первобытности, о роли географической среды, о примитивной материальной культуре, первичных формах хозяйства, наиболее низком уровне психики, простейших формах человеческого общества и т. д.

С известного рода приближением все же именно кубу можно считать осколком первобытного человечества. Несомненно, что этот народец является самым диким, самым первобытным из всех примитивных племен, какие сейчас сохранились еще на земле.

Во всяком случае, несомненно, кубу представляют собой последние остатки первобытного населения не только Суматры, но и более обширной географической арены юго-востока Азии и Индонезии, а быть может, и древнейшего населения обширного доисторического материка, соединявшего Азию и Австралию с южными оконечностями Африки и Америки.

Вместе с тем мы не должны забывать, что родина кубу лежит в той географической области, которая считается сейчас как раз родиной человечества. Здесь водятся антропоидные обезьяны (оранг-утанг и гиббон), здесь, рядом с Суматрой, на острове Яве найдены остатки ископаемого существа Pithecantropus erectus, представляющего собой, повидимому, антропологический мост между обезьяной и человеком.

Психология без инстинктов.

В. М. Боровский.

1. Инстинкт как особая душевная способность.

К «психологии без души» мы все уже в достаточной степени привыкли. И так же хорошо нам известно, что отвергнутое в своем, так сказать, неприкрашенном виде понятие «души» весьма часто вновь вводится под новым названием, обходными путями. На это указывает, например, проф. П. П. Блонский, который в своем «Очерке научной психологии» [1] пишет, что часто душа при помощи метафизической контрабанды попадает в психологию в замаскированном виде. Материалистическая психология срывает такие маски одну за другой. Несомненно, одной из таких «личин» следует признать «сознание», и проф. Блонский, по примеру некоторых американских ученых (как Энджел и другие), выдвигает лозунг «психология без сознания». Проф. Блонский совершенно правильно ставит вопрос, когда говорит (стр. 9—10): «психология как наука о сознании есть только одна из глав более обширной, но столь же ошибочной психологии всяких душевных «способностей». В том же самом направления я считаю возможным и нужным сделать еще дальнейший шаг и говорить о «психологии без инстинктов». Или, может быть, без «инстинктов». Так как можно отрицать существование так наз. особых или «специальных» инстинктов и все же говорить об инстинктивных действиях или инстинктивных реакциях [2]). Тут нет противоречия и нет простой замены одного термина другим. Чтоб это доказать, мне кажется, лучше всего сейчас же отчетливо выявить основное расхождение двух точек зрения. Суть дела в том, что я считаю необходимым отбросить представление об инстинкте, как о чем-то о б ' я с н я ю щ е м поведение животных. «Животное действует так-то и так-то, п о т о м у, что у него имеется инстинкт, который его к этому побуждает». Вот такие «об'яснения» и им подобные я считаю не только пустыми, но и вредными — как вредно всякое замазывание открытой проблемы словообразованиями. Я считаю совершенно недоказанным существование у животного какой-то особой силы или способности, которая движет или управляет

---

[1]) П. П. Блонский, Очерк научной психологии, Гос. Изд., 1921 г.

[2]) В. М. Боровский, К вопросу об инстинкте — в сборнике «Псих. марксизм», Ленингр. 1925 г.

его действиями — а именно так понимали «инстинкт» прежние авторы. Так дело обстоит даже у Дарвина. В главе об инстинктах «Происхождения видов» Дарвин говорит: «Я не пытаюсь предложить какое-либо определение инстинкта... но всякий понимает, в чем дело, когда скажут, что инстинкт заставляет кукушку перелетать с юга на север и класть свои яйца в гнезда других птиц» [1]). (При всем моем глубоком преклонении перед Дарвином и искренней приверженности идеям дарвинизма я позволяю себе считать этот способ изображения дела устарелым. Мне придает смелости то обстоятельство, что эта же глава об инстинктах содержит и такие метафизические представления, как «великое начало постепенности» и даже такое музейное ископаемое, как «natura non facit saltum»). Так же изображаются инстинкты У. Джемсом. Так же и у Вагнера. По его словам, задача определения инстинкта «может быть решена лишь путем исследований психологических свойств, которые характеризуют инстинкт, как самобытную способность» (стр. 21, т. II). Я не подчеркнул двух последних слов, так как у Вагнера все время говорится об инстинкте, как о «самобытной психической способности». Так же Мак Дагал об'ясняет тот факт, что мы плачем, когда видим, что плачет другой, присущей человеку «симпатией», как первоначальным свойством человеческого существа. Вот это, следовательно, одна точка зрения — инстинкт, как какое-то свойство, способность, сила, заложенная где-то внутри организма и побуждающая его к поступкам.

Для науки о поведении такая точка зрения, конечно, абсолютно неприемлема. Дело наше не настолько безнадежно, чтобы мы вынуждены были прибегать к «внутренним побуждениям», «влечениям» и т. п. мистическим агентам.

Другая точка зрения рассматривает «инстинктивные действия», как какую-то группу врожденных реакций. Мы изучаем поведение животных, как взаимодействие стимулов и реакций. Разлагаем его на элементы врожденные и индивидуально приобретенные. Если мы находим, что данная реакция организма состоит исключительно из наследственных элементов, то мы такую реакцию, такие действия организма можем называть «инстинктивными действиями». Если группа сравнительно простая, мы, наверное, в большинстве случаев, назовем ее сложным рефлексом.

Чересчур расширять применение термина «рефлекс» нельзя, чтобы он не расплылся совершенно. Очевидно, что если мы все будем называть рефлексами, то термин потеряет всякий смысл. Поэтому более сложные наследственные группы мы можем условиться называть каким-нибудь другим словом, напр., инструктивными реакциями. Возьмем, например, такой довольно сложный инстинктивный акт, как сосание груди у млекопитающего. Мы можем говорить о нем, как о сложном рефлексе или как об инстинктивных реакциях, пока мы будем изучать их с точки зрения взаимодействия стимулов и реакций. Но если мы будем говорить об «инстинкте» сосания, то мы уже при-

[1]) Курсив мой.

внесем новый момент, а именно об'яснение тех же действий наличностью особой внутренней побуждающей причины, т.-е. вот этого самого «инстинкта».

Не случайно, конечно, нам пришлось взять в качестве примера «сосание». Только у новорожденного существа мы и можем найти группу, состоящую исключительно из наследственных элементов. В дальнейшей жизни животного мы уже чисто «инстинктивных» действий у него не найдем. Во всех его действиях будет в большей или меньшей степени играть роль индивидуальный опыт. Все его действия будут содержать элементы не только врожденные, но и приобретенные. Имеется ли граница между существами, которые могут черпать из индивидуального опыта, и такими, которые не могут этого делать? И если имеется, то где она проходит? Это лже-проблемы — так вопрос ставить нельзя, так как не определен термин «индивидуальный опыт». Сначала надо было бы установить, какие явления мы подводим под понятие «индивидуального опыта». А сделать это не так-то просто. Я не могу здесь углубляться в этот вопрос и приведу только один пример. Очень известный эксперимент, который я процитирую по Лёбу[1]) (стр. 136): «Если мускул последовательно раздражается несколько раз, то действие второго, третьего или позднейших раздражений может быть сильнее, чем действие первого. Автор, последовательный в своих антропоморфических представлениях, должен был бы вывести заключение, что мускул постепенно научается хорошо реагировать. В действительности же, повидимому, происходит то, что концентрация водородных ионов повышается первыми раздражениями до такой степени, что в дальнейшем действие раздражений становится более сильным. Если раздражение продолжается, и концентрация водородных ионов все возрастает, то реакция мускула ослабевает и делается, в конце концов, равной нулю; концентрация водородных ионов теперь оказывается слишком высокой». Здесь, конечно, дело ясное, и никто не скажет, что мускул «научился из опыта», но этот же пример дает нам понятие о тех осложнениях, которыми чреват данный вопрос в целом.

2. Об особых «инстинктах».

Все так наз. «особые инстинкты», устанавливаемые разными авторами, с нашей точки зрения, вовсе не «инстинктивные действия», а очень пестрые группы, сложные комплексы, в которые входят составные части и инстинктивные (т.-е. наследственные) и основанные на навыках. Таким смешением разнородных частей грешат даже самые определения того, что такое «инстинкт», и притом самые для нас приемлемые из имеющихся определений. Так, например, по Пармли, инстинкт есть «наследственная комбинация рефлексов, которые об'единены центральной нервной системой таким образом, что вызывают видимую деятельность организма, которая обычно характерна для всего вида и обычно приспособлена». Здесь приходится возражать против введения слов

[1]) Ж. Лёб, Вынужденные движения, тропизмы и поведение животных, Гос. Изд., Москва 1924 г.

«обычно характерна для всего вида». Действительно, имеется целый ряд указаний на то, что данная группа действий может быть общей для всех или большинства особей данного вида и все же быть не инстинктивной, а основанной на навыках. Для таких навыков, которые общи всему виду, американскими авторами был введен термин «синотропы». Например, на птичьем дворе все цыплята реагируют на призыв наседки и бегут за ней. Экспериментальным анализом доказано, что инстинктивными действиями являются только те, которые включены в следование за удаляющимся предметом, а реакции на вид и голос наседки — оказываются синотропами. Цыплята, выведенные в инкубаторе, разгуливают и клюют около потомства наседки, но не реагируют на ее призыв, и, когда все остальные бегут за наседкой, они могут пойти, напр., за собакой, если таковая только что лежала поблизости, или за любым другим удаляющимся предметом, не обращая никакого внимания на наседку, если она случайно оказалась дальше. Так вот все такие понятия, как «самосохранение», «драчливость», «религиозность» и т. п. — имя же им легион, — поскольку они говорят не о психических способностях, но о каких-то действиях организма, с нашей точки зрения, относятся, главным образом, к синотропам, хотя авторы и обозначают их как «инстинкт». Возьмем такой пример: предположим, что behaviorist наблюдает поведение хищного животного, в результате которого оно овладевает своей добычей. Он постарается проанализировать, какие стимулы действовали на животное, какие реакции им соответствовали, как происходило сочетание между собой различных реакций, как выполнение одних действий отражалось на физиологическом состоянии животного и тем самым на последующих его реакциях и т. д. Если возможно, он произведет генетический анализ и установит, участвуют ли в поведении животного наследственные элементы и в какой мере. Психолог другого направления скажет, что мы здесь имеем проявление «охотничьего инстинкта», при помощи коего животное добывает свою пищу. Животное, мол, действует так потому, что его толкает на это его слепой «охотничий инстинкт». Кого может удовлетворить такого рода «об'яснение»? Я же считаю такой способ выражения вредным, так как он только способен преждевременно положить конец изучению и замаскировать открытую проблему.

Вообще говоря, это любопытное явление. Все, что мы можем наблюдать, это — действия животного, или, иначе, его поведение. Авторы сначала приписывают ему (интроекция!) особую способность «инстинкт», а затем начинают изучать свойства этой способности. Сначала предполагается, что такая абстрагированная способность представляет собой, как некая сущность, нечто постоянное, неизменное, а наблюдение показывает разные отклонения. Приходится вводить свойство изменяемости «инстинкта», об'яснять и извинять такие случаи. Приходится им удивляться! Таким удивлением звучат, напр., слова супругов Пэкгем. В своей великолепнейшей книге [1]) об общественных и одиноких осах они так выражают результат своих любовных и тщательных

---

[1]) G. W. and E. G., Wasps social and solitary, Westminster, 1905.

наблюдений над поведением этих насекомых: «Единственный преобладающий, безошибочный и неизменный факт — это непостоянство (variability). Непостоянство во всех деталях — в форме гнезда и способе его рытия, в условиях гнезда (открыто или закрыто) при временных отлучках, в способе ужаления своей жертвы и т. д. и т. д.». Что же в этом удивительного с точки зрения behaviorist'a? Конечно, ничего. Каждая оса реагирует своими прирожденными органами при помощи прирожденных способов действовать ими. Наследственными в поведении животного являются те элементы, которые зависят непосредственно от его строения. Наследуется данное строение и определенные возможности пользоваться им; реакция на определенные стимулы и на известные границы этих стимулов. Но реакции появляются при наличии соответственных стимулов; возможности развертываются при наступлении подходящих условий. Имеется известный шаблон, но, как он осуществляется — это зависит от условий момента. Шаблон функционирования данных органов не более и не менее «удивителен» или «психичен», чем шаблон строения тех же органов. Но каждая оса действует в индивидуальных условиях среды, и нет двух ос, которые действовали бы математически одинаково; да, кроме того, несомненно, оса до некоторой степени, или в известном направлении, образовывает навыки. Изучая ее поведение, как некое взаимоотношение стимулов и реакций, мы в каждом отдельном случае столкнемся с индивидуальной комбинацией, и «непостоянство» нас не может удивить. Может быть, мы сейчас не сумеем проанализировать поведение осы до конца: мы не изучили всех стимулов, действующих на нее, их порогн или границы, законов сочетания ответных реакций. Если это так, то мы скажем, что здесь — открытая проблема, но это не может заставить нас отказаться от механического детерминизма. А всякая «психическая способность» связана с попытками телеологического об'яснения, и, дальше, целесообразность, несомненно, предполагает индетерминизм. Совершенно прав Guthrie [1]), когда он говорит: «Если за известным сочетанием обстоятельств неизменно следует определенный результат, то разве только случайный теолог даст этому результату об'яснение целесообразное». Где есть механистичность, там нет места целесообразности, а потому нет места и «инстинктам». Очень, по-моему, остроумно замечание Guthrie, что всякий человек выражается телеологически, пока рассказывает о своих достижениях и похвальных поступках, но сразу становится механистическим детерминистом, когда ему приходится говорить о своих ошибках или пороках. С моей точки зрения: **механическое в реальных процессах природы переходит в целесообразное** (приспособительное) **с точки зрения наблюдателя**. Целесообразность — всегда от наблюдателя.

---

[1]) E. R. Guthrie, Purpose and mechanism in psychology, — «Journal of Philosophy», vol. XXI, № 25, Dec. 1924.

3. Понятие наследственности в психологии.

Если мы откажемся от представления об «особых инстинктах», то, конечно, непоследовательно рассуждать о «свойствах» инстинктов. Спрашивается, должны ли мы вовсе отвергнуть все определения инстинктов? Мне думается, что такие определения, как у Пармли, или как определение Уотсона («Мы можем определить инстинкт, как наследственную шаблонную реакцию, отдельные элементы которой представляют собой, главным образом, движения поперечно-полосатых мускулов, или, иначе говоря, как комбинацию видимых (explicite) врожденных ответных реакций, развертывающихся сериально на соответственные стимулы»), мы вполне можем применить для определения того, что мы понимаем под инстинктивными действиями, или инстинктивными реакциями. Мы могли бы говорить об «инстинктивной группе реакций» в тех случаях, где мы в поведении животного встречаемся с такими более или менее сложными сочетаниями рефлексов, которые (сочетания) при первом своем проявлении выполняют какую-нибудь цельную биологическую функцию, благодаря чему они обычно имеют для организма ценность в его приспособлении к среде.

В таком смысле мы, следовательно, могли бы говорить об инстинктивных действиях и сохранить этот термин. Однако следующее соображение, как мне кажется, подрывает значение таких определений, как только что приведенное. На самом деле, под такое определение полностью подходит «обтирательный рефлекс» обезглавленной лягушки. И потому я склонен далеко пойти на встречу таким авторам, которые совершенно выбрасывают термин «инстинктивный». Может быть, действительно, лучше говорить только о наследственных системах действий, как то предлагал раньше Цинг-Янг-Куо [1]. Я здесь хотел бы еще раз подчеркнуть, что на практике мы только в исключительных случаях встречаемся с чисто наследственными группами элементов поведения, так что применять термин «инстинктивные действия» пришлось бы очень редко. В громадном же большинстве случаев мы имеем дело с реакциями смешанного типа, в которых у вышестоящих животных только генетическим анализом можно установить наличность наследственных групп. Только при первом своем появлении врожденная группа будет иметь инстинктивный характер, при повторении в ней уже можно заподозрить участие составных частей, индивидуально приобретенных. Более того, и при первом проявлении в сложной группе могут участвовать элементы, раньше входившие в состав других сложных групп, так, что, может быть, чисто инстинктивного поведения практически вообще не существует.

В этом пункте я, таким образом, соглашаюсь с Цинг-Янг-Куо, но дальше следовать за уважаемым профессором Шанхайского университета я никак не могу! Он в своей новой статье совершенно отрицает какую бы то ни было

---

[1]) Zing-Yang-Kuo, Giving up instincts in psychology,—«Journal of Philosophy» XIX, 1922.

роль наследственности в психологии [1]). Мне кажется, что это, как теперь принято говорить, «болезненная левизна».

Очень интересно определение, которое он дает науке психологии. Он говорит: «Я определяю психологию, как науку, которая занимается физиологией механизмов тела, участвующих в приспособлении организма к его среде с особым подчеркиванием функциональной стороны этого приспособления». Говоря о функциональной стороне я имею в виду эффект, или результат, или приспособленную ценность — положительную, отрицательную, или индифферентную — реакции, создающей новое функциональное взаимоотношение между реагирующим организмом и его средой, социальной или иной (стр. 427). Но его мнение о недоказанности наследственного характера незаученных действий (стр. 439): «мы не можем приписывать незаученные реакции наследственности не более, чем это можно сделать с реакциями других типов» я считаю не убедительным. Неужели только потому, что мы сейчас в лаборатории не можем наглядно выявить наследования таких актов, как хотя бы то же сосание, мы должны сомневаться во врожденном или наследственном характере реакций, слагающих этот акт?

4. О книге проф. Савича.

Для более полного выяснения дела мне кажется желательным сопоставить высказанные здесь взгляды со взглядами какого-нибудь автора, считающего «инстинкты» ценным понятием. Возьму для примера книгу проф. Савича [2]). Здесь мы читаем, что «инстинкт — основа нашего поведения» и что без инстинкта наука не может обойтись. Что же понимает проф. Савич под инстинктом? Я несколько ниже приведу его определение инстинкта через рефлексы. Сейчас я попытаюсь ответить на вопрос на основании изложения дела проф. Савичем — но это задача нелегкая. Такой тут калейдоскоп примеров и всяких à propos, что до самого представления трудно добраться. Повидимому, проф. Савич, хотя на словах и отмежевывается от «психики», но на деле тоже представляет себе инстинкт в виде какой-то заложенной в организме способности или особой довлеющей сущности. Иначе он не мог бы говорить, «что нами управляют инстинкты» (стр. 120) или «наши поступки вытекают из инстинктов» (стр. 121), или «благодаря материнскому инстинкту мать носила на себе своих ребят...» (стр. 111) и т. п.

С этим выражениями и, я бы сказал, с общим изложением вопроса об инстинктах не вяжутся те места, где проф. Савич подходит к этому понятию физиологически. Здесь сейчас же обнаруживается, что за термином инстинкт нового ничего не кроется. На самом деле — вот определение инстинкта, которое дает проф. Савич: «Под этим именем мы разумеем сложный комплекс безусловных, врожденных, координированных рефлексов,

---

[1]) Zing-Yang Kuo, A psychology without heredity.—«Psychological Review», v. 31, 1924

[2]) Проф. В. В. Савич, Основы поведения человека, Ленингр. 1924.

имеющих ярко выраженный цепной характер, роковым образом вызываемых при действии строго определенных раздражителей» (стр. 80).

Это звучит совершенно знакомо. Вспомним Пармли: «Инстинкт — это наследственная комбинация рефлексов, которые об'единены центральной нервной системой...»; это как будто ничем не отличается от «сложного комплекса рефлексов», притом врожденных (у Пармли наследственная комбинация), координированных (у П. об'единенных), безусловных — очевидно, в отличие от «условных» (несомненно безусловных!), — пока ничего нового нет. Имеется добавление: «роковым образом вызываемых при действии строго определенных раздражителей». Думаю, что под «роковым» тут тоже никакой мистики искать не следует, что каждый рефлекс вызывается адэкватным раздражителем — это implicite содержится в понятии рефлекса. В общем это схема, которую с точки зрения behaviorist'a можно только приветствовать, и возражать против этого добавления по существу не приходится.

Остается еще «ясно выраженный цепной характер». Очевидно, в этом вся сила, здесь и заключено то новое, что отличает «инстинкт» от простой комбинации рефлексов. Ибо, если ничего нового нет — то лишний термин будет только лишним балластом в науке. Повидимому, проф. Савич так вопрос и ставит, т.-е. что этот «цепной характер» и есть самая важная отличительная черта инстинкта. Мы в разных местах читаем у него, что «цепной характер бьет в глаза», «отмечается ясно» и т. п. «безусловно, рефлексы в высшей своей координации дают начало инстинктам, они [1]) имеют ярко выраженный цепной характер» (стр. 85). Но позвольте спросить, что такое «цепной характер»? каким явлениям он присущ? Мне кажется, что о понятии «цепной характер явлений» можно сказать буквально то же самое, что говорилось об «особых инстинктах».

Там наблюдатель, изучая некоторой отрезок поведения организма, видит со стороны те результаты, к которым приводят произведенные организмом действия; затем, со своей точки зрения, обозначает этот видимый результат, как ц е л ь действий организма, и водружает на этом основании «инстинкт», который толкает организм на действия, ведущие к этой цели. Совершенно так же и здесь. Наблюдатель видит некий ряд явлений. Отличает одно какое-нибудь кажущееся ему важным явление, как результат, как цель этого ряда, и все, что ведет к этой цели, включает в особую цепь. С его суб'ективной точки зрения, или, иначе, в области той стороны явлений, которую мы называем отображениями реального мира в организме наблюдателя, — там этот последний построит эту самую цепь. Ну, а другая сторона явлений — об'ективная, там цепной характер будет в совершенно одинаковой мере свойствен и процессам органического мира и неорганического. Всему вообще или, если угодно, ничему, так как, расширяясь, понятие диалектически переходит в свою противоположность. Если везде «цепной характер», то нет смысла о нем говорить.

Возьмем частный случай организма. Если бы мы проделали такой опыт: взяли бы данный организм, подействовали на него каким-нибудь раздражи-

---

1) Надо думать, инстинкты.

телем, а затем изолировали его от всяких воздействий извне, то мы могли бы все последующие процессы в организме считать цепью, исходящей от данного раздражителя. Но где же это бывает на самом деле? Не успеет организм отреагировать на одно раздражение, как на него наседает уже туча других. Bom Kantor утверждал, что т. назыв. «цепной характер» реакций зависит от определенного чередования раздражителей, т.-е. что «цепной характер» не в организме, а во внешней среде. Мне кажется, что одно так же неверно, как и другое. На самом деле нет никакой цепи, а есть только взаимодействие меняющейся ситуации и реагирующего на ее изменения организма («Ситуация» — в широком смысле — обнимает и внутренние процессы в самом организме). Разберем пример, приведенный проф. Савичем — известное наблюдение Фабра над халикодомой. Конечно, Фабру вообще нельзя очень доверять — человек он мистический и увлекающийся, поэт, а не ученый. Вспомним его фантастически преувеличенный рассказ об искусном анатоме Ammophila, который (рассказ) после точной и беспристрастной проверки позднейшими учеными много утратил со стороны удивительности. Предположим, что в данном случае Фабр все описал совершенно точно. Что же доказывает его рассказ? Описывается ряд действий, который проделывает пчела в период созревания яйца в ее теле. По мере созревания стимулирующая роль этого внутреннего процесса все увеличивается. Теперь мы читаем, что, «пока продолжается первая фаза постройки, халикодома легко чинит сделанные экспериментатором повреждения ячейки». Здесь пока, следовательно, стимулирующая ценность вида недоконченной или неправильной постройки выше стимулирующей ценности приближающегося момента откладки яйца. Последний процесс идет своим чередом, конечно, тоже под влиянием среды, и вот на известной его ступени (под воздействием гормонов?) — тормозятся рефлексы, участвующие в постройке; вид постройки теперь, независимо от ее формы, вызывает только реакцию наполнения ее медом. А когда яйцо совсем созрело, то оно откладывается независимо от того, готова ли постройка и собраны ли запасы, или нет. Оса, которую наблюдали Пэкгемы и которая по каким-то случайным причинам замешкалась с постройкой гнезда, как ни торопилась потом, все-таки потеряла яйцо по дороге до окончания постройки. В чем же тут «цепной характер»? Я здесь вижу только столкновение разных раздражителей, сочетания и взаимодействия различных стимулов и реакций и больше ничего. С таким же правом мы можем говорить о «цепном характере» процесса разрушения каких-нибудь горных пород. Или, повторяю, совсем о нем не говорить. Мы приходим к заключению, что имеются комбинации или комплексы врожденных рефлексов, а «инстинкта», как чего-то от них отличного, чего-то нового — не имеется.

Рассмотрим теперь ту классификацию инстинктивных реакций, которую дает проф. Савич. Конечно, у него своя собственная классификация так же, как у каждого автора, который занимался классификацией инстинктов.

Различных инстинктов в литературе имеется столько же, сколько авторов, и число предлагавшихся особых инстинктов колеблется от двух, через четыре, двенадцать, до весьма многочисленных. Оно и не удивительно. Я уже

говорил о том, как «водружаются» эти самые «особые инстинкты» везде, где автор находит цель, которую он считает достаточно важной.

Немудрено, что у каждого автора получается новое число инстинктов. У проф. Савича их семь: 1) ориентировочные реакции [1]), 2) защитные, 3) пищевые, 4) половые, 5) инстинкт игры, 6) дефекация, 7) мочеиспускание (стр. 82) (Почему тут нет еще чихания и зевания?). Мне кажется, что включение дефекации и мочеиспускания лучше всего доказывает всю ту безграничную произвольность, с которой строятся все такие группировки. Да, кроме того, оно и фактически неверно. Если базироваться на определении «инстинкта» самого проф. Савича, разве дефекация и мочеиспускание всегда подходят под это определение? Позвольте напомнить, что не только у ребенка «от младых когтей», но и у домашней собаки тут участвуют всякие условные связи, стало быть, это н е комплекс безусловных, врожденных рефлексов.

Возьмем любую другую «группу», и мы найдем там совершенно такой же ералаш. Вот, напр.: «защитные инстинкты», по мнению проф. Савича, разбиваются на следующие группы: 1) агрессивная реакция, 2) убегательная, отрицательная реакция, 3) чисто-пассивная — явление мнимой смерти, 4) подражание, 5) рвотный акт» (стр. 90).

Если говорить о защитных реакциях организма, то, я думаю, каждый может назвать еще «*n*» разных других: тут приходят в голову антитоксины и мало ли что еще! Но — почему «инстинкты»? (Ведь мы говорим о человеке — проф. Савич написал «Основы поведения ч е л о в е к а».) Разве рвотный акт (я следую порядку проф. Савича) всегда основан на «безусловных врожденных рефлексах»? Известный рассказ, как кто-то подшутил над татарином и уверил его, что он наелся вовсе не телятины, а свинины, — после чего беднягу немедленно стошнило — как будто говорит за участие довольно «условных» связей. Дальше «подражание». Почему оно попало в защитные реакции — непонятно. Во-первых, надо сказать, что подражание очень еще темная область; научных фактов у нас тут еще до крайности мало. Но даже оставаясь в рамках таких анекдотического типа примеров, которые приводит проф. Савич, позвольте спросить: какая же тут защита? Если лосенок убежал от матери — разве это защитная реакция? А я знаю такой случай, что жеребенок убежал от остановившейся с крестьянским возом перед шлагбаумом кобылы и помчался за тронувшимся со станции паровозом, бежал за ним несколько верст, и, наверное, подох потом от переутомления. Это что же — тоже «защитная реакция»? Опять, я думаю, каждый человек легко наберет еще десяток примеров, где «подражание» ведет не к благу, а к гибели особи. Я отнюдь не отрицаю (и выше приводил примеры), что у многих животных в самом раннем возрасте имеется врожденная реакция следования за каждым удаляющимся предметом. Но истолкование ее как «защитной реакции» привнесено «от наблюдателя».

Дальше, явление «мнимой смерти». Очень понятная с точки зрения естественного отбора мускульная реакция — но инстинктивная ли вполне? Судя по литературе предмета, скорее да, хотя a priori нельзя было бы отрицать

---

[1]) В заголовке главы «ориентировочный инстинкт».

участия синотронов. Что нам даст, если мы назовем ее «защитным инстинктом»? Думаю, что ничего.

Возьмем еще последний пример. «ориентировочный инстинкт». — Попробуем и к нему подойти с той же меркой, т.-е. посмотреть, что заставляет автора говорить не только о комплексах рефлексов, но ввести дополнительный термин «инстинкт». — Какие факты относятся сюда? «Наблюдая собаку, мы видим, что она на всякий новый звук поднимает голову, поворачивается по направлению звука, настораживает уши». Между прочим, это, конечно, зависит от физиологического состояния собаки — тот же звук в один момент вызовет реакцию, а в другой — останется незамеченным. Пока тут говорится только о всем известном факте существования врожденных реакций на звук. Дальше: «Эти движения не всегда связаны с какой-либо пищевой или половой реакцией». Здесь, мне кажется, можно было выразиться точнее. Как врожденные «безусловные» реакции они не связаны с пищей или полом, — в таком виде мы можем их наблюдать при их первом проявлении, но сейчас же на этом базисе строятся условные связи. Вспомните цыплят Моргана. Только что вылупившийся цыпленок клюет все, что только увидит. Но во второй раз противную гусеницу уж не клюнет, появится отрицательная реакция — реакция избегания; а вкусная гусеница уже свяжется с пищевым моментом, и на второй раз будет уже не безусловная реакция или «рефлекс клевания видимого предмета», а пищевая реакция — «клевания с'едобного предмета». Так что слова «не всегда» должны быть расшифрованы так: при первом проявлении не связаны, при дальнейших — связаны; и вторую часть выше начатой цитаты: «они существуют вполне независимо от них», — я считаю неправильной. Дальше идет несколько непонятное противопоставление: «С другой стороны, кошка, попадая в новое помещение, тщательно его обходит, обнюхивает, как бы исследует всю обстановку». Почему «с другой стороны»? Тут тоже безусловная врожденная реакция, но только на запах. Там с уха, тут — с носа, но в чем противоположность, «другая сторона» — непонятно. Дальше, из наблюдений Г. И. Зеленого выводится такое следствие: «ориентировочная реакция унаследована и независима от способности к образованию условных связей». Что это значит? Должны ли мы настораживание ушей у собаки и, «с другой стороны», обнюхивание у кошки потому именовать «ориентировочной реакцией», что они «независимы от способности к образованию условных связей»? Отделение слюны — тоже независимо и т. д.! «Ориентировочные движения должны рассматриваться, как особый вид инстинктивных реакций»... «Характерной чертой его является особый вид возбудителя — все новое, тогда как в других случаях мы имеем дело всегда с определенным раздражителем. Там «определенные раздражители», а тут «все новое» — «особый вид возбудителя» (?!!).

Не знаю, следует ли продолжать. Мне кажется совершенно ясным, что у животного мы находим только безусловные и условные реакции и что определение некоторых из них, как «ориентировочных», опять привнесено от наблюдателя. «Кошка от природы умеет ловить и хватать мышь». Очевидно, проф. Савич разногласие между Беррис, с одной стороны, и Иерксом и Блум-

фильдом — с другой, решает в пользу последних авторов — может быть, ему известны какие-нибудь новые эксперименты по этому вопросу? Предположим, что это верно. Верно и то, что «та же кошка научается есть мышь, и теперь мышь делается уже условным возбудителем пищевой реакции» — но конец фразы — «а раньше она возбуждала лишь ориентировочную» — спорен. Почему «ориентировочную», а не просто безусловные рефлексы?

Так же мало убедительным кажется мне и все прочее, что говорит проф. Савич об ориентировочных и остальных шести установленных им особых инстинктах. По общему правилу, как только начинают во что бы то ни стало вводить «особые» инстинкты, неизбежно начинается путаница.

Но центр тяжести лежит не в этом. Если кому-нибудь угодно данную группу врожденных реакций называть инстинктом — пожалуйста! Если это может иметь какую-нибудь описательную ценность — очень хорошо! Мой протест направлен только против попыток об'яснить поведение животного, исходя из наличия в нем «инстинкта», как особой способности — варианта изгнанной «души».

Политика в советском праве.

И. Ильинский.

I.

Верховенство права в буржуазной юриспруденции постоянно терпит урон от напора политических требований. При всей своей гибкости юридическая оболочка не может растягиваться с той скоростью, какая требуется для правовой переработки быстро меняющихся классовых отношений. Перемены, порождаемые революцией, всегда составляли источник немаловажных затруднений для юридической казуистики. Нет надобности перечислять здесь различные формы «теорий возмущения» от Фомы Аквинского, от тираноборцев и от Марсилия Падуанского до Локка и Мильтона. Мыслителям, стоявшим на позиции естественного права, было сравнительно не трудно оправдать революцию, как ниспровержение положительного права, переставшего отвечать жизненной справедливости. Буржуазная юриспруденция нашего времени в господствующих своих течениях опасливо относится ко всякой теории, которая серьезно затеяла бы утверждать преобладание чистой справедливости над нормами действующего права. Иначе и быть не может. В естественном праве ищет опоры идеология недовольного, революционного класса. Класс, удовлетворенный сложившимися общественными отношениями и тем юридическим выражением, которое они получили в законе и обычае, опирается на силу юридического факта, окружает ореолом священности и неприкосновенности нормы действующего права. И если он вынужден поступиться их покоем ради неотразимых начал справедливости, то прежде того требует, чтобы самая справедливость осуществлялась с соблюдением законных формальностей.

С другой стороны, обострение классовой борьбы неизбежно расшатывает устойчивость правовых воззрений самого господствующего класса. На горьком опыте он убеждается, что былое обаяние законности, делавшее ее могущественным средством идеологического усыпления неимущих, падает с угрожающей быстротой. Сохранять же законность, как бесполезное украшение, только ввиду присущей ей «идеальной» или «культурной» ценности, удовольствие слишком дорогое в наше время. Там, где более грубые меры воздействия становятся более действительными, они разрывают изящно спле-

тенную сеть закона и заступают его место. Сила, как любили выражаться юристы, торжествует над правом, прикрывая свое торжество какой-нибудь пышной поговоркой, хотя бы вроде того, что «благо государства — высший закон». Опытные законники, впрочем, успевают заплатать прорыв и более тонкими стежками. Так, итальянский юрист Уго Конти, пытаясь обрисовать понятие политического преступления, на минуту останавливается в затруднении перед фашистским переворотом. Но только на минуту. Гибкая юридическая логика тут же выручает нашего автора. Муссолини совершил революцию или контр-революцию (в глазах итальянского юриста это одно и то же). Но революция не есть юридический факт. Если бы вместо революции произошел подавленный правительством мятеж, долг юриста, дав этому деянию надлежащую квалификацию, применить к нему наказание по закону. Если же революция завершилась переменой правительства (а, может быть, и государственного строя), юридического факта не было, и нормальное течение жизни как бы не нарушалось [1]).

Рассуждение Конти — лишь один из образцов головоломной эквилибристики, при помощи которой буржуазная юриспруденция пытается спасти пресловутую «непрерывность правопорядка» от назойливых домогательств политики. Мастера этого искусства с полной ясностью сознают, что преждевременный впуск политики за ограду права грозит внести нежелательную и весьма опасную ясность в те отношения, зоологическая природа которых доселе успешно затуманивалась сладостной сенью законности.

Советское право решительно отрицает противоположение законности и политики. Наоборот, оно стремится неразрывно связать одно с другим — задача трудная, но нельзя сказать, чтобы совершенно невыполнимая. Мы увидим различные степени совершенства в ее выполнении, зависящие от роста советской юридической техники вообще и от умения законодателя овладеть своим материалом в частности.

II.

Конституция РСФСР 10 июля 1918 года, эта бабушка советских конституций, является документом не столько государственного права, сколько революционной политики. Особенно относится это к декларации прав трудящегося и эксплоатируемого народа. Сравнивая ее с ее французским прообразом, декларацией прав человека и гражданина 1789 года, мы без труда убеждаемся, что французский акт провозглашает принципы, а русский прежде всего и главным образом устанавливает цели. Представители французского народа, пишут авторы декларации, решили изложить естественные, неотчуждаемые и священные права человека в торжественной декларации. Русский революционный законодатель ничего не желает знать о «неотчуждаемых и священных правах». Он резкими штрихами набрасывает совершенно определенные правила, стоящие перед ним не как утверждение правопорядка, а как боевые задания. Поэтому и облечены эти мысли в оболочку, ничем не напоминающую юридические тексты:

[1]) См. статью Ugo Conti в Rivista penale, 1924, Luglio.

«Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплоатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплоататоров, установление социалистической организации общества и победы социализма во всех странах, III Всероссийский С'езд Советов Рабочих, Солдатск. и Крестьянск. Депутатов постановляет» (ст. 3). Далее подчеркивается, что аннулирование займов есть лишь первый удар международному банковому, финансовому капиталу, и выражается уверенность, что «Советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания против ига капитала» (Там же, пункт г). Огосударствление банков, продолжает конституция, есть «одно из условий освобождения трудящихся масс из под ига капитала». Всеобщая трудовая повинность вводится «в целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства». Вооружение трудящихся на-ряду с разоружением имущих классов декретируется, как мера обеспечения диктатуры пролетариата и устранения всякой возможности восстановления власти эксплоататоров (Там же, пункт д, е, ж). Еще ярче политическая окраска третьей главы конституции 1918 г. Каждая из трех статей этой главы по разным поводам упоминает о политике. III Всероссийский С'езд Советов всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных договоров, организации братания и достижения во что бы то ни стало демократического мира. Он настаивает далее на разрыве варварской колониальной политикой буржуазной цивилизации. Наконец, особо выделяются некоторые политические мероприятия «Совета Народных Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, об'явившего свободу самоопределения Армении».

Таким образом в своеобразном сочетании политики с правом лежит главная особенность декларации прав трудящихся и эксплоатируемого народа. Легко видеть, что политика, и притом политика текущего момента, сильно преобладает в этом сочетании. Отсюда техника — юридические несовершенства декларации, давшие В. И. Ленину повод сравнить ее с непричесанным вихрастым младенцем. Требовать от документа революционной политики безукоризненной юридической чеканки было бы, разумеется, педантизмом. С другой стороны, совершенно неправильна следующая характеристика декларации, даваемая в одном из первых посвященных ей трудов: «Впервые в точных и твердых выражениях закона прошли перед массами дела и лозунги революции» [1]). Выражения декларации не превосходят, а иногда и уступают в точности таким не юридическим документам, как, например, воззвания Коммунистического Интернационала, не говоря уже о тщательно взвешенных и образцово во всех смыслах отредактированных резолюциях партийных с'ездов РКП.

Тем же сочетанием политики с законностью характеризуются общие положения Конституции РСФСР (ст. 9—23). Дабы совершенно уничтожить представление о незыблемости даваемых Конституцией прав, ст. 23 поста-

---

[1]) Г. Гурвич, Основы Советской Конституции, М. 1921, ст. 26.

новляет: «Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в ущерб интересам социалистической революции». Известно, какое широкое применение получила эта статья в практике сельских избирательных комиссий, и какие трудности возникли при согласовании ее с 64 ст. Конституции, определяющей состав советского избирательного корпуса. Мы еще не раз столкнемся с трудностями, возникающими в процессе применения аналогичных норм из других отраслей советского законодательства.

По стопам конституции РСФСР пошли и другие советские конституции. Из них Крымская (ст. 2) отмечает, что политике колонизации и угнетения слабых народностей с приходом Советской власти положен конец. Точно так же нет возврата и к широко применявшейся царским правительством политике разжигания национальной розни. Конституция б. Туркестанской республики полностью воспроизводит декларацию прав и общие положения Конституции РСФСР. Не довольствуясь тем, она в шестом разделе, посвященном бюджету и финансам, опять возвращается к вопросам политики. Финансовая политика Туркестанской республики, пишут авторы конституции, способствует основной цели экспроприации буржуазии, приготовлению условий для всеобщего равенства граждан республики в области производства и распределения богатства (ст. 102). Союзная Конституция 6 июля 1923 г. сохранила установившуюся традицию, предпослав вполне оформленному в юридическом отношении «договору» чисто политическую декларацию об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Декларация содержит политическую характеристику переживаемой эпохи и политические же выводы из этой характеристики. Тем не менее, совершенно очевидно, что декларация дает материал и для юридических выводов в целом ряде первостепенной важности вопросов. Так, пункт в ст. 1 договора относит к ведению союзной власти заключение договоров о приеме в состав союза новых республик. При этом закон не указывает, что вновь принимаемые республики должны быть советскими. Однако из смысла декларации обстоятельство это вводится с непререкаемой ясностью.

III.

Политика в наиболее общем значении этого понятия есть искусство достижения целей. Тесная связь политики и законности в советском праве есть один из видов проникающей его революционной целесообразности. Этой целесообразности подчинено в правовом строительстве Советов все: одно ярко и непосредственно, другое менее заметно, но суть дела от того не меняется. Поэтому трудно согласиться с проф. А. М. Поповым, когда он утверждает, хотя и с чувствительным ограничением, что советское право приемлет законность, как «самодовлеющую ценность» [1]). Здесь именно нужно со всей

[1]) А. М. Попов. Основные течения в марксистской юриспруденции. Новочеркасск 1925, ст. 11.

резкостью подчеркнуть, что такого рода подход — худо ли, хорошо ли — в корне чужд советскому праву. Притом, что особенно интересно, политические начала не являются механически вклеенными в закон. Они введены не теоретическими убеждениями и не «разумной волей» законодателя, а вошли сами собою, как полновластные хозяева, по праву занимающие принадлежащее им место. Совершенно очевидно, что законодатель органически не мыслит себе правовых норм вне ясно и определенно начертанной перед ними цели.

Гражданское право Советов дает многочисленные иллюстрации этой мысли. Уже 1 ст. положительно предоставляет гражданским правам охрану лишь под условием пользования ими в соответствии с их социально-хозяйственным назначением. Ст. 4 раскрывает смысл «социально-хозяйственного назначения», указывая, что граждане республики наделяются гражданской правоспособностью «в целях развития производительных сил страны». Эти принципы получают ближайшее применение в специальных нормах особой части Гражданского Кодекса, а также и других Кодексов, регулирующих хозяйственную жизнь республики. Так, ст. 162 Гр. Код. указывает, что наниматель национализированного или муниципализированного промышленного предприятия обязан вести производство в размерах, не ниже установленного договором минимума. Это требование усиливается придаваемой ему публично правовой санкцией. Указание минимума выработки и срок, в течение коего он должен быть достигнут, должно быть включено в договор под страхом его недействительности. Законодатель, таким образом, не довольствуется собственным интересом с'емщика предприятия в расширении своего оборота и возлагает на подлежащие государственные органы заботу об использовании производительной мощи предприятия в достаточной мере. Ст. 171 Гр. Код. в числе поводов к расширению найма особо оговаривает случай, когда наниматель в установленный срок не давал выработки до указанных в договоре размеров. Подобными же началами проникнут в нашем гражданском праве институт о застройке. По свидетельству Я. А. Бранденбургского («Известия ЦИК» от 5 ноября 1924 г.) институт этот был принят нашим правом с целью преодоления жилищного кризиса. В договоре о праве застройки обязательно указывается срок приступа и окончания постройки, условия поддержания строений в исправном виде и даже условия страхования строений и восстановления их в случае гибели. При этом срок приступа к постройке устанавливается не более одного года со дня заключения договора (ст. 73). Дабы усилить личную заинтересованность застройщиков жилых помещений, закон освобождает их от всех общегосударственных налогов и сборов в течение трех лет со дня возведения строений (ст. 76).

Земельный Кодекс воспроизводит те же принципы еще более отчетливо. Ст. 18 погашает право трудового землепользователя на землю в случае прекращения им хозяйства, а ст. 20 поясняет, что прекращением хозяйства считается действительное неиспользование земли для хозяйственных надобностей землепользователя без уважительных причин в течение трех

лет. По аналогии с договором найма в гражданском праве земельный закон вторгается в отношения, вытекающие из договора аренды. По договору аренды с'емщик обязывается вести хозяйство, как старательный и предусмотрительный хозяин. В договор обязательно включается перечень тех улучшений, которые арендатор обязан произвести (ст. 35). Несоблюдение этих требований хотя и не поражает договор недействительностью, но влечет для с'емщика весьма невыгодные последствия, как можно видеть из ст. 60. Если землепользователь без уважительных причин оставит землю без хозяйственного использования или сдает ее в аренду с нарушением закона, то он земельным обществом может быть временно, на срок не более одного севооборота, лишен права пользования этой землей. Та же участь грозит землепользователям, ведущим хищническое истощающее землю хозяйство (в частности, если они умышленно уклоняются, в ожидании земельных переделов, от внесения в землю имеющегося у них удобрения). Даже на главу семейно-трудового об'единения лиц, совместно ведущих сельское хозяйство, так называемого двора, Земельный Кодекс возлагает известные публично-правовые функции, сводящиеся прежде всего к умелому и рачительному руководству хозяйством. В случае нерадивого ведения хозяйства двора, домохозяин по постановлению волостного исполнительного комитета может быть заменен другим лицом из состава того же двора (ст. 69). На-ряду с тем, законодатель стремится весьма существенными льготами укрепить и усилить естественную склонность хозяев к улучшению их хозяйств. Так, пользователи луговых угодий, произведшие на них коренные улучшения (осушение и другие мелиорации), получают право требовать сохранения за ними этих угодий или возмещения затрат, в случае частичных из'ятий (ст. 131). Для пущего поднятия уровня сельского хозяйства учреждаются в качестве научно-технической основы соответствующих мероприятий совхозы (ст. 160).

Несколько иными чертами отличается наше трудовое право. Как известно, из всех отраслей советского права оно с наибольшей ясностью и непосредственностью отражает интересы пролетариата, как класса наемных рабочих. При этом как будто несколько стушевываются интересы того же класса, организованного в государство и в качестве такового сделавшегося предпринимателем. Но это лишь на первый взгляд. В действительности, наряду с охраной труда идея развития производительных сил получает в Кодексе законов о труде 1922 г. довольно яркое выражение. Комментаторы Кодекса обращают внимание на отсутствие в нем правил об обязанности нанявшегося к тщательному выполнению работы и бережному отношению к материалам и орудиям производства. Ст. 83, правда, разрешает вычет из жалованья работника, повредившего по небрежности или вследствие невыполнения установленных правил вверенные ему орудия и материалы. Отсюда делают чрезмерно осторожный вывод, что требование надлежащего выполнения работы... не противоречит Кодексу [1]). Однако ст. 158 в числе прочих обязанностей фабзавкомов указывает на необходимость содействия нормальному ходу

[1]) Каминская, Советское трудовое право, Харьков 1925, стр. 131—132.

производства в государственных предприятиях и участие через соответствующие профессиональные (производственные) союзы в регулировании и организации народного хозяйства. Выполнение этой обязанности, очевидно, немыслимо без водворения и поддержания производственной дисциплины среди членов союза. При таких условиях надлежащее выполнение работ становится прямой обязанностью нанявшегося, а не только допускается или, согласно приведенному выше выражению, «не противоречит» Кодексу. Законодатель мог добиваться выполнения этой обязанности путем соответствующего построения трудового договора, иначе говоря, путем юридически организованного давления со стороны нанимателя. Вместо того законодатель избрал другой путь: он пытается опереться на дисциплину самих же рабочих через их профсоюзы. Известно, что с начала новой экономической политики эта сторона союзной деятельности отошла на задний план. Проблема ножниц и связанный с нею кризис народного хозяйства побудил профессиональные союзы живее осознать свою роль в качестве участников производства. Борьба за повышение производительности труда в значительной своей части шла под знаменем профессиональных организаций. Трудно сказать, как развернутся в дальнейшем отношения различных агентов производства. Во всяком случае, судьбы статьи 20 Кодекса, освобождающей профсоюзы от имущественной ответственности по коллективным договорам, требуют тщательнейшего исследования. Большинство авторов считает, что статья эта имеет целью обеспечить неприкосновенность кассы профсоюзов и только. Привилегированное положение рабочих союзов в гражданском обороте застилает, так сказать, юридическое зрение этих писателей. Ведь закон говорит об имущественной ответственности профсоюзов, очевидно, в узком смысле слова. Если нанявшаяся сторона не выполняет условий найма, скажем, нормы выработки, наступают последствия по пункту г ст. 47, т.-е. договор теряет силу. Это не значит обязательно, что нанявшийся должен быть уволен, но дает достаточные основания для пересмотра договора в смысле хотя бы снижения ставок заработной платы. Если не понесет, таким образом, прямого ущерба профсоюзная касса, то работающие на данном предприятии члены профсоюзов, разумеется, понесут весьма серьезный ущерб.

IV

Обращаясь к нашему уголовному законодательству, мы замечаем в нем же черты. Уже 5 статья Угол. Код. с безупречной отчетливостью выявляет цель Кодекса, заключающегося в правовой защите государства трудящихся от преступлений путем применения к нарушителям революционного правопорядка наказания или других мер социальной защиты. К этой цели подогнано и даваемое в 6 ст. определение преступления, как всякого общественного действия или бездействия, угрожающего основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянскою властью на переходный к коммунистическому строю период

времени. В противоположность узко-формальному подходу к вопросу большинства буржуазных кодексов здесь обрисовывается социально-политический смысл преступления, как оно понимается в советском праве. Вполне естественно, что этот смысл, иначе говоря, социально-опасная природа преступления, преобладает над какими бы то ни было формально-юридическими моментами. Отсюда вполне последовательно ст. 10 Угол. Код. выводит для суда возможность применить ту или иную меру защиты к деянию, прямо даже не указанному в особенной части Кодекса. Один из комментаторов Кодекса проф. М. М. Исаев совершенно правильно указывает на «декларативные» постановления, как на его важную особенность, и предлагает не упускать из виду даже агитационного значения соответствующих статей.

Почти в тех же выражениях трактуют вопрос и «Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик». Считаясь с раздельностью уголовных кодексов в союзных республиках, основные начала содержат, однако, довольно подробную разработку положений, которые вообще принято относить к общей части. Независимо от того ст. 3 «Основ» сохраняет за Президиумом Союзного ЦИК право в известных случаях указывать союзным республикам роды и виды преступлений, по которым Союз ССР считает необходимым проведение линии единой карательной политики. В отношении расстрела, как высшей меры социальной защиты, «Основы» тут же оговаривают особые права центральной власти Союза: «Применение в качестве меры социальной защиты расстрела по суду подлежит особому регулированию законодательством Союза ССР и союзных республик, — последними в соответствии с директивными указаниями Президиума ЦИК Союза ССР» (ст. 13, прим. 2). Все в целом не оставляет места для изолированного от политики и подчиненного чистой законности судебного действия Уголовный суд является лишь одним из орудий борьбы за пролетарскую диктатуру. По ряду соображений оказалось целесообразным поставить деятельность этого суда лишь в более строгие и определенные рамки, нежели деятельность органов исполнительной власти.

Политический момент в организации суда выступает чрезвычайно ярко, «В целях ограждения завоеваний пролетарской революции, обеспечения интересов государства, прав трудящихся и их об'единений, действует на территории РСФСР единая система судебных учреждений» (Полож. о судостр., ст 1). Характерно, что упрочение и защита советской законности в целом, а не только «прав трудящихся», опущено в этом перечне, хотя, как мы увидим ниже, вопрос о революционной законности играет весьма выдающуюся роль в нашем законодательстве последних лет. В том же Положении о судоустройстве содержатся статьи, из коих вполне очевидна серьезная забота законодателя о поддержании силы издаваемых им норм. Но не это стоит на первом плане. Последовательность целей судебной деятельности, как она очерчена в приведенной выше статье, говорит сама за себя. Прежде всего и выше всего стоит ограждение завоеваний пролетарской революции, т.-е. фактов по преимуществу политического и социально-эко-

номического правопорядка. Дальше идет речь об интересах государства, как организации пролетарской диктатуры. Здесь следует отметить слово «интерес», относящееся точно так же скорее к категории политических и экономических, нежели юридических понятий. И лишь на третьем плане стоят «права», притом права определены по классовому признаку своих носителей. Основной текст Положения о судоустройстве РСФСР принят 31 октября 1922 г. Последующие законы развили и уточнили то же принципы, сохранив их общий характер. Нельзя не отметить, однако, что природа суда, как органа по преимуществу правового, весьма выпукло очерчена в ст. 1 «Основ судопроизводства Союза ССР и союзных республик»: «Задачами суда являются: а) ограждение завоеваний пролетарской революции, рабоче-крестьянской власти и правопорядка, ею установленного; б) защита интересов и прав трудящихся и их об'единений; в) укрепление общественно-трудовой дисциплины и солидарности трудящихся и их правовое воспитание; г) осуществление революционной законности в личных и имущественных отношениях граждан». Настоящий текст подчеркивает значение правопорядка, законности, дисциплины, не упуская упомянуть даже о правовом воспитании. И тем не менее политические моменты выдвигаются в первую голову. Первейшей обязанностью суда является ограждение завоеваний пролетарской революции и рабоче-крестьянской власти.

Начала судебной деятельности вполне отвечают началам судебной организации. Гражданский Процессуальный Кодекс предписывает суду в случае недостатка законов и распоряжений для решения какого-либо дела разрешать его, руководствуясь общими началами советского законодательства и общей политикой Рабоче-Крестьянского Правительства (ст. 4). Это правило получило чрезвычайно широкое, пожалуй, даже слишком широкое применение в судебной практике. Нередко суды прибегали к нему в тех случаях, когда законов и распоряжений было достаточно, но решение, построенное на их основе, противоречило революционному правопониманию или классовому сознанию судьи. Верховный суд методически отменял такого рода решения, но соответствующий уклон с трудом поддается исправлению. История 4 статьи показывает, что уклон этот несет глубокие корни в сознании не только низовых судей, но и высоко ответственных деятелей советского строительства. При обсуждении Гражд. Проц. Код. во 2 Сессии ВЦИК X Созыва т. Преображенский высказал опасение, что часто, на основании чисто формальных соображений, суд вынужден бывает принять решение, противоречащее интересам трудящихся и противоречащее существу самого суда в советском государстве. Оратор предлагал поэтому переделать текст статьи, указав, что, при столкновении начал формальной законности с основными задачами советского суда, преимущество получают последние, и дело разрешается в соответствии с общими началами советского законодательства и общей политикой рабоче-крестьянской власти. Поправка т. Преображенского оказала некоторое влияние на окончательный текст ст. 4, но в целом принята не была. В комиссии возобладала точка зрения НКЮ, отстаивающаяся Я. А. Бранденбургским и в основном сводившаяся к тому, что револю-

ционное правосознание закреплено и выявлено в форме кодексов, и что при таких условиях оно не может, как правило, служить, помимо закона, непосредственным источником разрешения дел.

V

Из всех кодексов, обычно применяемых в наших судах, уголовно-процессуальный является, пожалуй, наиболее сухим и деловым в том смысле, что совершенно не содержит статей декларативного содержания. Стиль его отличается особливой точностью и полным отсутствием расплывчатости понятий. Однако новеллой от 9 февраля 1925 г. Президиум ВЦИК и СНК дополнили его знаменитой ст. 4-а, представляющей без преувеличения целую революцию в уголовном судопроизводстве. До введения в действие этой статьи, уголовное производство, раз начатое по признакам какого-либо преступления, автоматически двигалось по указанному законом направлению и либо заканчивалось судебным приговором, либо прекращалось по строго определенным мотивам (смерть обвиняемого, истечение давности, отсутствие состава преступления в послуживших предметом производства действиях и т. п.). 4-а статья устанавливает совершенно новый принцип. Деяние может содержать в себе признаки преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом, но не является в то же время общественно опасным, вследствие своей незначительности, маловажности и ничтожности своих последствий. В этом случае дело не должно возбуждаться, а раз возбужденное подлежит прекращению. Признаки незначительности, маловажности и ничтожности последствий допускают, конечно, различные толкования. Мелкие скандалы, самоуправства и т. п. деяния — каждое в отдельности — вполне подойдут, пожалуй, под эти признаки. В то же время суд может найти, что оставление подобных проступков без судебной репрессии может поощряющим образом действовать на известные категории граждан и тем самым косвенно способствовать развитию этой преступности, по качеству мелкой, но по своему обилию являющейся одним из бытовых бичей. В завкоме совершена растрата на ничтожную сумму 20—30 рублей, защитник просит о прекращении дела по его ничтожности. Суд усматривает, что растрата совершена членом партии, лицом, пользовавшимся доверием рабочих и употребившим его во зло, что при таких условиях прекращение дела может быть дурно истолковано массами, и отказывает в ходатайстве защиты. Это типический и в то же время весьма яркий случай, показывающий, что соображения общей и карательной политики должны играть выдающуюся роль в случаях применения ст. 4-а Угол. Проц. Код.

Ничтожность последствий является не единственным основанием прекращения дела по 4-а статье. Там же предусматривается случай, когда возбуждение уголовного преследования или дальнейшее производство дела представляется явно нецелесообразным, при чем вопрос о целесообразности разрешается независимо от запроса о значительности дела. Вполне очевидно, что здесь открывается широчайший простор для творческой работы суда.

Обвиняемый, обиженный соседом, сгоряча спалил принадлежащий тому сарай. Возбуждено дело о поджоге (197 ст. Угол. Код.). В стадии предварительного следствия выясняется, что поджигатель — честный, работающий крестьянин из середняков, никогда не судился, на преступление был подвинут тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, с которым в настоящее время примирился, и загладил причиненный тому вред. Перед судебными органами стоит вопрос о прекращении дела по ст. 4-а, но их останавливает опасность преступления, от которого в деревенских условиях могли пострадать совершенно непричастные к обиде обвиняемого односельчане, и в конце концов выносится уголовный приговор. Весьма распространенными и типическими являются дела по обвинению в изнасиловании (ст. 169 Угол. Код.). Пока идет производство, обвиняемый и потерпевшая успели пожениться и завести общее хозяйство. Применение ст. 4-а напрашивается само собой. Однако истинным торжеством советского правосудия являются случаи применения этой статьи к контр-революционным преступлениям. Водопроводчик Шестаков и маломощный крестьянин Шестеров в начале 1919 года, когда их деревня была занята войсками Колчака, убили инструктора Всеобуча, коммуниста Пигалева. За это деяние один из них был приговорен к пяти годам лишения свободы, а другой к расстрелу. По кассационным жалобам осужденных дело поступило в Уголовно-Кассационную Коллегию Верхсуда, которая, всесторонне обсудив его, вынесла следующее определение:

«Учитывая, что со времени совершенного Шестаковым и Шестеревым преступления прошло свыше 6 лет, что само преступление ими совершено в острый период гражданской войны не как классовыми врагами, а по несознательности, поскольку они являлись лишь слепыми исполнителями воли сознательных предателей рабоче-крестьянского дела, что за все последующее время они никаких преступлений не совершили, а вели честную трудовую жизнь, — малограмотный Шестаков все время до 1924 года работал плотником и водопроводчиком, а неграмотный Шестерев занимался хлебопашеством, — вследствие чего они в настоящее время не представляют никакой социальной опасности и содержание их под стражей ничем не вызывается, а, наоборот, является нецелесообразным; поэтому, не передавая дела на новый судебный разбор, таковое в порядке ст. 4-а УПК производством прекратить с немедленным освобождением Шестакова и Шестерева из-под стражи».

По другому аналогичному делу мелкий железнодорожный служащий Сметанин обвинялся в том, что после Октябрьской революции, состоя членом партии народных социалистов, активно боролся против Советской власти и в частности содействовал чехословакам. После того он долгое время с безупречной честностью и усердием работал в НКПС, показал себя прекрасным во всех отношениях работником на весьма ответственных должностях и лишь в 1924 году был привлечен к судебной ответственности. Челябинская выездная сессии Уральского областного суда приговорила Сметанина к расстрелу, а применив ряд амнистий, заменила расстрел пятью годами лишения свободы. Пленум Верховного Суда, до которого дошло это дело, вынес следующее определение:

«Ввиду давности совершенного преступления, полного признания своей виновности и чистосердечного раскаяния Сметанина, что доказано им в течение пятилетней безупречной и полезной работы в НКПС, а также на общественной работе при Советской власти, и имея также в виду отзывы о Сметанине ряда ответственных работников НКПС, — пленум Верховного Суда, не считая целесообразным применение к Сметанину какой бы то ни было меры социальной защиты, ввиду того, что он в настоящее время не является уже социально-опасным, — постановляет: приговор Челябинской выездной сессии Уральского облсуда от 30 января 1925 года и определение УКК Верхсуда от 5 марта того же года по настоящему делу отменить и дело дальнейшим производством, за нецелесообразностью, на основании ст. 4-а УПК производством прекратить.

Этими определениями советское правосудие поистине может гордиться. А между тем, и они и ст. 4-а Угол. Проц. Код., из смысла которой исходил в своих рассуждениях Верховный Суд, представляет не что иное, как своеобразный, но очень прочный сплав политики и законности, являющийся продуктом особенностей советского правопорядка. Закон впитал в себя политику и, так сказать, в совершенстве ее освоил. Следуя формально-юридическому ходу мышления, виновных в столь тяжких преступлениях, как те, что вменялись в вину Шестакову и др., надлежало примерно покарать. Назначенное им вместо расстрела лишение свободы отвечало, пожалуй, и тем требованиям гуманности, которыми любит иногда щегольнуть наука уголовного права. Но свобода вместо расстрела и долгосрочной тюрьмы — плод веяния живой жизни, взбунтовавшей неустойчивую логику догмы. Людей не наказывают просто потому, что в данном случае наказание бесцельно. Гуманность тут не при чем. Если бы потребовать для ограждения рабоче-крестьянского государства, их расстреляли бы без долгих слов. Но в 1919 году была одна политика, правильная и разумная по тогдашнему времени, теперь — другая, отвечающая изменившимся обстоятельствам.

VI.

Здесь мы подошли к вопросу о целесообразности, как коренном свойстве советского права. По Иерингу цель является творцом всего права. Известно, однако, что теория Иеринга выступила как реакция против господствовавшего в юридической теории и практике нормативного фетишизма. Известно далее, что реакция эта далеко не может считаться победоносной. Мною в другом месте приводились достаточно многочисленные примеры господства правового фетишизма спустя долгое время после Иеринга. Как правило, он господствует и поныне, маскируясь покрывалом священной и нелицеприятной законности. Советское право впервые в истории подрывает обожествление правовой нормы, пытаясь построить новую, революционную законность, в полной мере основанную на целесообразности. Многие писатели думают, что задача эта выполнена, и говорят о «техничности» или «инструментальности» советского права. На деле мы весьма еще далеки от той ступени развития, на которой

право приобретает сказанный характер. Для этого требуется две предпосылки, в данное время отсутствующие: во-первых, высокое совершенство самого права, как мощного, математически выверенного и с идеальной точностью действующего орудия, а, во-вторых, особенное состояние материала, с коим оперирует право, т.-е. человеческого общества. С обеими предпосылками дело у нас обстоит в достаточной мере печально. Слабое совершенство нашей законодательной техники общеизвестно. Почти ни один год не обходится без множества поправок, вносимых к нашим кодексам и зачастую производящих весьма крупные изменения. Правда, плюсом можно счесть то обстоятельство, что раз обнаруженные ошибки исправляются с отменной быстротой, но быстрота работы не всегда равнозначна с ее достоинством. Если просмотреть материалы, относящиеся до истории нашего законодательства, легко будет отыскать не мало примеров, когда поправки, только что принятые к основному тексту, через несколько месяцев сами исправлялись различными вставками и дополнениями. Вот несколько примеров.

Конституция РСФСР 10 июля 1918 г. выработала известное правило, определявшее строение и права городских Советов. Уже к 1920 году обнаружилась необходимость в изменении и дополнении этих правил, что и было выполнено отчасти постановлением VIII с'езда Советов, отчасти циркулярами Президиума ВЦИК от начала 1921 года. Меньше чем через год, 26 января 1922 года, выходит положение о Советах губернских и заштатных городов и поселков городского типа. Исследователь вопроса справедливо отмечает противоречие этого положения с сохранившими юридически силу ст. ст 58 и 63 Конституции РСФСР [1]). Несмотря на то, «Положение» вступило в действие. Однако 31 декабря того же 1922 г. «Положение о губернских с'ездах Советов и их исполнительных комитетах» вносит новое изменение в порядок деятельности горсоветов, изымая у них целый ряд функций, передаваемых губисполкомам. В 1923 и 1924 гг. неоднократно констатируется неудовлетворительное состояние горсоветов, а в начале 1925 года заходит речь о необходимости общего пересмотра компетенции этих органов [2]). Еще более пеструю картину представляет наше жилищное законодательство. Достаточно вспомнить хотя бы историю вопроса об административных выселениях и переселениях. Первоначально установленный принцип гласит, что выселение граждан из жилых помещений может производиться лишь по суду. Затем почти ежемесячно следовали новеллы, изменявшие и ограничивавшие это положение. Сначала было допущено административное выселение из домов ВЦИК и ВЦСПС, затем такие же льготы были предоставлены домам коммуны, администрации студенческих общежитий, коммунистических университетов и, постепенно расширяясь, охватили весь обширный круг домов, состоящих в распоряжении ведомств. С конца 1924 года начинается обратное течение. Предоставленные по административному выселению права постепенно огра-

---

[1]) А. Н. Ананов, Обзор действующего положения в горсоветах, — «Советское Право» 1925 г., кн. 1.

[2]) Там же, ст. 71.

ничиваются, пока, наконец, в отношении рабочих и служащих сходят почти на-нет. А весна 1925 года снова ухудшает положение той категории трудящихся, которая проживает на территориях, подведомственных НКПС.

Говоря о несовершенстве советской законодательной техники, я имею в виду не столько недочеты редакции и кодификации, сколько слабую подготовку и установку законов на их действие в жизни. На вопросах, связанных с исполнением права, мне случалось уже останавливаться в другой моей работе «Право и быт». Там же до некоторой степени обследованы и описаны те из свойств обрабатываемого правом материала, которые затрудняют работу законодателя. По поводу недостатков наших декретов можно, разумеется, сказать, что они вполне об'яснимы новизной дела, трудностью работы в необычайно сложной обстановке революции и т. п. Дело, однако, не в том, чтобы порицать или оправдывать ошибки, а в том, чтобы обнаруживать и устранять их причины. По сравнению с буржуазным законодателем советский пользуется серьезными преимуществами: 1) он имеет возможность опираться на активность огромных пластов трудящихся; 2) он обладает мощным рычагом революционной диктатуры, следовательно, свободен от сопротивления враждебных и соперничающих партий и группочек; 3) он вооружен марксистским методом и отчетливо знает, что закон основывается на жизни, а не наоборот. Основная ошибка кроется в нарочитом преувеличении силы декрета и слабом учете реальной сопротивляемости среды, иными словами, по частным поводам повторяется одно из основных заблуждений геометрически мыслившего главкизма эпохи 1919—1920 г.г. Когда закон будет действовать в бесклассовом, высококультурном и дисциплинированном обществе, расчет его действия будет почти так же прост, как расчет скорости тепловоза или силы давления гидравлического пресса. Пока закон действует в обществе классовом, на 4/5 состоящем из разрозненных мелких производителей и вдобавок усложненном пестрым переплетом социалистических и частно-собственнических элементов, — он остается **правом** в подлинном смысле этого слова, т.-е. не только регулирующей жизнь нормой, но и сферой частного интереса, упорно защищаемой управомоченным лицом. Частный интерес отнюдь не всегда совпадает с преследуемой законодателем целью, однако он охраняется и, более того, стремится утвердить свою самодовлеемость, свою внутреннюю ценность. Это удается ему, не вполне, но удается. И чистая «экономическая» целесообразность ущербляется знакомыми нам уже идеологиями законности и справедливости.

Коммунист-бунтарь.

(Григорий Иванович Котовский).

М. Барсуков.

Я у богатых видбираю,
Тай всих бидных надиляю.
Тра всих бидных надиляты,
Щоб гриха не маты.
(Из песни о бессарабском народном герое Кармалюке.)

И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей,
Стремление бурных ополчений
Тревоги стана, звук мечей.
(Пушкин.)

1.

Мы не склонны к увлечению отдельными людьми. Слово «герой» звучит у нас неубедительно. И это не потому, что нас полонила «догма» марксизма, установившего роль личности в истории. Нет — мы слишком глубоко обнажили процесс исторического действия, слишком многое развенчали и в своей массе увидели за масками геройства и подвига обычные человеческие черты, чтобы не освободиться от некоторых слов, природа которых целиком связана с дуалистическими иллюзиями. Но нивелирующая сила революции не должна скрыть от нас образцов, показавших особую напряженность революционного действия.

А у нас бывает, что мы многое не только недооцениваем, но упускаем совсем.

И вот — что мы знаем о таком живописном, огромном и в то же время трагически-простом образе, как Котовский?

Почти ничего! И когда по свежим следам, после его смерти пытаешься уловить этот образ, то сталкиваешься прежде всего с чрезвычайной скудостью материалов, уцелевших почти исключительно в памяти отдельных товарищей. Но, не говоря о скудности материалов, нужно все же сказать и о том, что рассказы его друзей, газетные отрывки, передачи из третьих уст, граничащие с легендой, официальные реляции и, наконец, личные мате-

риалы самого Котовского, — все это слишком еще поражает картинной пестротой близких дней, чтобы с должной полнотой увидеть в них черты незаурядного борца.

Котовский — дворянин. Он пришел в революцию не с заводских окраин и не из батрацких шалашей. Более того, Котовский вступил в революционную борьбу на четвертом десятке, не восприняв опыта какой-либо политической партии, так или иначе связанной с пролетариатом. Пути, которыми эта связь, однако, осуществлялась, у Котовского чрезвычайно пестры и искривлены.

Нервный мальчик, заика — Котовский воспитывался в богатом имении родовитого бессарабского князя Манук-Бея, где инженером винокуренного завода служил отец Котовского. И еще мальчиком Котовский проявлял черты той бурной, свободолюбивой натуры, которая позднее развернулась во всю ширь.

Отданный в реальное училище, он не окончил его из-за «плохого поведения». Уволенный оттуда, он поступает в сельско-хозяйственное агрономическое училище.

16 лет Котовский остается круглым сиротою.

Уже во время пребывания в школе, в начале 1903 года, Котовский познакомился с кружками социалистов-революционеров и в том же году — семнадцатилетним мальчиком — был впервые арестован Кишиневским губернским жандармским управлением. Три месяца Котовский просидел под следствием, но за отсутствием улик был освобожден.

На следующий год Котовский поступает практикантом по сельскому хозяйству в имение богатого бессарабского помещика Кантакузино. Здесь он сталкивается лицом к лицу с тем, что представляли из себя в ту пору «культурные» помещичьи хозяйства. Экономия Кантакузино носила все черты таких хозяйств — ни с чем не сравнимая эксплоатация труда батраков, двадцатичасовой рабочий день, заколдованный круг барского произвола. Котовскому не нова была картина этого бесправия, но здесь впервые он должен был стать в одну шеренгу с эксплоататорами.

Это пришлось не по духу молодому Котовскому, с ранних лет искавшему наиболее свободных отношений в окружавшей его среде.

В это же время у Котовского происходит личное столкновение с помещиком, у которого он служил. Княгиня Кантакузино, которая теперь служит буфетчицей в «Русском трактире» в Америке, увлеклась молодым, самоуверенно державшимся практикантом. Князь, узнав о чувствах княгини, — под горячую руку замахнулся на Котовского арапником. Но Котовский ловким движением обезоружил его и, схватив за пояс, выбросил из конторы, где это происходило. Князь полетел с жалобой в Кишинев.

С этого момента Котовский начинает мстить той среде, в которой он вырос. Имение князя пылает, подпаленное Котовским.

Корабли были сожжены, отступать не приходилось. Слух о Котовском, нападающем на помещичьи имения и грабящем их, разносится по всей Бессарабии.

Котовский собирает вокруг себя группу из 10—12 человек, которые наводят панику на всю дворянскую Бессарабию. Его группа — отчаянные и готовые на все, что им прикажет Котовский, люди. Не один из них был на каторге и бежал оттуда. Особенно славился Т., который бежал из каторги морем на плотике.

Помещики пытаются оклеветать Котовского, именуя его бандитом. Но и они так же хорошо, как крестьяне, сознают политический смысл выступлений Котовского. Этого нельзя было не видеть, потому что все нападения, которые тогда делал Котовский, имели слишком яркий и неприкрытый политический характер.

Вот он, окружив в лесу пеший отряд крестьян, задержанных за аграрные беспорядки и препровождаемых под усиленным конвоем в Кишиневскую тюрьму, освобождает их. В книге старшего по команде остается его расписка: «Освободил арестованных Григорий Котовский».

В одном поместьи, неподалеку от Кишинева, сгорела деревня. Необходимо помочь погорельцам. Для этой цели Котовский решает «использовать» одного из кишиневских ростовщиков.

Когда Котовский пришел в дом этого ростовщика, его встретила девушка — дочь последнего.

— Папы нет дома, — ответила она на вопрос пришельца: — вы можете подождать его, если вам это угодно.

Котовский остается и в ожидании ростовщика занимает барышню, очарованную его любезным обращением.

Входит ростовщик. Котовский представляется ему. Истерики, мольбы. Котовский успокаивает отца и дочь, бежит за водой и, в конце концов, получает деньги, которые ему нужны. Уходя, он оставляет несколько любезных слов в домашнем альбоме.

Падкое к капризам человеческой судьбы и к мрачному очарованию разбойничьих повестей, мещанство делает из Котовского божка, которому готово молиться и которого поносит в то же время. В Кишиневе рассказывают не то анекдот, не то быль о помещике Негруше, который похвастался своей неуязвимостью и заявлял, что он не боится Котовского. У него прямо из кабинета был проведен звонок в полицейский участок. Нажал кнопку на полу и — полиция на ногах. Каков же был ужас и какова была поза Негруша, когда явившийся к нему Котовский скомандовал: «ноги вверх».

Или — вот. Званый вечер в доме богатого помещика Крупенского. На вечере крупнейшие земельные собственники — Синадино, Семиградов и в их числе — Котовский. Его пригласил знакомый Крупенского, встретившийся с ним в гостинице, где Котовский проживал на амплуа крупного провинциального помещика. Умный и блестящий провинциал привлекает к себе на вечере у Крупенского общее внимание.

Идет разговор о Котовском.

Один из гостей «второго сорта», низкопоклоннически обращаясь к Крупенскому, говорит:

— Ну, если бы Котовский попался к вам, вы бы ему намяли бока.

— Да, от меня он бы здоровым не ушел, — стуча пальцами по столу, говорит Крупенский.

Котовский вмешивается в разговор и спрашивает хозяина:

— А что бы вы действительно сделали, если бы Котовский неожиданно явился к вам?

— Что я сделал бы? Я взял бы заряженный браунинг, который у меня лежит на стуле у кровати, и, не будь я Крупенский, если бы я не раскроил ему голову.

В ту же ночь, как только раз'ехались гости, на квартиру Крупенского — налет. Но Котовский не был лишен чувства юмора. Крепко спящего хозяина он и не потревожил, забрал только у него дорогой ковер — подарок шаха персидского—и палку с золотой отделкой, подаренную эмиром бухарским. На браунинге, лежащем у кровати, оставлена записка: «Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати».

На следующий день Крупенский полетел к губернатору. От губернатора и по всем инстанциям вплоть до самых низших был сделан энергичный нажим: поймать Котовского во что бы то ни стало! И вот пристав Хаджи-Коли делает ловлю Котовского своей профессией.

Но полиция, кроме того, под шумок и под прикрытием налетов Котовского, обделывает свои корыстного свойства делишки.

Пользуется известностью в этом отношении дело о налете на Костюженскую психиатрическую лечебницу, находящуюся под Кишиневом. Налет был хорошо организован и совершен в удачный момент, когда в кассе больницы имелась крупная сумма денег. Во время налета произошла перестрелка, от которой пострадал низший персонал лечебницы.

По Кишиневу разнеслись слухи — будто бы нападение на лечебницу дело рук Котовского. А через день после этого к Хаджи-Коли кто-то позвонил ранним утром в квартиру.

Пристав сам вышел открыть дверь.

— Хаджи-Коли, — сказал приставу Котовский, стоявший в дверях, — не трудитесь уходить и выслушайте меня. В городе распространяются непозволительные слухи, будто я ограбил Костюженскую больницу. Это ложь. На больницу напала банда, действовавшая в контакте с полицией. Обыск у помощника пристава откроет вам все дело.

Еще цепенели перед дверью глаза Хаджи-Коли, когда Котовский, притворив дверь, уходил быстрыми шагами по улице.

В результате — возник сенсационный процесс, на котором, кроме бандитов, фигурировали в качестве подсудимых два околоточных надзирателя и помощник пристава.

Правда, в конце концов, усердный пристав поймал Котовского. Триста полицейских приехали на конях в одно из поместий, где, по сведениям полиции, он должен был находиться. Препровожденный под конвоем в Кишинев, Котовский по дороге бежал.

Другой полицейский чиновник Зильберг так увлекся преследованием Котовского, что был им арестован. Но Котовский не сделал ему вреда. Взяв

с Зильберга слово, что он не будет преследовать его дружину, Котовский отдал преследователю вещи, взятые им у Крупенского, с тем, чтобы одну из них он возвратил помещику. Зильберг не оправдал доверия Котовского и вещей Крупенскому не передал, но преследовать Котовского с особым рвением больше не решался.

В то время ходили слухи, что в дружине Котовского чуть ли не несколько сот человек, хотя дружина и принимала несколько раз бои со стражниками. Газеты кричали о похождениях Котовского. Все попытки ославить его бандитом — проваливались. Котовский отбираемые у помещиков деньги раздавал беднейшему крестьянству. Большие суммы вносил в губернский комитет партии социалистов-революционеров.

Долгое время полиция не знает примет Котовского. Он свободно приезжает в Кишинев в собственном экипаже, останавливается в перворазрядных гостиницах и гуляет по городу.

Котовский посещает и Одессу. И там он проводит ряд налетов на банки, крупные магазины. Это было в то время, когда сдался «Потемкин» и в Одессе по крышам домов летали «черные вороны».

Полиция организует для поимки Котовского банду уголовных и, в конце концов, зимой 1906 года, проданный властям за десять тысяч рублей одним провокатором, Котовский арестован и посажен в Кишиневский тюремный замок. Об его пребывании и побегах из Кишиневской тюрьмы подробно и ярко рассказал бывший политкаторжанин Семен Сибиряков [1]).

В тюрьме Котовский спокойно не сидел ни одного дня. Пользуясь огромным авторитетом среди заключенных в тюрьме, Котовский организует грандиозный побег. План побега таков. Котовский предполагает разоружить всю тюремную и воинскую охрану, захватить тюрьму в свои руки, вызвать по телефону в тюрьму товарища прокурора, полицеймейстера, приставов и жандармских чинов для того, чтобы по одиночке арестовать их и запрятать в карцер. Затем — вызвать конвойную команду, якобы для производства повального обыска, разоружить и ее и, имея в своем распоряжении одежду и оружие арестованных, инсценировать отправку большого этапа в Одессу. Дорогой захватить состав поезда, чтобы следовать дальше по своему усмотрению.

Тюрьму опоясывает высокая ограда. Снаружи у ворот и вокруг тюрьмы — часовые. Внутри ограды также часовые — через каждые двенадцать сажен. У ворот — караульное помещение. Между корпусными и решетчатыми воротами — тюремная контора. Во дворе и в коридорах — четырнадцать постовых надзирателей.

В общем, нужно было обезоружить больше пятидесяти человек.

Среди бела дня, во время прогулки, арестованные берутся за дело. Двое постучались из одиночки и попросились в уборную. В то время, как надзиратель выпускал их, на него набросились и обезоружили его. Один револьвер

[1]) Семен Сибиряков, Григорий Иванович Котовский, изд. Общества бывших политкаторжан и ссыльных, М. 1925.

был уже в руках арестованных. Под его дулом сдался надзиратель другого коридора и — так дальше.

Наблюдавших за прогулками надзирателей заманили к ходу в карцер и также арестовали.

Но каждую минуту через волчок корпусных ворот мог заглянуть привратник и, заметив отсутствие надзирателей, поднять тревогу.

Котовский пустился на хитрость. Он направился с газетой к воротам, давши распоряжение собрать всех, чтобы об'явить царский манифест. Развернув около волчка газету, так, чтобы заслонить привратнику вид из волчка, Котовский стал кричать:

— Эгеей, манафес! манафес!

Вся тюрьма высыпала к корпусным воротам. В тот момент, когда привратник открыл широкий волчок, Котовский цепко схватил его за горло и притянул к воротам. У привратника, путем ряда комбинаций, были отняты ключи. Ворота открылись.

Все дальнейшие действия были проведены с той же чистотой. Дело только в том, что надзиратель, у которого были ключи от последних ворот, в то время, когда его арестовывали, перебросил их через ограду. И пока в кузнице делали новые ключи, два каторжанина-предателя, боясь мести товарищей, приставили доску к стене и в кандалах пустились бежать через ограду. Из находящегося недалеко от тюрьмы полицейского участка, заметили побег и открыли стрельбу. Котовский увидел неожиданное крушение своего плана и впереди всей тюрьмы бросился в ворота напролом. Ворота сорваны и широкая волна арестантов заливает Сенную площадь. Но навстречу арестантам уже спешат воинские части. Все снова арестованы и водворены на свои места. Котовский, раненый, отступает, держа в обеих руках по револьверу. В своей камере он баррикадируется и заявляет:

— Оружие сдам, когда губернатор приедет и даст слово, что не будет избиения.

Губернатор приехал. Тогда Котовский выбросил оружие из окна.

И вот Котовский сидит в специально для него отделанной «железной» камере — восемнадцатисаженного Кишиневского тюремного замка.

Но, в конце концов, и оттуда Котовский решается бежать.

К Котовскому как-то приходит на свидание жена видного административного лица. При свидании присутствует помощник начальника тюрьмы Вебело. Тюремный чиновник не хочет стеснять влиятельную даму и поворачивается лицом к окну. В это время Котовский получает принесенные ему дамой шелковую веревку, браунинг, пилку и усыпляющие папиросы.

После поверки, закурив папиросу, Котовский шагает своими мелкими, быстрыми и твердыми шагами по камере. Тут же надзиратель Бадеев.

Григорий Иванович пускает клубы дыма и похваливает папиросы. Бадеев, соблазнившись, берет из протянутой ему коробки папиросу. Котовский устраивается ко сну. Он весь в напряжении и слушает, как звенит тюремная тишина. Бадеев заснул.

Котовский поднялся, перепилил две решетки, выгнул их наружу и, прикрепив шелковую веревку, спускается с высокой башни во внутренний двор.

Внизу стоит надзиратель Москаленко. Он замечает скользящую по башне тень. Котовский чутьем понял, что Москаленко его видит и по тому, что внизу все-таки было тихо, догадывается, что надзиратель стоит ни жив, ни мертв.

Котовский продолжал спускаться.

— Григорий Иванович, это вы? — слышит он голос снизу.

— Я, — ответил Котовский, — а это вы, Москаленко?

— Я, Григорий Иванович, я... Только ради бога не трожьте меня.

— Что ты, друг мой милый, давай-ка сюда затвор, — говорит Котовский, подходя к надзирателю.

— Да вот помоги лестницу приставить. Поднимать тревогу тебе нет расчета. Ночь темна, не заметят, — ты благополучно сменишься.

Забравшись на стену, Котовский бросает вниз затвор от винтовки.

Суду впоследствии так и не удалось установить, на чьей смене бежал Котовский.

Побеги, которые Котовский совершал теперь и впоследствии, стоили ему огромных затрат энергии. Он производил колоссальную подготовку, — огромная работа мысли и воли совершалась в этом направлении. Нужно было во время побегов преодолевать большие физические препятствия, и для того, чтобы достичь этого, Котовский месяцами, а впоследствии и годами, занимался в тюрьмах гимнастикой. Как скряга, берег он свое здоровье, чтобы в нужный момент из-за одного мгновения слабости не рухнул весь план.

После побега из железной камеры, Котовский пробыл на воле не больше месяца. Его снова поймали, ранили в ногу — он бежал с раненой ногой — и через три дня, преданный провокатором, опять находился в тюрьме.

Но тюрьма уже не рада была этому примечательному гостю. Он терроризировал тюремщиков. Они все время ждали с его стороны подвохов.

Котовский неослабно борется с тюремной администрацией, не допускает ни малейшего ухудшения режима. Все попытки начальства «завинтить» тюрьму не удаются.

Котовский заявил начальнику тюрьмы, что он не допустит ежедневных личных обысков, и его никогда не обыскивали.

Тюремщики организуют против Котовского поход уголовных. Главари уголовных недолюбливали Котовского — он попирал их старые тюремные традиции. Один из уголовных Загари организует вокруг себя группу, которая решает убить Котовского.

Они сговариваются ошпарить Котовского в бане горячим кипятком и добить шайками.

В другой раз они устроили ему засаду в уборной. Трое из них караулили с двух сторон при входе. Котовский открыл дверь и, уловив направленные на него взгляды, быстро вошел в уборную, но прежде чем на него набросились сзади резко обернулся и направил браунинг на растерявшихся заговорщиков.

Обо всех приготовлениях бандитов Котовский обычно знал заранее: друзья предупреждали его. Но он всегда шел в открытую — навстречу подготовлявшемуся на него покушению.

В конце концов уголовные сделали одно нападение, которое им наполовину удалось. Они схватили Котовского во дворе, и Загари уже занес руку с ножом над Котовским, когда один из друзей последнего огромным булыжником хватил Загари по голове.

Котовского переводят в образцовую Николаевскую каторжную тюрьму, как осужденного на десять лет каторги. Потом Смоленская каторжная тюрьма, Орловская и, наконец, Сибирь — Нерчинская каторга. Работа в шахтах. Зимой 1915 года Котовский убивает двух конвоиров, охранявших выход из шахты — и бежит.

Тайга. Тысячи верст бездорожья. Благовещенск, Чита, Иркутск, Томск. В Томске Котовский связывается с обществом землемеров землеустроительной комиссии. Явки, липовые паспорта, нелегальная жизнь.

Потом Котовский бежит в Европейскую Россию. Работает на Волге в качестве грузчика, чернорабочего на постройках и в помещичьих имениях, кочегаром на мельнице, помощником машиниста, кучером, разливщиком на пивоваренном заводе, молотобойцем, рабочим кирпичного завода и на постройке железной дороги.

Везде Котовский будит ненависть к эксплоататорам.

В Балашове Котовский работал на строившейся мельнице. Он выдвинулся своей силой. Его назначили десятником. Как-то, когда Котовский был в конторе, хозяин попросил его составить список рабочих.

Котовский составил список, потом направил на хозяина револьвер и скомандовал: «руки вверх», забрал у хозяина деньги, купил автомобиль и удрал.

Конспирация, долгая выдержка вообще были чужды Котовскому. И случалось, что когда Котовскому хотелось увидеть волю или почувствовать себя свободней, то он презирал всякую опасность.

В 1919 году, при деникинщине, Котовский оказался в Одесском подпольи. И вот однажды он — любитель музыки, сам прекрасно игравший на корнет-а-пистоне — захотел пойти посмотреть «Евгения Онегина».

В цилиндре, в смокинге, прокативший с шиком на дутиках через шумные, веявшие мартовским теплом одесские улицы, Котовский приезжает в театр.

Первый акт проходит благополучно, так как Котовский поспел как раз к началу. Но в антракте, в первую же пару минут, в бенуаре, где сидел Котовский, разносится слух об его присутствии.

А еще через несколько минут театр оцеплен сыскной полицией. Шпики юлят в фойэ и зрительном зале.

Публика с ужасом и восхищением следит за медленно идущим в проходе между кресел Котовским. Он чувствует облаву. Приходится действовать решительно и бить на психологию полицейских агентов.

Полиция, предполагая, что Котовский постарается улизнуть из какого-нибудь бокового хода, буквально все щели забила своими агентами.

Котовский же прямо направляется к главному выходу. Одев лоснящийся цилиндр, он медленно спускается по лестнице, сияющей огнями, и в упор смотрит своими черными, напористыми глазами в глаза полицейского агента, стоящего в вестибюле. Сыщику остается радоваться. Тот самый Котовский, за поимку которого назначена награда в 50.000 рублей, сейчас будет в его руках. Котовский идет спокойно и, поравнявшись с сыщиком, вынимает из кармана сигару. Откусывает кончик и, выбросив его, подходит к агенту.

— Разрешите прикурить у вас.

Тот поднимает папиросу, нервно застывшую в руке, и подносит ее к сигаре Котовского. Через несколько секунд Котовский «на сетке» мчится по улицам Одессы, а сбитая с ног полиция, готовая биться головой об стенку, свистит дробовым свистом.

В 1914 году Котовский направляется в Бессарабию. Он попадает там на службу к одному помещику. Об его пребывании в Бессарабии никто не знает, но он сам выдает свое пребывание, давши однажды 200 рублей пострадавшему от пожара крестьянину и сообщив ему свое имя. Тогда за поимку Котовского берется сам департамент полиции. Из Петрограда, Москвы и Киева присылаются лучшие шпики. Фотография Котовского в тысячах экземпляров разослана во все города. На всех железных дорогах готовятся схватить Котовского.

Котовский же снова проводит свою террористическую работу.

В конце концов провокатор предает Котовского. Несколько сот человек жандармерии нахлынули внезапно ночью в одно из имений, где был Котовский. Отчаянная борьба. Котовскому простреливают грудь и с закованными руками и ногами, с большой помпой везут его на автомобиле в Кишиневский тюремный замок, а затем в Одессу.

К Котовскому в тюрьме применяют исключительный режим.

Одесский военный губернатор нажимает на следственные власти, чтобы скорее было закончено дело и чтобы Котовского можно было повесить. Котовский готовит побег. План побега проваливается. В воздухе уже пахнет Февральской революцией. Котовскому не миновать бы виселицы, но его мужественная, колоритная фигура, представшая на суде, произвела на присутствовавших настолько сильное впечатление, что некоторые одесские «общественные» группировки подняли вопрос о помиловании Котовского. Генеральша Щербакова добилась разрешения показать Котовского на балу гостям. Это спасло Котовского — казнь была отложена на три дня. В это время разразилась Февральская революция.

Но еще после Февральской революции Котовский остается несколько времени в тюрьме: новая власть, ославив Котовского, как бандита и уголовного налетчика, не хочет освободить его. Но, наконец, он выходит из тюрьмы. В городском оперном театре Одесский Совет Рабочих, Крестьянских, Матросских и Солдатских Депутатов продает с аукциона ручные и ножные кандалы Котовского за 10.000 рублей.

Котовский едет на фронт. Это было в мае 1917 года.

Он храбро сражается в рядах армии, получает «георгия» и даже производится из рядовых в прапорщики за боевые заслуги. Но позднее, еще не осознавая работы по разложению армии, которую вели тогда большевики, Котовский присоединяется к ним.

«Ведь с самого первого момента моей сознательной жизни, — говорит Котовский о себе, — не имея еще никакого представления о большевиках, меньшевиках и вообще о революционерах, я был «стихийным коммунистом» Я интуитивно схватывал сущность классовой борьбы между трудом и капиталом, но был по натуре и психологии человеком реального действия. Я не мог спокойно смотреть на бедствия эксплоатируемого бедняка — и отсюда моя активная месть, потребность сегодня же наказать классового врага, и отсюда моя безграничная любовь и преданность тем, кто тяжелым трудом добывал себе кусок черного хлеба».

На с'езде VI армии Румфронта, в городе Галаце, Котовский присоединяется к выделенной на с'езде фракции большевиков и избирается в состав армейского комитета. Отсюда ведет начало, организованная уже под эгидой большевизма, работа Котовского.

Это было в дни Октября. Котовский видит перед собой, как далекий пожар в степи, разгорающееся по всей России пламя гражданской войны.

Вышедший из темных недр прошлого, прославивший свою неукротимость в дни самой глухой реакции, Котовский не нашел в прошлом такой почвы, на которую твердо оперлась бы его нога.

Но он сохранил в себе силы, чтобы услышать поступь пролетарских масс и пойти с ними в огонь небывалых баталий.

2.

Бунтарскую жизнь Котовского, исполненную стихийной и исключительной отваги, новым, чрезвычайно глубоким содержанием наполнили годы гражданской войны.

Гражданская и революционная войны впитали в себя ни с чем не сравнимую силу сырого, бунтарского протеста. Но многие из тех, кто горячо воспринял сначала пафос революционного действия, впоследствии предавали революцию или теряли голову на тех ее вершинах, где одержимость энтузиастов нужно было обогатить суровой и зоркой выдержкой революционных солдат. Нелегко давалась эта выдержка; для многих казался слишком тяжелым пресс красноармейской дисциплины, — той дисциплины, которая все же, чорт знает в каком соответствии с законами человеческого естества, наиболее бурных, наиболее ценивших свою человеческую природу людей сковывала и связывала в непреодолимое единство.

Не сужая перспектив и мы и наши потомки еще долго будут удивляться этой двуединой силе порывающегося и сконденсированного духа.

Не всякого хватало на это.

Муравьев, Махно, Григорьев — сколько было их, возвеличившихся и возвеличенных, чья стихийная сила протестантов-бунтовщиков не только не могла подняться на тесные леса творческой закономерности, но и обратила против нее свою, ущербленную с другого края, индивидуальность.

Сейчас казалось бы смешным сравнивать Котовского с перечисленными здесь людьми. Но надо помнить о том, что Котовский уже во время гражданской войны любил утверждать: «я анархист». И до последнего времени в нем, как в революционном армейском работнике, можно было найти не одну черту, которая была отзвуком его прошлой анархической деятельности.

Но все же Котовский в историю гражданской войны целиком вошел как коммунист. Он был чужд той истерической простуды, которая грозила многим и многих погубила.

Этот период жизни Котовского — новая эпопея. Она восприняла из бунтарского прошлого четкий стиль боевого удара, перевоплотив лихой налет «благородного разбойника» в стремительность кавалерийской лавы.

В Красной армии Котовский с первых ее дней. В конце 1917 года Котовский организует в Тирасполе красногвардейские отряды. Вот как описывает белогвардейский газетчик этот период деятельности Котовского:

«В начале осени 1917 года дезорганизованная русская армия, зажженная «динамитными» лозунгами, в полном беспорядке отступала через Бессарабию с Румынского фронта.

Все трактовые и проселочные дороги были загромождены обозами, пешими и конными частями, имевшими во главе выборных командиров из вчерашних кашеваров, каптенармусов и даже из ловкачей прапорщиков, умевших подделаться под «вкус и требования» распущенной толпы в расхлестанных шинелях без погонов.

Жители, тогда еще русского губернского города Кишинева, с интересом и опаской наблюдали за проходившими по улицам отрядами, спешившими на вокзал, чтобы, взяв приступом и угрозами поезд, ехать дальше — на родину.

В один из этих тяжелых дней, насыщенных мрачными предчувствиями, по главной улице Кишинева проезжал небольшой кавалерийский отряд. Не в пример другим частям, он был хорошо одет, подтянут. Лошади были сыты и тщательно вычищены.

Впереди отряда на черном, с матовым синеватым отливом коне сидел человек лет около сорока, — плотный, мускулистый брюнет, с крепким затылком, крутым подбородком и темными властными глазами.

Сидел он в седле прочно и стройно. На толпу не оглядывался.

— Котовский! Котовский! — пронеслось в публике.

Кто-то из «энтузиастов» закричал:

— Ура! Котовский!..

Котовский поднес руку к фуражке защитного цвета и твердо скомандовал, обернувшись к солдатам:

— Рысью... марш!

Отряд ускакал к вокзалу.

Влившись позднее в регулярные части Красной армии, Котовский ведет счет лихим делам своей конницы. Он сам всегда впереди нее, — бесстрашный и стремительный, всегда готовый помочь соседним воинским частям.

Рассказывают об удивительных случаях его отваги.

Вот, например, один из них, относящийся к боевым встречам Котовского с Тютюником.

Семнадцать дней тютюниковцы избегали встречи и мазали пятки при первом слухе о близости котовцев. Но, наконец, — это было 17 ноября 1921 года, — тютюниковцы должны были принять бой.

Бандиты взмахнули, однако, навстречу котовцам жарким веером пулеметного огня. Огонь был настолько густым, что о наступлении в конном строю не приходилось и думать. Один из полков бригады Котовского спешился, коней оставил в лесу и пошел в наступление в пешем строю.

Другой — оставался на конях и стоял перед незамерзшей еще рекой, за прикрытием, ожидая подходящего момента, чтобы помочь пехоте.

В решительный момент, от которого зависела судьба операции, — и или Тютюника, или Котовского ожидала гибель — конники дали дрейф. Момент нерешительности — где секунда горяча, как запал, — и Тютюник сорвался бы.

В этот момент перед полком — в желтой меховой куртке, в красной, сияющей фуражке, правая рука в бок, — вылетает на своем «Орлике», на белый снег ноября — сам Котовский.

— Б-братва — вперед!.. Судьба... в-все равно...

И «Орлик» бросается, послушный своему седоку, в реку.

Вздрогнувший было полк выпрямился одним рывком, и кони запестрели в реке. Четыреста тютюниковцев попало в плен. Тютюника больше не существовало.

Или — вот — другой случай.

Осыпаемая градом пуль, пехотная часть красных готова в панике отступить. Поросятами визжат снаряды. Только ужас, сковавший бойцов, удерживает их на месте. По соседству — отряд Котовского. И вот Котовский, презрев бешеный огонь, выезжает вперед пехотной цепи...

— Р-ребята, з-за мной!

И снова его увлекающий порыв приносит красному оружию победу.

Свою жизнь Котовский не ценил ни во что в такие моменты, хотя он и был большим жизнелюбом.

— Д-дурачье! — восклицал он своим характерным, чуть заикающимся басом, когда видел, как его соратники наедались в предвидении боя, — р-разве можно т-так жрать перед боем? Поп-падет пуля в живот и — б-баста.

Сам он пунктуально исполнял в таких случаях диэту. Котовский не был попросту храбр, он носил в себе то особое спокойствие храбреца-командира, о котором Толстой, рисуя образ капитана Хлопова, говорил, что капитан «истинно храбр»» потому, что во время боя «он был точно таким же, как и всегда».

Храбрых бойцов в Красной армии было с достатком. Нужно ли говорить о храбрости армии, бойцы которой чуть ли не голыми руками хватали танки, вспрыгивая на них на ходу, как на трамвай?

Но нужно знать цену этой храбрости.

Кавалерийская рубка — это не только звон шашек, крики торжества и стоны погубленных, — может быть, всего тяжелее в этих боях — слезы, простое человеческое рыдание охваченных нестерпимым горем людей. У красных конников, вдохновлявшихся в своей борьбе всечеловеческими стремлениями, проявления этого горя были, может быть, особенно острыми. И нужно представить себе кавалерийскую рубку, — задыхающихся в слезах, в свирепом вое, в кровавом ожесточении людей, нужно представить себе всадников со снесенной головой, но еще держащих поводья в холодеющих руках, и эти головы, которые помирают, силясь поднять веки и открыть рот, нужно представить это, — чтобы понять, что значит сохранить в такой обстановке расчетливое и умное спокойствие.

Трагедией огромной социальной правды, но и психологической драмой обреченности гремели поля битв. И вот — психологической обреченности Котовский был как будто совершенно чужд. Он никогда не терял себя. На поле битвы он рассчитывал, управлял, распределял, но не ожесточался с той силой, которая оставляет в человеке только биологически-голый инстинкт

И только в редкие моменты лихорадка боя в полной мере охватывала и Котовского. Это было тогда, когда задачу убийства, поражения врага он брал на себя.

На польском фронте был такой случай. В 1919 году у местечка Песчан, Балтского уезда, на Подолии, группа котовцев в сорок человек столкнулась с конной разведкой галичан. У галичан было шестьдесят сабель. Решили дать бой. Командир разведки — сын бессарабского помещика — узнал Котовского и, ринувшись своим отрядом на котовцев, закричал:

— А! босяк, каторжник, поджигатель, — ты уже красные штаны одел!..

Так поносил он Котовского.

Котовцы загнали галичан в плавни. Но в плену у котовцев, увлеченный боем, остался бессарабский помещик-офицер.

И вот тогда происходит замечательная сцена.

Котовцы стоят позади выехавшего вперед Котовского. Он ни одного из своих бойцов не подпустил к офицеру, решив встретиться с ним лицом к лицу. Тихо под'ехал он к нему. Завязался бой.

Все застыли. Побелевшие красноармейцы вздувшимися глазами следили за исходом битвы. Офицер стойко защищался. Были моменты, когда Котовскому грозила роковая опасность. Ведь Котовский не был знатоком военного дела, военного образования он не имел совсем. Котовский взял силой напора, неустрашимостью. Когда его сабля в решительный момент поднялась над головой офицера и офицер загородил свою голову шашкой — красные конники оказались свидетелями жуткого, небывалого удара. Котовский разрубил по-

полам офицерскую шашку, и окровавленный офицер, убитый наповал, рухнул с коня.

Румыны, «добровольцы», поляки, Тютюник, «черношлычники»-гайдамаки, озверелые скопища юденической армии, — всем им хорошо известно имя Котовского.

Поляки пускались на всякие хитрости, чтобы получить голову Котовского, — обещали награду, клеймили его в многочисленных листовках, прокламируя его «жидовским богом» — били на национальную рознь.

Котовский же укреплял и растил свою боевую дружину.

Если Котовский и был отважен и шел на прямую схватку с судьбой, — то он был лишь первым бойцом в лаве своих конников. И враг, помимо всего прочего, не мог не преклониться перед силой ударов, наносимых ему бригадой Котовского.

Однажды во время стоянки бригады около польской границы в штаб Котовского явились три польских офицера, — два артиллериста и один кавалерист.

Было это на другой день после блестящей атаки, которая привела в панику польские войска. Эту атаку наблюдали через бинокли французские штабисты, поражавшиеся силе красных.

О прибытии офицеров Котовскому доложил дежурный по штабу.

— Пришли три польских офицера и заявляют о желании видеть полковника Котовского.

— П-пошли их к чортовой м-матери. Полковника Котовского здесь нет. Я — генерал Котовский.

Офицеры были, однако, приняты.

— Мы хотели увидеть живого Котовского, — заявили они при встрече и высказали удивленье той атаке, жертвой которой их войска были накануне. — Не думайте, что мы хотим что-нибудь выведать у вас, — мы и так достаточно осведомлены о Красной армии, но мы просим вас сказать, сколько сабель участвовало в атаке. Кстати, вот издание, которое показывает, насколько мы осведомлены о Красной армии.

Котовский попросил книгу и сказал:

— Ваш интерес я могу удовлетворить: у меня было четыреста сабель.

Офицеры не удивились, но они сделали соответствующие жесты, и их лица приняли выражение, которое должно было означать, что они принуждены уважать чужую тайну.

Только кавалерист, которым владело профессиональное чувство, сказал:

— Этого не может быть.

Тогда Котовский отдал дежурному распоряжение вызвать Криворучко, своего ближайшего помощника.

Криворучко стремительно ворвался к начальнику, не замечая офицеров.

— Криворучко, — обратился к нему Котовский, — скажите, сколько сабель участвовало во вчерашней атаке?

Криворучко — украинец, командир полка, который состоял, главным образом, из украинцев же, дружески тягался с другим полком, в большинстве молдаванским, и поэтому он ответил:

— Та ще ж! як бы та молдаванська сволочь не напылась, мабуть чоловик трыста пятьдесят було б...

Котовский улыбнулся неприметно и сказал:

— Это мой ближайший помощник.

Криворучко же он указал на офицеров.

Криворучко ударил ладонью по столу.

— Та як же воны перейшлы кордон, колы там...

Котовский оборвал своего сподвижника и об'яснил ему, в чем дело.

Тогда Криворучко — этот удивительный боец, которого ждет своя история, выправился в своем украинском жупане-безрукавке и в зеленых плисовых штанах и, чинно усевшись за стол, с прежней горячностью, начал вести мирный разговор.

— А скажить мени, як вы у грязь хвосты у коней пидвязуете?

Так спрашивал Криворучко, волнуясь, размахивая руками и скручивая концы скатерти, чтобы показать, как, по его мнению, нужно подвязывать хвосты лошадям.

Криворучко, помимо своих боевых талантов, обязан выдвижением именно Котовскому. И связь Котовского с Круворучко — крупный момент их общей боевой работы. Криворучко в ту пору был истым партизаном. Он действовал как бог на душу положит и наполнял свои подвиги удивительным комизмом. Так, посланный Котовским вдогонку вражеской части, он пристал к ее арьергарду, потом, выдав себя за сторонника врагов, залез в середину их колонны и, наконец, затеяв с ними бой, разбил их.

Обо всех этапах этого дела он посылал донесения Котовскому. Эти донесения отличались своей лаконичностью и образностью.

Первое:

— Учепився.

Второе:

— Добираюсь до пупа.

Третье:

— Одирвав частыну.

Четвертое:

— Гвалт.

Таковы были реляции этого необыкновенного командира, отличавшегося цепкостью преследования, ориентировочным нюхом и грозовыми атаками, имя которых стало нарицательным во время польской кампании.

Заслуживает внимания кампания, проведенная Котовским в дни взятия Одессы в 1919 году. Огромное количество деникинских войск скопилось тогда в Одессе и в ее окружении. Белые банды, скопившиеся у Черного моря, крепко держались за этот последний фронт. И вот Котовский, имея четыреста храбрецов, затевает неравную борьбу с деникинскими бандами. Он поднимает то тут, то там вооруженные восстания. Его бригада, загибая то левый, то пра-

вый фланг, кусает противника в самые неожиданные места. Он не дает врагу ни отдыха, ни срока и создает впечатление огромной массы нападающих красных войск.

Каково же было изумление деникинских и иностранных стратегов, когда они узнали, что их войска сбиты к румынской границе ничтожной горстью красных конников.

Таковы удивительные подвиги отрядов Котовского.

Само собой понятно, что Котовский много проигрывал оттого, что он не был ученым военноначальником. Теория тактики и стратегии была совершенно чуждой ему. Только в более поздние годы он стал понимать значение связи, охранения, вспомогательных родов войск.

В первый же период борьбы тактикой и стратегией Котовского были — воинская хитрость партизана, умение ловко дезинформировать врага, быстрота маневра, ориентировочный талант.

Одной из самых удивительных операций Котовского, где он в полной мере проявил свою решительность и свой воинский талант, был разгром антоновских банд в Тамбовской губернии в 1921 году.

Борьба была долгая и упорная. В течение трех с половиной месяцев — с апреля по июль — бригада Котовского имела свыше полутораста стычек с бандитами. Главные силы Антонова были ликвидированы. Остались только в бассейне реки Воронеж мелкие банды. Но еще здравствовал сильнейший сподвижник Антонова — Матюхин, у которого было четыреста пятьдесят сабель, т.-е. почти столько же, сколько у Котовского. Ликвидировать матюхинскую банду никак не удавалось.

Котовский пошел тогда на хитрость.

Через бандитскую милицию, во главе которой стоял брат Ивана Матюхина — Михаил, Котовский устанавливает связь с матюхинской бандой.

С Михаилом Матюхиным Котовский устраивает встречу в лесу и представляется ему как командир кубанско-донского повстанческого отряда войсковой старшина Фролов.

Матюхин написал Котовскому, что он хочет встретиться с самим ата маном Фроловым.

Не долго думая, Котовский оседлал своего «Орлика» и поехал к Матюхину с двумя товарищами, отвозившими письмо в лагерь бандитов.

Едут... Вдруг из темноты показывается группа всадников в 50 человек. Эта группа сопровождает Котовского дальше, и, наконец, процессия под'езжает к небольшой кучке бандитских командиров и «политического состава». Впереди группы — здоровый рослый мужчина, упорным взглядом встречающий Котовского.

Почин разговора и действий Котовский берет на себя.

Он под'езжает прямо к Матюхину, крепко жмет его руку и упрекает в том, что они теряют дорогое время на пустые разговоры. Матюхин зорко смотрит Котовскому в лицо и так же жадно, как и все, слушает его слова.

Котовский резко поворачивает лошадь и приглашает всех следовать за собой.

Раздается команда:

— Справа по три — шагом марш.

Впереди едут трое — в центре Котовский, слева от него Матюхин. На боку у Котовского висит маузер, застегнутый наглухо, в правом кармане наган, на взводе которого лежит его палец.

Банда втягивается в село, в ту его часть, которая расположена в лесу.

Конники Котовского размещены в селе так, чтобы в удобный момент можно было целиком уничтожить матюхинскую банду. Этому уничтожению должно предшествовать совместное заседание штабов — «полковника Фролова» и Матюхина.

Заседание происходит в избе.

В избе — пир. Самогон, жирные — не по времени — щи, баранина, жареные куры — загромождают стол. В большой избе двадцать матюхинцев и восемь котовцев. Председательствует Гарри — один из сподвижников Котовского, ныне видный работник Крестинтерна.

Керосиновая лампа горит на столе желтым огнем. Времена пугачевщины оживают в густых тенях, бродящих по избе, в напряженности лиц — тугих, как кулаки, в жарком говоре, в проклятиях и в клятвах верности бандитским «лозунгам». У котовцев уговор — в удобную минуту перестрелять Матюхина и его сподвижников. Котовский внушил своим:

— П-пока я не застрелю этого мерзавца М-матюхина, н-никто не смеет стрелять.

На заседании обожженными самогоном глотками говорят жаркие речи.

Матюхин бьет кулаком по столу:

— Эх, жалко, братва, что у нас нет представителя Махно.

В ответ на это заявление Котовский смело заявляет:

— Ч-чудак... Вот же его ад'ютант!

И Гарри начинает вдохновенно врать о том, как он служил верой и правдой Махно и как они расправлялись с красными «собаками».

В тот момент, когда новые блюда жаркого подают на стол, Гарри вызывают из хаты. Оказывается, что один из котовцев проговорился на конюшне. Присутствовавших при этом антоновцев, котовцы тут же задушили и зарыли в сено. Но — был крик. Минута тревожная.

Гарри передал Котовскому о происшествии.

— П-предоставь после Матюхина с-слово мне, — говорит Котовский.

Матюхин же в этот момент стучит по столу кулаком и злобно рычит о том, что уничтожит «кровожадную коммунию». Бандиты слушают его с пропавшим дыханием. Матюхин кричит далее, что сегодня же он начнет наступать против красных, освободит концлагерь и через короткое время создаст новую армию в десять тысяч человек.

Когда Матюхин кончил, Гарри — низкорослый и бледный, громко возглашает:

— Заключительное слово имеет атаман Григорий Иванович Фролов.

Котовский поднимается и вместе с ним встают его командиры и комиссары. Поднимаются и бандиты. У всех руки на рукоятках револьверов и са-

бель. Котовский вынутым из кармана наганом стучит об стол, и вдруг направляет дуло нагана на Матюхина.

— Д-довольно ломать комедию... Никакой я не Фролов... Я — К-котовский.

Матюхин в ужасе запрокидывает назад голову и закрывает обеими руками бледное и жутко ослепшее лицо.

Котовский нажимает спуск, курок щелкает, и новый, недавно выданный наган дает осечку. Курок щелкает еще раз — осечка. Три осечки дает наган. Котовский отпрыгивает к стене и начинает отстегивать свой маузер.

В избе все застыли от ужаса. И когда мгновенное оцепенение должно было разрешиться бурей, Гарри тушит лампу. В избе гремит беспорядочная стрельба, от которой лопаются стекла. Крики и стоны. Один бандит залез под стол и выстрелом из винтовки ранил в плечо Котовского. Несмотря на боль, Котовский все же не теряет почина действий. Через минуту все бандиты расстреляны.

Стрельба в избе послужила сигналом для действий котовцев, расположенных в селе. В течение одного часа матюхинская банда была уничтожена.

Когда все успокоилось и Котовскому пришли перевязать рану, от которой он едва держался на ногах, он, вытянув здоровую руку, отвел врача.

— С-сначала Никитина, — сказал Котовский, указывая на раненого товарища.

Котовский был верным капитаном боевого корабля, но ему не была чуждой замкнутость воина, оценивающего победу двойной ценой — ценой ее воинского долга и ценой ее дурманящего риска и славы.

Это след прошлой романтики, воспитавшей в Котовском героизм бунтовщичества и чайльд-гарольдовской обособленности.

Но об этом после.

Гораздо важнее осознать то, в какой плоскости сочетались в Котовском и в окружавшей его среде те стремления и внешнего характера побуждения, которые несли врагу гибель и республике победу.

Котовскому приходилось сочетать понимание задач революционной дисциплины и той особой культурно-миссионерской роли, которую играла Красная армия, с одной стороны, и понимание партизанских настроений, пусть заклейменных, но все еще владевших сердцами бойцов — с другой стороны. Корень этих настроений лежал очень глубоко. Тут было стародавнее зерно русской «вольницы», здесь гремели отзвуки «всепозволенческой» бури, воскрешенной на полюсах революции.

Бабель в своих рассказах о Первой Конной глубоко черпнул от этого, подчас диковинного, утверждения восставшими людьми своей воли.

Здесь анархическая и — в аспекте общереволюционных устремлений — архаическая психология мещанства неожиданно смыкалась с крепкой революционной волей и самоотвержением Долгушевых.

И вот, Котовскому приходилось своих бойцов приводить к пониманию общих задач, воспитывать в них сознание общих целей, укрупнять ростки их революционной идеологии.

Но, с другой стороны, Котовский должен был откликаться на те требования, которые пред'являл к нему стан его бойцов. И неудивительно, что Котовский был для своей бригады (сохранилось это имя в мирный период) не только командиром и политработником, но и трибуналом, и вождем, и государством, и партией. И поэтому, когда стало известным однажды о вступлении Котовского в партию, то в партию потянулась за ним вся бригада.

Волей или неволей — Котовский соприкасался одним краем с партизанской «вольницей». Но все же его заслуга в том, что он не держался партизанщиной, а выносил ее на себе, выбирая из нее все, в чем был дух будничной, ежечасно утверждаемой верности трудному, революционно-боевому делу.

Котовский стремился к тому, чтобы не дать красной романтике расцвесть в авантюризм и пошлость.

Иной раз для того, чтобы добиться такого результата, приходилось действовать сурово. Но на резкие репрессии Котовский все же шел редко, потому что бойцы всегда готовы были подчиниться его требованиям.

Расстрелы, которые ему все же приходилось применять, Котовский переносил с большим трудом.

Он садился после этого за стол, сжимал руками голову, скреб волосы и ругался по-молдавански:

— Футуц кручь — я мейти. Футуц паска мейти.

Сила воздействия Котовского шла не от репрессий, а от глубокой связи с бойцами, исполненной порой отеческого гнева, порою нежного, преданного чувства.

Когда его части приходили на постой, Котовский, как он ни был изнурен, не садился за стол, пока не приходили дежурные и не докладывали о том, что бойцы размещены и спокойны.

И Котовский сейчас же принимался за еду, как только слышал шаги дежурных. Яичница из 25 яиц тогда была Котовскому нипочем. Когда однажды крестьянка проследила насыщение этого огромного, басистого комбрига — она не выдержала, встала, перекрестилась и произнесла:

— Господи Исусе наш сладчайший.

Требовательное и любовное в то же время отношение к бойцам, которое проявлял Котовский, позволяло расцветать самым причудливым событиям бригадной жизни.

Был случай, когда Котовский приказал во время одной из атак Криворучко, чтобы взвод Кривенко, находившийся под командованием Криворучко, наступал прямо в лоб польским пулеметам.

Кривенко—самоотверженный и удалой командир. Но случилось так, что он наменял в последние дни для всего взвода коней под масть. Шестьдесят прекрасных гнедых коней! Надо знать, какую цену придают кавалеристы такому подбору. А тут лезь прямо на пулеметы, трави прекрасный гнедой подбор.

Несмотря на переданное ему приказание, Кривенко не пошел в лоб польским пулеметам, а начал забирать сторонкой. Густой пулеметный ливень хлестал мимо.

Котовский заметил это.

— Эй, — кричит он, обращаясь к Криворучко, — жарь в лоб! Куда заходит твой Кривенко...

— Ванька, в лоб! — кричит Криворучко командиру первого эскадрона.

Но Кривенко гнет свою линию.

Криворучко вышел из себя. Момент решительный.

— Эх, Ванька, дурной хохол, — закричал Криворучко, пуская своего коня к эскадронному, — попусту матка тебя носила.

И, под'ехав к Кривенко, он на всем скаку останавливает коня, ругается и кричит, топорща рыжие усы, бросает фуражку дземь, остервенясь рвет волосы и опускает свою саблю — саблю полкового командира, на голову Кривенко. Кривенко, раненый, летит с лошади. Эскадрон в замешательстве. Конники поскакали с лошадей. Крики, голоса возмущения, проклятия. Под'езжает Котовский и успокаивает бойцов.

Криворучко бросает эскадрон в пулеметный дождь, прямо в лицо ошалевшего врага.

Раненый Кривенко еле выжил.

Котовский не одобрил поступка своего помощника.

— Можно, конечно, расстрелять, но не в таком случае.

Криворучко отстаивал свою правоту, но эскадронного жалел. И когда узнал, что от его удара у Кривенко треснул череп, спрашивал все:

— Григорий Иванович, а що воно таке за трищына... що таке?

Кривенко через некоторое время возвратился и заявился к Котовскому. Он просил комбрига перевести его в другой полк.

Котовский сурово встретил эскадронного.

— А я хотел Криворучко взгреть, — баском прогремел Котовский.

— За что это? — со скрытым довольством спросил Кривенко.

— За то, что он тебя, предателя, не расстрелял. Он милостиво обошелся с тобой. А ты, значит, пришел на Криворучко Котовскому жаловаться?

Белый от позора ушел Кривенко от Котовского и направился к Криворучко.

Криворучко, как сказано, жалел своего эскадронного, но боялся, что Котовский будет против возвращения в полк провинившегося командира. Хитряга — он явился к Котовскому и решил сначала задобрить его.

— Товарищ Котовский, — сказал он, официально подтягиваясь, — у меня в другим эскадроне е така кобылка, така кобылка, що прямо пид вас просится, — «Орлик»-то у вас захромал. Оприч того, хлопцы два казацких седла добыли. Одно я вам пошлю.

После этого Криворучко задал коварный вопрос:

— А що, Григорий Иванович, не назначить ли мне Ваньку обратно эскадронным командиром?

Котовский для вида подумал и ответил уклончиво и с иронией:

— Как хотите, — ведь «физическое внушение» Кривенко сделали вы. Я тут не при чем.

— Ну, так я ему все-таки дам эскадрон. У меня така думка, що дурость Ванькина уся через тую трищыну выйшла.

Так распуталась эта острая ситуация.

Бойцам Котовского хорошо знаком случай с другим комэском Удутом. Случай сам по себе ничтожный.

После разгрома Тютюника комэск Удут решил гульнуть. Для этой цели он продал хромую безыменную кляченку, добытую в бою. Кляченка пошла за гроши, но на них Удут ухитрился сшить сапоги и «разрядить» бутылку-другую самогона.

Тогда преисполненный бесовской гордостью Удут нанял в местечке Лодыжино, где стояла часть, свадебное еврейское трио: бубны, скрипка и флейта. Местечку предстало такое зрелище: впереди по улице идет Удут, выделывающий замысловатые колена залихватского гопака и лихо щелкающий новыми подборами.

Позади него, гримасничая и надрываясь, идут музыканты. Гремят бубны, путается скрипка и ликует флейта.

Еще дальше и по сторонам бегут мальчишки и тоже пляшут, прыгают и ликуют. Взрослое население нерешительно останавливается, и из окон пялятся любопытствующие глаза. Все гудом гудит на улице и около домов, где проходит Удут.

О нескромном празднике Удута узнает Котовский.

— Под суд!

К Котовскому направляется делегация просить о снисхождении Удуту. Удут — хороший командир, верный боец, добрый товарищ. Котовскому делают предложение не отдавать Удута под суд — шлепнут малого! — а разжаловать его в административном порядке и сделать соответствующее внушение.

Котовский разражается громом Он не хочет и слушать делегацию. Четырем делегатам, пришедшим к нему, он произносит часовую речь о революционной дисциплине.

— Только кончили бои, а он гулять... Раз-збой. Вы не знаете, как нужно тянуть... Опозорил меня перед населением... За такие дела и нужно расстреливать.

Только после долгой беседы соглашается Котовский на предложение делегации.

В другой раз, остановившись перед одним из эскадронов и увидев на бойцах меховые шубы, добытые в каком-то бою и надетые поверх шинелей, Котовский долго смотрит в упор на обезображенных красноармейцев и кричит потом:

— Что это на вас?.. Я вам собью махновщину!

Котовский не допускал никаких лишних поборов у населения, и население чтило его, как своего защитника.

Когда однажды отряд Котовского переходил из Тирасполя на Ананьев, — отряду встретилась баба.

Она признала в командире отряда Котовского и спросила одного из бойцов:

— А це часом не Котовский буде?

Когда ее предположение подтвердилось, баба сняла коромысла, поставила ведра на землю и перекрестилась:

— Ну, слава богу, що побачила.

Партийный аппарат в бригаде был очень узок и работал в трудных условиях. В первые годы и сам Котовский вряд ли хорошо осознавал значение партийного влияния.

В его отношениях к политработникам пробивались нотки снисхождения.

Когда однажды котовцы плохо отнеслись к пехотной красноармейской части, Котовский на-ходу, в сторону политических руководителей бригады, бросил:

— Укажите вашим политработникам, как нужно обращаться с красноармейцами.

Но все же Котовский стремился согласовать работу командования и партийную, в чем большая заслуга и со стороны партийного аппарата.

Партийную же дисциплину наладить было не легче, чем военную. Из-за лейшего давления могла разразиться гроза и оборвать налаженные связи.

Но при Котовском это той или иной ценою достигалось. Особые качества, о которых мы говорили выше, делали его контактирующей силой, на одной стороне которой была звенящая вольным порывом тетива, а на другой — направляющая полет стрелы, опытная рука.

Энергия и увлечение, с какими Котовский проводил свои мирные мероприятия, иногда наивны, но поражают своей настойчивостью.

Котовский страшно любил спорт. Он всюду ездил с трусиками. В штабах некоторых частей 2 конного корпуса, которым он командовал в последние годы, можно было видеть на стенах портреты Котовского, одетого в трусики и занимающегося «волевой гимнастикой» по системе Анохина.

В дивизиях были установлены огромные души, из которых состав частей поливался по утрам.

Как-то, после разгрома Тютюника, когда второй полк стоял в местечке Хабное, туда приехал Котовский и приказал собраться всем командирам. Сорок пять человек собралось в местечковой синагоге — единственном более или менее просторном помещении.

После короткой вводной речи о гимнастике, Котовский заставил всех раздеться до пояса и начал:

— Первый прием... Н-начинайте... Д-дышите.

Открыл окна. Некоторые командиры зябли, но приходилось подчиняться.

В бочке стояла вода, приготовленная для какого-то религиозного ритуала.

Она послужила для обтирания.

Таким путем весь корпус Котовского был «спортизирован». Тем, кто не занимался гимнастикой, Котовский говорил:

— Ч-чудаки... Не хотите знать спорта, издохнете десять раз, пока у нас только насморк будет.

Неустанная работа в корпусе, в дни его мирного существования, сохранила Котовскому ту же популярность, какой он пользовался в дни гражданской войны. Но теперь эта популярность далеко переросла пределы военной среды.

Котовский пользовался на Украине огромным вниманием, и это внимание росло с каждым днем, когда в устах свидетелей его боевой славы ожили героические подвиги, до того времени запечатленные лишь на полях битв да в коротких рапортах по команде.

Маузер и бои были вечными спутниками Котовского. В тюрьмах он думал об одном — о побеге, в боях он думал об одном — о победе. Весь жизненный путь этого человека ослепляла кровь — чужая и своя.

Но каждый человек не только творит, но и пишет свою историю. У Котовского не оставалось времени глубоко заглянуть в себя и широко оглядеться вокруг. И если он все же подгонял себя и стремился воспринять теорию революционной борьбы, то вопрос о личном участии в этой борьбе он решал исключительно практически. Тут у Котовского, к его чести, надлома не было, но была все же разреженность, которую нужно было заполнить.

И вот, как характерную черту, можно отметить хотя бы тот факт, что в 1923 году, будучи в Москве на одном из с'ездов, Котовский одновременно в короткие часы отдыха читал «Историю РКП (б)» и «Тарзана». «Тарзан» ему очень нравился. История партии — была тем, что увлекало его душу революционера на путь все большего согласования своей работы с движением того массива, частью которого он был. «Тарзан» — дессерт, пища его личной устремленности, если не связывать это личное с пережитком бунтарского утопизма, с социальным авантюризмом классов-последышей. Социальная давность эпохи и природный ум Котовского вошли в контакт и не дали ему сделаться героем авантюры (в широком смысле этого слова).

Театральность, бравада, внешний лоск часто сопутствовали поступкам Котовского.

В 1923 году, во время ультиматума Керзона, Харьков так же, как весь Советский Союз, пережил нередкий разве лишь у нас взрыв общественного гнева.

В это время в Харькове происходил с'езд незаможников.

На с'езде выступил Котовский.

Его чуть заикающаяся речь была коротка и энергична.

Он заверял незаможников и присутствовавших на с'езде членов правительства, что Красная армия имеет свой ответ на ультиматум английского лорда.

Котовский жестикулировал правой рукой. Сжатая в кулак, она все время, хотя и не очень приметно, обращалась к дипломатической ложе, где не было людно.

Переходя к самому патетическому моменту своей речи, Котовский воскликнул:

— Я, как командир второго конного корпуса, заявляю, что одним ударом, одним блеском наших клинков...

В этот момент, прерывая речь, Котовский вырвал из ножен блестящее жало шашки и потряс им над головой.

В зале все, как один, — и незаможники, и члены правительства, и дипломаты — поднялись и, как в зеркале, отразили позу боевого порыва, в которой застыл Котовский. Конца фразы никто не слышал.

Так это произошло. А накануне, когда Котовский узнал о предстоящем выступлении, было иное

Представляя себе свою речь на с'езде, Котовский заранее решил, что он во время речи должен будет выхватить шашку. Посоветовался с товарищами — насколько допустимо это для него как для члена правительства и не нарушит ли он таким выступлением дипломатического такта.

А после этого вынул из ножен шашку и начал ее чистить. Продолжалась чистка с полчаса. К Котовскому пришел кто-то из Промбанка. Он и посетителя заставил чистить шашку.

В тот же день один из товарищей, неожиданно вошедший в комнату Котовского, застал его выхватывающим шашку из ножен.

— Н-никак не входит, п-подлюка, — сказал Котовский, повернувшись и порозовев.

А на другой день сияющий клинок ослепил пленум с'езда.

Котовский умел без пафоса совершать огромные исторические дела, но он умел и репетировать пафос незначительного по существу дела.

С речами Котовский вообще выступал редко. Не говоря о том периоде, когда речи в партизанской среде были литературно построены весьма своеобразно, и позднее Котовский не мог долго приспособить себя для ораторской деятельности. Но в его неумении отражались другие, свойственные ему черты.

В 1920 году Котовский был начальником боевого участка на польском фронте, и его штаб стоял в поселке у станции Комаровка.

Пехотные полки, находившиеся на участке, были растрепаны. Противник превышал силу красных частей. Нужно было исключительное самообладание и твердость, чтобы бороться с поляками на этом угрожаемом участке.

Котовский решает устроить митинг. Митинг проходит чрезвычайно своеобразно. Части выстраиваются в карре. В замкнутом четыреугольнике строя — верхом на лошади Котовский. Он медленно едет вокруг строя и говорит речь. В такт речи равномерно вздрагивают на боках коня его бедра.

Речь патетическая — о необходимости конечной борьбы.

Котовский заканчивает ее затверженной риторической тирадой:

— Товарищи! Когда мы победим, потомство нас вспомнит и золотыми буквами запишет наши имена на героических страницах истории.

Политработники пехотных частей поразились необычайной организации митинга-карре. Поразились они оратору, который с парадной пышностью об'езжал строй и произносил громкие риторические фразы.

Но — таков был Котовский.

Он вообще питал слабость к пышным фразам.

Во время маневров, в мирный уже период, Котовский увлекался романами Пьера Бенуа. И изысканный стиль французских романов нашел отражение в одном из приказов Котовского начдиву N дивизии. В этом приказе Котовский говорил буквально следующее:

«Ваши части после операции выглядели, как белье куртизанки после бурно проведенной ночи».

Подобных фактов о Котовском можно было рассказать не один. Но их и не так много. У Котовского была внутренняя скрытность. Он обнаруживал себя ярко и полно лишь в случае нужды.

В его смерти еще не все ясно, — суду предстоит открыть завесу над трагедией смерти Котовского.

Мы знаем лишь одно, — что, потеряв Котовского, Советский Союз лишился одной из крупных сил, которая обогатила бы период мирного строительства и всей силой народного гнева могла прозвучать при первой угрозе нашему спокойствию.

Котовский не раз говорил, что если бы не дисциплина партии и армии, то он давно бы бросился со своим корпусом на Бессарабию и захватил бы эту землю, узурпированную румынскими боярами.

Котовскому не было суждено осуществить свой справедливый порыв. Но прочная связь протянулась из стана трудящихся к памяти коммуниста-бунтаря, и об этом говорят слова документа, который мы приводим здесь. Авторы его — три красноармейца. В дни смерти Котовского они написали своему батальонному командиру следующий рапорт: «Докладуем вам о тов. Котовсьскому. Мы желаем его увидеть; в виду того що мы его не бачили, а мы вас просим щоб вы нас откомандировали с батальоном, увидеть революционного конной армии вождя».

«Революционной конной армии вождь»!

Котовский становится легендой. Он проделал долгий путь. Пришедший с маисных полей Бессарабии, где помещики-бояре неистово эксплоатировали труд холопов, загнанный царским правительством в Сибирь, он олицетворил в себе, наконец, долго сдерживаемую силу крестьянского и пролетарского гнева и был одним из первых, кто выковал красное оружие и этим оружием добыл свободу. Не свободна лишь его родная земля. Но по ту сторону Днестра помнят о Котовском. О нем складывают песни, рассказывают были и побывальщины, рассказывают глухо, но заключают в них силу, которая разрешится для румынских бояр тем неожиданней и грозней.

Стойкое пламя народного эпоса загорается над могилой Котовского.

О новаторстве в художественной литературе.

Н. Юргин.

Факт обилия в современной русской литературе разных школ и направлений находит себе двоякую оценку со стороны причастных к литературе людей. Во-первых, оценивают с точки зрения своей колокольни—своей школы, своего журнала. Во-вторых—безо всякой точки зрения. В этом последнем случае пишут, что литературное сектантство — «явление симптоматичное», что оно «свидетельствует о глубоком кризисе», иногда о «вырождении» современной литературы, в других случаях — о ее «росте».

Если первое из этих истолкований страдает догматизмом, какой бы колокольней оно ни вызванивалось, то второе—столь же несомненным эклектизмом, с какого бы краю оно ни под'езжало к литературе — слева или справа, в порядке ли «обличения», или в порядке «вынужденного признания». Читатель одинаково страдает в обоих этих случаях.

Вопрос об оценке современной литературной ситуации, междушкольных, междупрограммных отношений, вопрос о новаторстве в теперешней литературе, несомненно, часть общей проблемы, связанной с историей новаторства на протяжении всей истории мировой литературы. И, несомненно, наука о литературе нуждается в выделении (в своих пределах) особой дисциплины, которая занималась бы исследованием эволюции новаторства, установлением движущих сил новаторства в литературе, обнаружением законов, определяющих успех одних и неуспех других новшеств. Теоретически этот вопрос об эволюции новаторства частично уже и поставлен, уже и изучается у нас, например, историком литературы проф. М. Д. Эйхенгольц (он вводит теорию новаторства в систему поэтики, как существенную ее часть). Этим же вопросом интересуется и «формальная школа» в литературе.

Настоящее изложение не собирается рассматривать этот вопрос в теоретической постановке. Нас больше интересует современная практика новаторства, ее оценка и практические выводы из этой оценки, касающиеся русской по-октябрьской и сегодняшней литературы.

Прежде всего, оговоримся, что мы имеем в виду искания в области «формы», «приемов», о которых, в сущности, только и может быть принципиальный спор, ибо достаточно ясно, что по «содержанию», по «материалу» литература должна быть современна и революционна.

Современные литературные искания и попытки новаторства характеризуются одним признаком, общим с формальными исканиями за всю историю литературного новаторства. Новаторская работа каждой литературной школы начинается неизменно с одного и того же маневра: с построения некоего идеала литературы, идеальной системы приемов, с построения своей нормативной поэтики. Футуристы построили свою нормативную поэтику на слово, на словорчество. Леф присоединяет к этому установку на производственное оформление материала. Имажинисты создали идеал словесного образа, систему поэтики образов. Андрей Белый — идеал ритмической прозы. Е. Замятин — идеал «сюжетно-психологической» композиции повествования с участием «смещения планов». И т. д.

Это рационалистический подход к новаторству, когда новатору еще не известно, как фактически пойдет литература, но уже известно, как она должна пойти, чтобы «выбраться из тупика», чтобы «ликвидировать кризис», чтобы стать идеальной.

Рационалистический характер формальных исканий сам по себе, разумеется, еще не означает непригодности, ненужности того, что в результате их найдено. Нормативная поэтика какой-нибудь литературной школы может оказаться, и часто оказывается, в истории литературы пришедшейся к месту, верчее, ко времени, на определенном этапе эволюции литературных форм. Но для этого нужны какие-то условия. Существуют какие-то условия выживания литературных школ и оплодотворения в литературе своего времени. Самая важная задача теории новаторства, о которой упоминалось выше, может быть, и заключается в обнаружении этих условий.

Необязательно также думать, что даже и не усвоенное литературой новшество совсем никуда не годится. Оно не подошло к той литературной ситуации, с которой совпало во времени, но может пригодиться когда-нибудь в будущем. Для нас, для практики, суть дела, очевидно, в том, что рационалистическим методом невозможно найти такую нормативную поэтику, которая непременно выжила бы, непременно и теперь же оплодотворилась бы или во всяком случае сама в себе заключала бы хоть какие-нибудь гарантии успеха. Здесь, в литературе дело происходит совершенно так же, как было, например, с рационалистической общественной философией XVIII века: она или осталась практически бесплодной в одной своей части, или в другой она хоть и оплодотворилась, но родила совсем не того ребенка, о котором мечтала (последнее тоже бывает и в истории литературных школ).

Следует еще особенно отметить, что рационализм литературных исканий не только может оказаться частично плодотворным, но и в целом, как метод — совершенно естественное явление. И это опять-таки приблизительно в том же смысле, что и рационалистическая философия XVIII века. Литературный рационализм, так же как и любой рационализм в любой области, — закономерно осуществляющееся явление, имеющее свое начало, развитие и — конец. Рационализм в философии и науке, рационализм в социологии и политике к XX веку — уже закончившийся процесс. В литературе, в области формальных исканий он оказался живучим более, чем в других областях. Он жив

еще и до сих пор. И тем не менее, ему суждено умереть, так же, как он умер в этих других областях. И умереть столь же естественной смертью, как естественно он зародился и жил.

И несомненно, что когда-нибудь ему на смену придет новое образование, новый метод. Постановку вопроса об этом новом методе, мне думается, своевременно сделать уже и сейчас. На смену рационализму в области естествознания пришел эмпиризм. Рационализм в общественных науках сменился историзмом (в широком смысле слова). В социологии историзм вылился в теорию исторического материализма. В области политики, в той же части, которая ближе всего подходит к литературному новаторству, — в области теорий преобразования общества на новых началах, утопический социализм сменился научным социализмом, основанным не на принципе «идеальности» социалистического строя, а на принципе исторической необходимости его в результате развития и ликвидации капитализма.

Я не стану развивать этой аналогии дальше, хотя считаю, что она не только уместна, но и необходима, поскольку мы имеем во всех этих случаях по существу, очевидно, один и тот же процесс. Я не стану на этой аналогии обосновывать теорию историзма в литературном новаторстве. В дальнейшем, я обращусь целиком к литературе и буду говорить только о литературном историзме, разыскивая пути перехода от рационализма к историзму в современной практике литературного новаторства: это сузит, ограничит и облегчит мою задачу и предостережет от поспешных лозунговых выводов.

Проникновение новых форм в художественную литературу осуществлялось или в результате использования старых форм, или путем вхождения форм «низкопробной» (бульварной, «подлой») литературы в «высокую», или путем вхождения в художественную литературу форм, принадлежавших раньше практической литературе.

Я думаю, что историзм в литературном новаторстве должен означать учет и использование этих законных и естественных путей обновления художественной литературы. Попытаемся подойти с этой точки зрения к современной художественной литературе. (Мы возьмем два-три примера исключительно для иллюстрации сих положений: — основная наша задача — выяснить метод.)

Остановимся на истории русского футуризма или, вернее, на истории с русским футуризмом, который уже вышел в «высокую» литературу. Первоначальные Хлебниковские заявления русского футуризма проектировали реформу словаря художественной литературы, требовали новых слов. Это требование оказалось неосуществимым. У читателя еще не нашлось живой потребности в обновлении словаря: на что литературе новые слова, когда еще не использованы старые, уже имеющиеся в практической речи? — они тоже обновят словарь художественной литературы, если войдут в нее! И футуризму этим именно и пришлось в первую очередь заняться: ввести в литературу слова практической речи, бывшие до сих пор за ее бортом, «вульгарные» слова и выражения. Выполнено в первую голову Маяковским. — Это, впрочем,

еще не значит, что Хлебниковский футуризм убит окончательно. Теперь о нем вспоминают только при случае. Но он может еще понадобиться в литературе: когда-нибудь кто-нибудь еще «откроет» Хлебникова.

В настоящее время задачу «протаскивания» в литературу всех еще «не протащенных» в нее слов и выражений практической речи можно считать законченной полностью. Казалось бы, теперь уж прямой выход отсюда — если не удовлетворяют старые слова и выражения, так следует придумать и ввести в литературу новые — т.-е. пойти за Хлебниковым. Но все же теперь открывать Хлебникова еще рано. Правда, словарь весь использован. «Выражения», «словосочетания» практической речи, фактически существующие в ней, также уже использованы, уже не доходят до восприятия читателя. Но еще не использованы все возможности «выдуманных» с л о в о с о ч е т а н и й. Например — эпитет. Поскольку эпитет, применяемый, применявшийся в литературе до сих пор, уже не доходит до сознания, уже штампован, а эпитеты практической речи также уже исчерпаны (кроме того, они здесь не очень-то разнообразны) — постольку его нужно — чтобы обновить — придумать. Разумеется, здесь важно — как придумать, чтобы он дошел до читателя и не вызвал особых возражений. Но на этом мы пока не останавливаемся. Важно, что явилась потребность в обновленных, в свежих словосочетаниях, в частности эпитетах. И в результате этого в литературе появилось то, что в широком понимании можно назвать «имажинизмом» (чтобы уж не изобретать нового слова).

В порядке нормативной поэтики «образничества» задача освежения словосочетаний поэтической речи поставлена имажинизмом — школой поэтов эпохи военного коммунизма. Задача эта по широте и принципиальности у русских имажинистов напоминает Хлебниковскую, только в ином направлении. Но «имажинизм» в широком смысле слова появился в русской литературе и без декларации еще значительно раньше имажинизма поэтов. — Особенно отчетливо и последовательно — у Е. Замятина (Например: «На куличках», повесть, появившаяся-было еще до революции). После революции дорогой Замятинского имажинизма пошли Серапионовы братья.

Что имажинизм оказался ближе русской литературе, чем Хлебниковский футуризм — это естественно: на что нам новые слова (можно было бы возразить теперь Хлебникову), когда нами еще не использованы комбинации старых? — Однако процесс проникновения в литературу новых словосочетаний оказался весьма трудным процессом. И из публики, и из критики, не только по адресу имажинистов поэтов, но и по адресу «имажинистов» прозаиков (в частности «Серапионовых братьев»), были брошены по поводу отдельных выражений упреки в «фокусничестве», в «пристрастии к вывертам» и проч. В результате замечается даже отход от «имажинизма» в сторону «простой речи». Но вот в последнее время определяется некоторый выход из положения, найден способ прикрытия имажинистских новшеств, возвращается в литературу с т и л и з а ц и я.

Стилизация — прием старый. Русского читателя от него начало тошнить уже после Брюсова («Алтарь победы», «Огненный ангел») и Кузмина.

Только новый материал (и пародия) спасли стилизацию «Хулио-Хуренито». Тот же новый материал спасет стилизацию Леонова (который пишет под Кузьму Пруткова в «Записках Ковякина») и Бабеля (который пишет конноармейские письма). Но нам важно сейчас отметить, что у этих двух авторов стилизация выполняет еще функции обновления литературных форм в отношении языка. Она прикрывает собой новшества словосочетаний, которые, каждого по своему, характеризуют этих авторов.

Стилизуя, автор снимает с себя ответственность за новшество в языке, в словосочетаниях. Под прикрытием стилизации, приписывающий эти новшества рассказчику, автор проводит их не как выдумку, а как внесение реальной речи в художественную литературу. И вот стилизация, старый прием, возвращается в литературу в обновленном виде и в таком виде оказывается со всеми новшествами совершенно приемлемой для читателя.

Под прикрытием стилизации новшества словосочетаний входят в литературу легко, читатель привыкает к ним—и, когда привыкнет окончательно, тогда снова кончится эпоха стилизации, может быть, совсем, а может быть до того момента, когда он понадобится для прикрытия еще каких-нибудь новшеств, например, для введения в литературу Хлебниковского словотворчества.

Таким образом, во-первых, сейчас мы имеем прием имажинистского письма, теперь уже не новый, но еще способный к развитию, еще не исчерпанный. Он настолько еще свеж, что нуждается для своего обоснования в совсем старом приеме. Во-вторых, мы имеем возрождение такого старого приема, как стилизация. Он появился в современной литературе в несколько новом виде: это уже не «изысканная» стилизация под «знатного иностранца» (для русского всякий иностранец знатен) у Брюсова и Кузьмина, а довольно грубая стилизация под мещанина и конноармейца у Леонова и Бабеля.

Стилизация вообще прием не очень живучий: как бы она ни обновлялась, она все равно очень скоро становится пресной. Поэтому полагать будущее литературы в стилизации не приходится. Но для новаторства она (как и некоторые другие старые формы) имеет свое значение. Она не непосредственно обновляет форму, а помогает другим, действительно новым, формам, войти в литературу: она — метод популяризации новых приемов. Может быть, и Хлебниковское словотворчество имело бы несколько больший успех у читателя (полного успеха едва ли бы достигло), если бы оно пыталось популяризовать себя, использовавши ту же стилизацию, например, догадалось бы стилизовать под детский язык, как об этом прозрачно намекал футуризму Корней Чуковский.

Задача «имажинизации» литературного языка остается еще не завершенной. И очевидно, что так или иначе в области языка, культивированием имажинистского словосочетания новаторству и предстоит заниматься до тех пор, пока, во-первых, не обнаружится возможность вовсе бросить популярную стилизацию, а во-вторых, далее, пока не будут исчерпаны все возможности свежих словочетаний и не встанут задачи совершенно новые.

Для иллюстрации того, как новаторство может в наши дни использовать практическую литературу, сам напрашивается пример фельетона. Существует

мнение, что из фельетона вырастет будущая литература. Обобщая, говорят, что в наше время литература идет в журналистику, вернее, журналистика входит в литературу, занимает оставляемые литературой позиции и скоро займет их все.

Вопрос этот настолько сложен, что ни целиком согласиться с этим решением его, ни целиком отвергнуть так сразу нельзя. Мы ограничимся фельетоном, да и эту тему охотно постараемся сузить, как только представится к этому возможность.

Фельетон — чрезвычайно трудно определимый жанр. Это до сих пор еще неопределенный жанр. Но, может быть, в этой его неопределенности — залог его жизненности. Есть у него одно достаточно явственное свойство, во всяком случае, чрезвычайно широко применяемая его трактовка — сатирическая: очень вольное высмеивание, позволяющее пользоваться, как центральным, таким аргументом, который в статье, например, даже в публицистической никто не выдвинул бы всерьез. Фельетон позволительно построить, например, на простой игре словами. Берем слово «проказа» в двух его смыслах: болезнь и шалость. Шалость каких-нибудь молодцов может где-нибудь оказаться столь неумеренной, что для пострадавших от нее явится сущей проказой. Этого сопоставления совершенно достаточно, чтобы построить «маленький фельетон».

Фельетон вообще может многое себе позволить: какие угодно вольности, какие угодно невероятные положения, какие угодно словесные «выверты». В другом месте они действительно показались бы «неуместными вывертами». А в фельетоне любой из них в крайнем случае всегда сойдет за остроту. Мне думается, это вот свойство фельетона покрывать своим заголовком все, что придет в голову фельетонисту, и может быть использовано для новаторства. То, что сначала воспринималось, как шутка, как «игра досужего воображения», впоследствии может быть легче воспринято и всерьез. Это бывает. Чехов считал своих «Трех сестер» легкой комедией. Художественный театр сделал из нее чуть ли не мистическую драму. И публика восприняла не Чехова, а Художественный театр. Легкие жанры вообще способны переходить в серьезные: в этом заключается их история.

Но дело не только в том, что практический по существу жанр фельетона может пропустить через себя приемы художественной литературы, прикрывает их так же, как стилизация прикрывает «имажинизм». Есть признаки полагать, что фельетон целиком войдет в художественную литературу: в каком смысле — ниже.

Мне недавно в течение нескольких месяцев приходилось наблюдать фельетон по разным провинциальным газетам. «Маленький фельетон». Наблюдать одно соединение, которое сначала показалось для современного восприятия несколько неожиданным: соединение фельетонных приемов с приемами рассказа. В «маленьком фельетоне» обнаружились все элементы рассказа: не говоря уже об описаниях, диалогах; это еще не показательно: настоящее сюжетное действие, интрига, разумеется, такая, которая без труда могла уложиться в сотню строк, и все это сочинено, как в рассказе, только

по кокретному поводу, обозначенному в эпиграфе. Иногда в «маленьком фельетоне» интрига разрешалась также по сюжетному, опять-таки совсем как в рассказе. В таких случаях я недоумевал, почему это называется «маленьким фельетоном», а не рассказом? Можно было бы, разумеется, сказать, что провинциальные газеты просто не понимают, что такое фельетон, и дают рассказ, чтобы читатель знал, что у них газета, как газета, и что, как во всякой порядочной газете, у них идет фельетон. Я воздержался от такого высокомерия. Я все-таки твердо помнил, что новая литература идет прежде всего снизу, у нас — от рабкоров и рабжуров (из этих соображений и я беру для примера провинциальную, а не московскую газету).

Очень часто фельетонная «под рассказ» интрига вовсе не кончается по сюжетному. А по другому — по фельетонному. Нет сюжетной развязки, а есть фельетонная. Я должен был признать, что большинство этих развязок сделаны плоховато: морализующая развязка, как в любой «протаскивающей» заметке. Но иногда, в отдельных случаях, выходило и лучше: то удачная острота, то словесный экивок. Или, например, рассказавши от первого лица (как в рассказе) о своих скитаниях и ожиданиях по советским учреждениям, рассказчик для конца, посоветует читателю самому пойти и попытаться счастья — подождать в канцелярии какого-нибудь Пыльтреста — «может дождешься». И это — развязка доподлинного рассказа (по принципу «нанизывания»!) со всеми признаками такового. Вовсе не сюжетная, чисто условная развязка. Она была бы неуместна, не была бы принята в вещи с подзаголовком «рассказ», а данная при подлинном по существу рассказе в фельетоне — как раз на своем месте.

Это соединение в одной вещи приемов фельетона и приемов рассказа грозит литературе разгромом рассказа. Сейчас мы только кое-где наблюдаем условную развязку сюжетной ситуации, но никто не гарантирует нас от того, что через пять — десять лет мы не будем наблюдать повсюду не только условную развязку, но и условную завязку. А, может быть, также и какую-нибудь условную мотивировку или условную экспозицию фигур. И в конце концов — кто знает? — мы должны будем констатировать новый жанр, рожденный от брака фельетона с рассказом и, может быть, настолько новый, что в нем и не узнать будет ни того, ни другого.

Полагаю, что современная практика новаторства должна учесть этот и другие случаи рождения новых форм в результате развития практических жанров, вызванных к эстетическому бытию и циркулированию.

Всегда в истории литературы различалась литература «подлая» и «высокая». И при этом бывало так, что подлая литература облагораживалась, — входила в высокую. Романтизм после классицизма. Пушкин после Державина. Достоевский после Анны Редклиф.

В наше время «подлая» литература зовется халтурой. На халтурном счету у критиков числится и агитка — агитстихи, агитпьесы, агитроман и проч. В пределах теперешней литературной подлости халтурная литература, однако, имеет уже некоторые своеобразные формы соединения. Это — тематические агитсборники, посвященные: — Октябрьской революции, Первому мая, Париж-

ской Коммуне, или Герцену, Горькому, Дарвину. Это—новая форма соединения художественного (хоть и халтурного) материала; до революции такой не было. Были альманахи. В свое время они были новостью. Они и теперь есть. А рядом с ними — агитсборники. Существенное отличие этой новой формы от альманаха и номера журнала та, что материал в агитсборнике гораздо более взаимно связан — во-первых, одной темой, во-вторых, одной целевой установкой. Это делает агитсборник настолько цельным, каждый член его настолько связан с целым, что вынутый оттуда теряет все или часть своего значения. Это — любопытнейшее явление в современной литературе. Оно будет богато неожиданными последствиями не для «подлой» только, но и для «высокой» литературы. Тематический агитсборник я не намерен сейчас рассматривать, как новую форму в целом, а возьму из него один его член — так называемую инсценировку, для примера того, что́ из подлой литературы может быть использовано в целях новаторства.

Про инсценировку обычное мнение таково, что она — не самостоятельный род, переделка, приспособление одного рода литературы к выполнению функций другого. Инсценировка считается «хуже» прирожденной драмы. Театру нужно на все решиться, чтобы поставить инсценировку. Пока критика и публика были довольны формами старой драмы или ее частичными реформами, вроде символистической драмы, это было, может быть, и естественным отношением к инсценировке. Теперь театром, критикой и известной частью публики (как раз той, которой, надо полагать, принадлежит будущее) дан запрос на новую драму — и теперь такое отношение уже едва ли столь законно.

Разумеется, инсценировка — еще не оформившееся окончательно явление. Но, нам кажется, способное к развитию. Способное дать новый жанр в драматическом роде. Условия инсценирования, необходимость приспособлять роман к постановке, — не только «вынужденная необходимость». Как бы то ни было, в результате она дает известную характеристику новой «пьесе». И тот зритель или читатель ее, который не знает романа, не знает и работы инсценировщика. Новый зритель у нас обычно не знает романа. Он знает только результат — инсценировку, и расценивает ее, как перворожденное явление. И явление это укладывается у него со своими вновь рожденными чертами, как перворожденными. Если, например, инсценировщику «по необходимости» пришлось перенести часть действия за кулисы и поведать об этом зрителю или читателю только в рассказе одного из персонажей, то зритель этот или читатель воспринимает это, как прием: значит, так надо, значит, так правильно. Может быть, сцена, которая не допускает ныне длинных монологов и диалогов, должна найти какое-то новое средство оформления материала в этом случае (и находит, например, введение кино-экрана). Но и это будет обозначать для зрителя новый прием постановки, уже в плане сцены.

Но нам хотелось бы больше говорить о литературной стороне «инсценировки». Бернар Шоу в одном из предисловий к одной из своих пьес обосновывает целесообразность подробных ремарок автора. В пьесы он вводит длиннейшие вступления с подробным описанием обстановки, эпохи действия, как

он ее себе представляет. Это — материал для чтения. Это — рама пьесы. Нечто похожее мы имеем в инсценировке. Инсценировке, предназначенной для рабочих клубов, так же нужны длинные и подробные ремарки. Они касаются также обстановки действия, но связаны со сценой рабочего клуба. Ремарки инсценировок дают, кроме того, методические указания к постановке. Все это — также материал для чтения. И притом такой, которого обычно не бывало в доподлинной драме.

Нельзя смотреть так, что эти ремарки предназначены для практики, для режиссера, и зритель их не видит. Это правда, что инсценировку агитсборников никто, кроме культурников и клубных актеров, не читает. Но пьесы большинство не смотрит, а читает И Б. Шоу рассчитывает на читателя, а не на зрителя. И если какой-нибудь талантливый автор напишет талантливую инсценировку, то ее будут и читать, и будут больше знать в чтении, чем на сцене. И вот здесь ремарки войдут как прием: точь в точь, как того хотел Б. Шоу.

В одном из агитсборников инсценировка басни Демьяна Бедного сделана так, что в ней ни одного слова не изменено, не вычеркнуто и не прибавлено. В басне много диалогов. Диалог распределен инсценировщиком между соответствующими лицами. Кроме того, есть несколько слов в тексте басни от автора, от Демьяна, относящихся к характеристике персонажей. Инсценировщик не запер эти слова в скобки, не превратил их в авторские ремарки: он не хотел ломать размер и рифму Демьяна. Он присочинил новое лицо (в костюме!) и заставил его произносить на сцене ремарки автора. Лицо это между репликами действущих лиц на сцене вставляет свои замечания: «поп нагибается», «дьякон кланяется» и проч. И в это самое время на сцене поп нагибается, а дьякон кланяется. Он описывает попа: красная борода, толстое брюхо — поп стоит тут же на сцене и демонстрирует себя публике.

Этим приемом инсценировщик и на сцене и в чтении достигает необычного, но положительного эффекта. Один человек говорит про другого, тут же присутствующего, как про отсутствующего, рассказывает о настоящем, как о прошлом. А на сцене и в чтении это дает осмысленный эффект. Смысл его, может быть, в том, что здесь преломляются одновременно два разных суб'ективных восприятия одного и того же явления. — Кто знает, как эволюционирует этот прием в дальнейшем? Может быть, его способность откровенно выражаться про подлинных героев на сцене передастся и этим героям? Может быть, тогда исчезнут эти белыми нитками зашитые в диалог реплики в сторону? Может быть, все ремарки автора выплывут на сцену и будут слышны зрителю? Может быть, то, что говорится до сих пор «про себя», будет говориться вслух, и это откроет ряд разнообразнейших возможностей характеризовать каждого героя драмы в освещении со всех возможных сторон? И, может быть, эти характеристики будут мотивировать действие? Может быть...

Пристальное наблюдение за инсценировками по агитсборникам могло бы открыть уйму таких зачаточных приемов, каждый из которых может при известных условиях разрастись в прием вполне законченный, обоснованный, и все они вместе определят новый жанр — инсценировку. Новатора это должно заинтересовать.

Все эти и им подобные приемы в фельетоне, в инсценировке, в ряде других случаев практической и «подлой» литературы могут, разумеется, еще очень долго оставаться вне пределов художественной, высокой литературы. Причина этому та, что к ним не относятся с вниманием, которого они заслуживали бы. Пишут между делом и не особенно заботясь о качестве своей «продукции». Но, ведь, стоит только найтись даровитому автору, который написал бы талантливый сборник «фельетонов-рассказов» (назовем пока так) и талантливую инсценировку в этих новых приемах (взял бы сильную тему, последил бы за художественностью выполнения), как сейчас же стало бы ясно, что обновленная литература — уже факт. И тем более, что новые эти формы растут из нового материала, из новых потребностей нового общества.

Разумеется, и талантливые авторы не растут, как грибы; но ведь и практическая литература и халтурная — совершенствуются. Требования у их читателя (или зрителя) постепенно повышаются, нужно только время. И вот скверно, если слишком уже долгое время потребуется для завершения этого процесса.

Если новая художественная литература растет путем использования старых, но еще жизнеспособных приемов, путем введения в художественную практической, в «высокую» — «подлой» литературы, то практически задача литературного новаторства определяется, как задача разыскания и культивирования ее зачатков в этих областях: этим путем новаторство станет на почву историзма.

Я думаю, что историзм вовсе не ликвидирует литературные школы и направления. Школы останутся. Только они будут строиться по иному принципу. Не будет, может быть, символизма, футуризма, конструктивизма, экспрессионизма, исключающих друг друга. Не будет повода к нетерпимости. Литература будет делиться по тем же признакам, что делится и теория литературы: будет школа новаторов-жанристов, культивирующая новые жанры, сюжетистов, культивирующих новое сюжетосложение и т. д.

Может быть, не так скоро отделается литература и от нормативных поэтик. Но каждая поэтическая норма потребует себе исторического обоснования. Каждый новый прием обязан будет пройти через практику популяризации. Это будет экзаменом для новых форм.

Вопрос о популяризации — особый вопрос, который нам в настоящем изложении удалось осветить только частично и попутно. Смысл популяризации новшеств в том, чтобы не оставаться на слишком уже недосягаемых высотах Парнасса, а спуститься до уровня публики, до читателя — и чем ниже удастся спуститься, не теряя позиций новаторства, тем обоснованней новшество. Но сейчас уже нет возможности говорить об этом.

Кнут Гамсун.

(Кнут Гамсун. «Соки Земли». Всемирная литература. «Женщины у колодца». Изд. «Ленинград». «Последняя глава». Всемирная литература).

А. Воронский.

I. Земляной пан.

«В Селланро радовались и тому, что каждую осень и весну видели диких гусей, тянувшихся караванами над пустыней, и слышали их говор в небесном пространстве, он звучал, словно людская речь. И казалось тогда, будто мир замирал на минуту, пока вереница не скрывалась. Не чувствовали ли люди в этот миг, что в них будто закрадывалась какая-то слабость? Они снова принимались за свою работу, но сначала глубоко переводили дух, словно услышали чей-то призыв из далекого мира».

Чудесное место это — из романа Гамсуна «Соки Земли», может быть, самого поразительного художественного произведения за последние 15—20 лет. Книгу закрываешь с чувством, которое испытывали жители усадьбы Селланро, провожая взглядами диких гусей: глубоко переводишь дух, а в ушах звенят нездешние, но родные призывы. Правда, к ним примешиваются другие, более прозаические и режущие мотивы, и это очень досадно.

Передают, что Гамсун однажды неожиданно исчез. Полагали даже, что он погиб. Прошло сколько-то времени, и вот в пустынных, норвежских, нелюдимых горах обнаружилась хижина, и в ней жил крестьянин Гамсун с молодой женщиной. Он ни с кем не встречался, почти не спускался в соседние деревни. Он работал, сеял, жал, ухаживал за скотиной. Так прожил он отшельником что-то очень долго, лет пятнадцать, после чего возвратился в город и написал три романа: «Соки Земли», «Женщины у колодца» и «Последнюю главу». Неизвестно, насколько правдив этот рассказ, но он правдоподобен: такие романы, как «Соки Земли», создаются после глубоких, уединенных раздумий среди скал, леса, пахотных полей, лугов, звезд и снегов. Жизнь должна быть неторопливой, однообразной и наполненной несложной и древней трудовой правдой.

О чем повествуется в романе? Так, почти что ни о чем, во всяком случае, о самом простом и обыкновенном. Идет по длинной тропинке человек

с мешком за плечами. Он крепок и груб, он изредка останавливается и бормочет: «О-ох, господи». Садится, отдыхает. Кругом скалы, лес, пустыня. Человек идет все дальше. Наконец, он выбирает место, расчищает, выкорчевывает пни, строит шалаш. Он делает деревянные корыта и продает их в деревне. На вырученные деньги покупает коз. Он обрабатывает участок и садит картофель. Как-то пришла женщина, у нее заячья рассеченная губа. Он взял ее. Женщина осталась и стала женой. «Ее звали Ингер. Его звали Исаак». Построили дом, купили корову, лошадь, козы принесли приплод. Появились дети. Участок увеличился, пришлось соорудить новые пристройки. Ингер родила девочку, у нее оказалась заячья губа, как и у матери. Из жалости Ингер задушила ее. Об убийстве пронюхала деревенская сплетница Олина и распустила слухи. Ингер судили. Ей пришлось 8 лет просидеть в городской тюрьме. А Исаак работал, а дети — два мальчика — росли. Ингер возвратилась в усадьбу чужой и новой. В городе она научилась шить, наряжаться. Исаак в ее глазах стал не очень-то казистым. Случилось, она изменила ему Но в конце концов земля снова покорила Ингер, она смирилась. Приехали люди из города, они купили у Исаака скалу и начали разрабатывать руду, добывать медь. Место оживилось. Но Исаак не может заниматься посторонним, он расчищает и распахивает почву. Его ничем не соблазнишь. Вслед за Исааком пришли другие землепашцы. Они тоже пахали. Городское предприятие не удалось. Господа, инженеры, рабочие уехали. Постройки для добывания руды развалились, а вокруг Исаака в пустыне отстроилось 10 хуторов. Дети выросли. Младший сын, Сиверт, остался верным земле, и она дала ему счастье и прочность. Городской сын, Елисей, совался туда и сюда, у него ничего не вышло, и он вынужден был уехать неизвестно зачем в Америку. Старость Исаак встречает «маркграфом»: у него лучшая усадьба, всего вдоволь. Он — патриарх, родоначальник, пионер селений, покоритель пустыни.

Вот и все. Этим, да еще деревенскими мелочами занято 460 страниц. Как будто растянуто? Возможно. Но такова сила таланта: читатель с волнением следит, уродится ли картофель, поднимется ли больная корова, как разрешится тяжба Исаака с Олиной из-за деревянных башмаков. Оказывается, это интересно и занимательно не менее любых, самых запутанных и хитро придуманных авантюрных сюжетов.

Каким приемом пользовался писатель? Трудно ответить; приема нет, ибо его не замечаешь. Повествование плавно и естественно, как река, небо, море. Скорее всего Гамсун пользовался библейским «приемом»: недаром его главный герой называется Исааком. Роман Гамсуна уводит куда-то вглубь, и от художественного письма его веет тяжелым покоем древности. Простота, которая дается очень не просто, простота мудрости, — ясность мысли, нашедшей совершенное воплощение в образах и типах, наивность, не стилизованная, а природная, человечность и спокойствие — основные свойства этого стиля. Но в библейском «приеме» многое — от выдумки, от сказки, от легенды. А Гамсун, прежде всего, наблюдатель в своих последних романах. Он совсем не кажется сочинителем, хотя, конечно, он им был и остается и по сию пору. Читатель верит каждой странице: да, так это было и иначе быть

не могло. Такое ощущение получается оттого, что форма органически слита с содержанием: изображение жизни в усадьбе Селланро, где только поднимают целину и ухаживают за скотиной, должно быть именно таким, каким оно является у Гамсуна; без нарочитой выдумки, медлительным, ясным, жиным, тщательным и внимательным к обиходу и подробностям и выпуклым до скульптурности. Иначе нельзя писать о таких вещах. Гамсун в «Соках Земли» показал себя первоклассным реалистом толстовской складки и силы. К Платону Каратаеву прибавился Исаак.

Но как будто мы знали Гамсуна другим? Автор «Виктории», «Пана», «Голода» — он — неисправимый романтик, мечтатель, интимный лирик, пропевший мощные гимны надежде и мечте человека. «Надежда — это что-то чудесное, да, что-то совершенно особенное», восклицает Глан в «Пане» и рассказывает о слепце-лопаре. Ему было за семьдесят, и он верил, что ему лучше и что через несколько лет он надеется возвратить себе зрение. Надеждой, мечтой жив человек, и они не исполнимы. Над всеми героями Гамсуна раннего творческого периода, над Викторией, над Гланом, над Эдвардой — рок, их мечты — в трагической и неразрешимой коллизии с жизнью. Правда, у Гамсуна есть более реалистические вещи — «Бенони», «Роза», но прежний облик писателя ассоциируется с его романтическими повестями-поэмами. Словом, в ранних произведениях писателя романтик покорял реалиста, в последних романах реалист одержал верх над романтиком, хотя романтизм и здесь далеко не иссяк в художнике.

Многие говорят о новом Горьком. Действительно, повести, рассказы последних четырех-пяти лет русского буревестника свидетельствуют о новом, небывалом под'еме и расцвете его художественного дара. И по основному настроению они стали иными. Освобождение от романтизма, принявшего в «Матери» и «Исповеди» дидактически-надуманный, с примесью якобы марксистской публицистики характер, пошло в прок писателю. Возможно, что Горький войдет в литературу не столько своим первоначальным периодом, сколько своей «последней главой». В судьбе Гамсуна есть много общего с судьбой Горького. Гамсун тоже начал с романтики, так же как и у Горького у него было время сумерок и трудного перехода к реализму, и так же как Горький Гамсун переживает на склоне лет своих — ему сейчас 66—67 лет — небывалый под'ем с явным преобладанием изобразительного, спокойного реализма. Его «Соки Земли» перевешивают все, написанное им раньше. Горькому мешает сейчас своеобразное культуртрегерство, но большие помехи стоят и на пути нового Гамсуна. При всем том остается в силе различие их художественного облика, среды, взглядов.

Поручик Глан был главным героем произведений прежнего Гамсуна. От него он исходил и к нему возвращался. Теперь фантаст Глан уступил место положительному и трезвому Исааку. Исаак невидимо присутствует даже там, где на первый взгляд совсем иные люди, общество, условия, чем те, которые окружают сельского «маркграфа». Он — главный герой и «Соков Земли», и «Женщин у колодца», и «Последней главы». Нельзя сказать, что Исаак во всем противоположен Глану. Нет, этого совсем нет. И у того и

у другого звериный взгляд и есть что-то звериное во всем их обличии. Оба они живут среди камней, скал, леса, лугов, оба слышат первозданные, первобытные голоса жизни, оба заворожены, покорены природой. Но Глан — чудак, мечтатель; в его звериных глазах то-и-дело вспыхивает капризное своеволие; он сегодня — один, завтра — другой; его поведение подчас иррационально, разумно не мотивировано. Он — одиночка и странник на земле, он бродит и бредит. Он — хмельной и сильный и одновременно слабый, безвольный. В нем соки жизни бродят, как сусло, в нем высокая эмоциональная напряженность, глубокая лирическая настроенность. «Люль, люль! Колокольчики звучат?.. Я творю две молитвы, одну за свою собаку, другую за себя... дрожь пронизывает меня... Люль, люль! — говорит чей-то голос, — кажется, будто семизвездие ноет у меня в крови. Это голос Изелины». Но в Глане нет ничего твердого, прочного. Глан—обреченный мечтатель. Его нервная взвинченность, горячее раздувание ноздрями, его пантеистическое благоговение и преклонение перед природой, вся сила его эмоций лишены каких-то главных корней и связи. Любовь к Эдварде смертельно ранит его, потому что Глану негде приложить свои силы, и вот он отдает их девушке «с невинным девственным изгибом на большом пальце» и с дугообразными бровями. Пантеизм Глана — отвлеченный, беспредметный, бессильный и покорный року — судьбе. Ощущение, что человеческое естество есть малая пылинка и частица благословенного космоса, остается слишком общим, во всеоб'емлющем чувстве тонет конкретное и вещественное.

В «Соках Земли» это чувство потеряло свою абстрактную неопределенность. Пан сошел на землю и принял облик Исаака. Он овеществился, олицетворился. Исаак — земляной пан, как и все обитатели Селланро, не изменяющие своей праматери-земле. Такова ее власть над человеком, питательная сила ее соков. «Вы смотрите каждый день на какую-нибудь синюю скалу, это — не выдуманные вещи, это древние скалы, они стоят, глубоко зарытые в прошлое; но для всех они — товарищи. Вы живете вместе с землей и небом и составляете с ними одно, составляете одно с этой ширью и неподвижностью. Вам не нужен меч в руку, вы проходите жизнь с пустыми руками и обнаженной головой среди великой ласки. Смотри, вот природа, она твоя и всех твоих. Человек и природа не палят друг в друга из пушек, они воздают друг другу должное, не конкурируют, не состязаются ни в чем, они следуют друг за другом... вы рождаетесь и производите, вы необходимы на земле». Исаак именно таков, он составляет одно с природой. Как скалы, лес и поле — он кряжист, знает свое место, он тверд, упорен и неподвижен. Земля ради него, но и он — ради земли. Он живет со скотиной, и она ему родная, своя. Он — весь от естества. «Исаак понимал только самое простое и явное: работу, законные и естественные поступки. Торс у него был круглый и могучий, нельзя было отыскать менее астрального человека, — он ел, как настоящий мужик, и это шло ему на благо, поэтому он очень редко выходил из равновесия». Как они жили с Ингер? «Когда наступал март и апрель, они с Ингер сходили с ума друг

по друге, аккурат как птицы и звери в лесу, в мае же он сеял ячмень и сажал картошку». Он — молчалив и односложен. Главный герой Гамсуна на всем протяжении романа... молчит. Его ответы — да-да, нет-нет. В разговоре он беспомощен и беззащитен. Он действует, пашет, корчует, рубит, сдвигает. Он кажется тупым, да он и есть таков вне работы. Но за своим делом он сметлив и умен: «человеку в пустыне много есть о чем подумать и ко многому приходится приспособляться». Исаак по-своему самостоятелен, своеобразен и самобытен. У него своя жестоковыйность, личная воля, произвол и усмотрение. Но всего этого отпущено ровно на столько, на сколько это нужно, чтобы он успешно выполнял предначертания природы, с которой он составляет одно целое. Ни больше, ни меньше. Его почин тоже в этих пределах. Поэтому ему неведома проблема личного утверждения. Нет у него и надлома, надрыва, раздвоенности, никаких романтических взлетов, мечтательности, сомнений. Мир Исаака ясен, прост, прозрачен и гармоничен. У Платона Каратаева есть безликая любовь к людям и безликое чувство справедливости. Платон даже философ, он любит поговорить, не прочь поучить, хотя он отнюдь не навязчив. У Исаака и этого нет. Его любовь всегда узка, лична, предметна, и уж, конечно, он не философ.

Есть ли у него свое представление о должном, о лучшей жизни, о человеческом счастье? Есть, но оно такое же, как у того барана, который на всю жизнь запомнился Сиверту, сыну Исаака: «Баран щипал траву, вдруг он поднял голову и перестал жевать, а только стоял смирно и смотрел. Сиверт невольно посмотрел в том же направлении — нет, ничего примечательного. Но тут Сиверт сам почувствовал в душе что-то необыкновенное. — Словно он смотрит в Эдемский сад! — подумал он». Эдем Исаака весь в созерцании, в видении. Он покоится и стоит пред глазами. Он не манит, не заставляет задыхаться, судорожно ломать руки, от его видения не загорается взор, не вспыхивает радость, не загорается мрачный огонь, не оживает надежда, не трепещет сердце. В нем нет отзвука, следов страданий, волевых напряжений, борьбы, побед и поражений. Ничего этого нет. Эдем Исаака дан. Это — та же самая жизнь, но завершенная в своих достижениях, очень простых и реальных. В Эдеме Исаака те же самые коровы, поля, Ингер, дети, труд, небо, но поля вспаханы, коровы в изобилии дают молоко, дети растут крепышами, все необходимое отстроено, в жизнь не врывается ничего постороннего в виде, например, ленсмана с арендной платой, городской тюрьмой и т. д. Песни этого Эдема звучат непритязательно и совсем по-земному: «Мать и девушки доят коров и коз... они доят, слушай хорошенько, ведь это прямо удивительно, каждая отдельная струйка, словно песенка, не похожая на духовую музыку в городе, ни на оркестр армии спасения, ни на пароходный свисток. Струится песенка в подойник». В Эдеме Исаака нет ничего фантастического, сказочного, невозможного. Совсем не так, как у Глана.

Исаак все знает, что ему нужно. Он — мудрец. Его голова свободна от школьной трухи, от педантической и ненужной мудрости ректора какого-нибудь учебного заведения. Когда прыгаешь с высоких камней, язык надо отводить подальше в рот; хорошо потереться в праздник листком бирючины;

когда луну можно взять левой рукой, она на прибыли, — если правой, она на ущербе и пр. — так Исаак учил детей своих. Он — суеверен и чтит праздники: своеобразное благочестие нужно для работы, для своего тесного, узкого мира.

Чтобы жить в этом мире, надо потушить жар своего сердца, как потушила его Ингер, надо обуздать себя, откинуть мечтательность, не думать о далеком и прекрасном, быть верным земле, не изменять ей. Здесь есть свой написанный, но непреложный закон жизни: всякий, кто оставляет землю, карается. Он носится по миру, как осенний листок, оторванный бурей, он становится лишним и ненужным, никудышным. Так было временно с Ингер, с Варварой, с Елисеем, с торговцем Аронсоном, с Гейслером, со всеми, кто пытается устроить свою жизнь самостоятельно и отдельно от скал, леса и пашни.

Жизненный смысл труда Исаака не только в том, что от этого труда крепнут мускулы, и тело наливается здоровьем, что он нужен, но прежде всего в том, что его результаты осязаемы. «Из поколения в поколение вы живете в неустанном строительстве, и когда умираете, ваше место заступают новые строители. Вот это-то и подразумевается под вечной жизнью». Пашня, посаженное дерево, сад, постройки, дети, скотина, селение, хутор — наглядные, живые памятники проведенной в заботах и труде жизни, полезные и необходимые. Остальное: мечты, книги, газеты, наука расползается и рассеивается в тумане, не оставляя заметного следа.

Таков Исаак по Гамсуну.

Типические черты Исаака, взятые порознь, встречаются у Толстого, Бальзака, Мопассана, у Успенского, Чехова, Горького, Бунина, и все же Гамсуну удалось создать новый, живописный тип. Прообраз скорее следует искать в библейских повествованиях о патриархах. Гамсун, как никто, связал Исаака с окружающей природой. Он, действительно, — одно целое с камнями, лесом и полем. Он — воистину земляной пан. Образ его незабываем, он не написан, а вылеплен, как скульптура. Вы видите натруженные руки с несгибающимися пальцами, неуклюжую громыхающую поступь, звериную преданность земле и упорство, спокойствие и самоуверенность. Так же превосходно созданы Ингер, Сиверт, Аксель. А чего стоит деревенская сплетница старуха Олина, самоотверженно преодолевающая сотни верст через скалы, горы, лес и метели, чтобы выложить короб сплетен и слухов! С какой выразительной простотой рассказано о беде, случившейся с Акселем, когда его придавило дерево и его заносило снегом на виду у соседа Бредэ, не пошевельнувшего пальцем для его спасения! В романе нет эмоционального под'ема, нет высокого лиризма ни «Виктории», ни «Пана», ни «Сиесты». Это — чисто прозаическое повествование, но оно стоит любой лирики. Тонкость и зрелость рисунка, богатство наблюдательности, уменье использовать и на место поставить деталь — необычайны.

Есть еще качество, сближающее роман Гамсуна с библейским повествованием: спокойствие и эпическая мудрость. Никакого, хоть сколько-нибудь резкого порыва, всплеска чувств, никакого влияния недавно пережитого. Все

застыло, спокойно, как лесное озеро. О самых страшных и жестоких вещах, событиях—а их, в сущности, немало в романе—Гамсун повествует, как о самом обыкновенном, без надрыва, без гнева и осуждения. Не случайно и не только от себя Гейслер говорит: «Не надо быть строгим, справедливым и жестоким в жизни, надо быть милосердным к ней и брать под свою защиту: надо помнить, с какими игроками приходится возиться жизни». В этом и сила и слабость романа.

В «Соках Земли» все обыкновенно, знакомо и буднично, особенно для нас, русских, привыкших к нашим ржаным просторам, к овинам, скирдам и огородам. Ничего сказочного. И тем не менее роман воспринимается, как сказка, как древняя сага. Вот он могучий земляной «маркграф», вот его угодья и крепость. Его сражения с камнем напоминают отважную борьбу легендарных героев с драконами. Вот добрый дух Гейслер и злой новый ленсман. Подобно сказочному волшебнику, Гамсун превращает усадьбу Селланро в сказочное царство. Он что-то прибавил, что-то умалил, о чем-то не досказал, но это незаметно — и встает новая, неведомая, преображенная жизнь. Как ночь в лесу, где знакомые кусты и деревья приняли таинственный и диковинный вид. От этого-то и переводишь глубоко дух, словно слышишь призыв из далекого мира, и испытываешь слабость.

Поразительно, что такой роман мог появиться в 1919 году. Весь мир судорожно содрогался от войн и революции, кровь еще не высохла, все находилось в великом смятении и борьбе. И в это время выходит книга, и в ней почти ни звука, ни намека на катастрофу. О пролете диких гусей, о песенке в подойник, о разных мелочах немудрой, заброшенной в горах усадебной жизни. В такое-то время!

II. «Цветами и кровью».

Гамсун не чувствует любви к нашему промышленному веку. Гейслер, которого он избрал любимым резонером в романе, говорит об инженере, приехавшем в район Селланро добывать медь: «Он... убежден, что делает настоящее дело. Чем больше камней он превратит в деньги, тем лучше; он думает, что делает этим весьма почтенное дело, доставляет деньги селу, деньги стране; гибель подходит с ним все ближе и ближе, а он не понимает положения. Подумать только — превратить средство в цель и гордиться этим! Они больны и безумны, они не работают, не знают плуга, знают только игральные кости». Он называет своего сына, предприимчивого искателя, молнией, ибо сын дает бесплодное сверкание, а себя считает туманом. Но такими же бездельниками Гамсун считает и рабочих. В романе «Женщины у колодца» другой резонер, почтмейстер, утверждает: «Началось господство механики, возникло массовое производство, и появился на свет фабричный рабочий. Кто получил от этого выгоду? Кому это доставило радость? Только фабриканту, никому больше... Он создал в мире четвертое сословие, создал целый класс фабричных рабочих, самых бесполезных в мире».

Само собой разумеется, что Гамсун отрицательно относится к городу. Город кажется ему сборищем тунеядцев, людей, ведущих бесполезную и пустую жизнь. Мы уже отмечали, что в «Соках Земли» писатель устанавливает древний закон: подобно тому, как библейский Иегова карает преступивших его заповеди, земля ввергает в пучину бедствий всякого, кто изменяет ей. Откуда такое отвращение к механике, к городской культуре, к нашему веку?

Произведения Гамсуна последнего времени с особой наглядностью показывают, что его основные жизненные впечатления и представления о городе и современности складывались под определяющим влиянием мелких городских захолустий Норвегии. Гамсун, конечно, знаком и с нынешними мировыми центрами, но не они находились в круге его переживаний. Уездное захолустье — главная питательная среда Гамсуна. В этом он сродни Ибсену. И так же как Ибсен он задыхался в этой обстановке и не мог найти настоящего выхода. Гамсуну природа дала огромное и радостное чувство бытия. Жизненная сила бурлила, клокотала, пенилась, переливала в нем через край. Только с необычайным, с колоссальным размахом чувств и потенций может писатель создавать такие вещи, как поэмы о железных, августовских ночах Норвегии, благословлять в полузабытьи леса и поля, сохранять незлобивость, ибо она у него от преизбытка, и петь такие упоенные гимны любви, какие он пропел в «Виктории». Неистребимость и непреложность жизненных инстинктов в человеке — вот основная тема произведений Гамсуна. Чертовски богат человек, несмотря ни на что. Природа дала ему горячее, как уголь, сердце, кровь, в которой поет и лучится семизвездие, глаза, отражающие весь мир, цепкие руки, жадные до работы, уши, улавливающие песни звездного неба. Человек умеет необузданно любить и не жалеет себя — так много у него сил. На него обрушиваются несчастия, иногда человеку становится не под силу, и тогда приходит к нему на помощь его воображение. Он создает самые причудливые и очаровательные фантомы, невероятные сказки, сердце питает человека надеждой. Она неугасима, от нее нельзя излечить его, и человек выпрямляется и верит самому несбыточному. О неистребимости жизненных инстинктов в человеке, о звериной, чудовищной, исполинской силе жизни написаны Гамсуном «Виктория», «Пан», «Голод», «Роза», «Соки Земли» и все остальное.

Но как быть, если человек с таким запасом, с таким богатством чувств, от которых он порой мучается и обессиливает, если он попадает в тихую сонную заводь провинциального городского захолустья, и там кое-как тянется настоящая, мелкая, нудная жизнь, и живут маленькие клопы-люди? Глан в среде Макка, лев в болоте с комариным зудом. Это болото давно уже не дает покоя писателю, но в позднейших романах — в «Женщинах у колодца» и в «Последней главе» — он остановил на нем особо пристальное внимание.

«Женщины у колодца» — роман порядком растянутый, но основная фигура, Оливер, и окружающие его персонажи очерчены мастерски. В конце романа Гамсун обмолвился фразой, что Оливер является прообразом жизни маленького провинциального городка. Оно так и есть. Даже больше: в из-

вестном смысле Оливер символичен для творческого пути норвежск сателя.

Фабула романа по обычному проста. Оливер — молодой, полный сил малый — поступает моряком к местному судовладельцу. Во время плавания с ним случается несчастье: на него обрушивается рея, его оперируют, ампутируют ногу и половые органы. По возвращении домой кастрат, однако, женится. Жена рождает ему кучу ребят, все они, конечно, не от него. Оливер — нищий. Он живет, перебиваясь со дня на день, приходится иногда продавать двери от дома, сундук, кольцо и т. д. Но все же калека не падает духом. Он и виду не подает, что он кастрат. Оливер ведет себя, как добрый отец семейства, он воспитывает детей, ревнует жену, он никому ни в чем не хочет уступать. Он тупеет, жиреет, у него пропадает растительность на лице, лицо становится бабьим, но Оливер стойко держится. Когда его жена для отвода глаз от своих «измен» пускает слух, что он, Оливер, стал отцом, и некая Марена родила от него сынка, он поверил и возгордился; да, кое на что он еще годится. О, надежда — великое дело, это — все. Только под конец тайна Оливера становится явной, над ним издеваются, о нем судачат. Но и тут Оливер находит силы приспособиться и держать высоко голову. Ведь жизненный инстинкт неистребим в человеке. «Мы спасены в надежде».

Словом, обычная для Гамсуна тема. Но она перебивается другой. «Женщины у колодца» — это маленький городишко, где живут сплетнями, мелкими дрязгами, где нет настоящего дела и настоящих людей. Они безжалостны к Оливеру, закорузли в узком себялюбии, они ограничены и мелки. Город Гамсуна: «двойной» консул Ионсен, торговец средней руки, столп общества, его сын спекулянт Шельдруп, наградивший Оливера в числе прочих детьми и издевающийся над ним, Ольсен, торговец, конкурент Ионсена, пьяница и забияка Олаус, ограниченный Маттис, Франк, сын Оливера, засушивший себя на книжной премудрости, Фиа, дочь Ионсена, вечно копирующая картинки, воображающая себя художницей, местный эскулап — доктор, завистник, «человек науки», обративший свои способности и знания на раскрытие мелких обывательских тайн, унылый почтмейстер, философ и резонер, которого никто не дослушивает до конца и т. д. Представлена и политика в лице адвоката депутата сейма Фредериксена. Он внес в сейм знаменитый запрос о несносном положении моряков, после того как дочь судовладельца Ионсена отказала ему. Депутатское место он превратил в доходную статью для себя. И Гамсун еще находит в себе достаточно силы и благодушия писать обо всем этом, подсмеиваясь втихомолку, он больше шутит, чем бичует.

В другом романе, в «Последней главе», изображена жизнь горожан в санатории по соседству с хутором крестьянского парня Даниэля. В санатории господствует смерть, санатория живет под сенью ее темного крыла. Но властительницей она является лишь потому, что городские люди, приезжающие лечиться и отдыхать, в сущности, какие-то случайные гости на земле. У них нет настоящего дела, как у Исаака, у Даниэля. Для них вся жизнь — санатория. «Смерть — последняя глава, — философствует один из героев

романа, Самоубийца. — Пока есть еще время, мы пробуем противиться, переезжаем туда, сюда, чтобы ускользнуть, приезжаем сюда в санаторию, но тут, повидимому, и есть самое злополучное место...» Адвокат Бертельсон, фру Рубен, консул Рубен, фальшивый граф Флемминг, обокравший где-то банк, сухарь-ректор Оливер, фрёкен д'Эспер — они совершают путешествие по земле, странствуют, не зная, чем заняться и куда деть себя, они — как выброшенная на берег рыба. Непонятно, зачем и чем они живут. Самоубийца, наиболее удавшийся Гамсуну тип в этом романе, занят отысканием хорошего способа покончить с собой и, разумеется, он его не находит, Флемминг — игрок в жизни и т. д. Самый счастливый человек — Даниэль. Он родился в родимом краю, он трудится, пашет, продает бычков. Он здоров и силен. Правда, он живет, словно в раковине, но он не странник на земле, у него есть свое место. Он самостоятельней их всех, он никуда не влеком посторонней силой, которую почему-то жители санатории называют свободной волей. Наоборот, грубо и властно, как сознающий свою силу и право, он подчиняет себе фрёкен д'Эспер, заставляет ее бросить санаторию, забыть городские соблазны и делает ее своей женой. Он дает ей незамысловатое, но верное счастье. Фрёкен кончает тем, что стирает, растит ребенка, она привыкла и к хорошему и плохому, она занята земным.

Городская среда, окружавшая Гамсуна, наиболее известная ему, среда мещан, провинциальных знаменитостей, мелких характеров, ничтожного диапазона и пустой жизни. Писатель, который главной темой своих произведений избрал неистребимость могучих жизненных инстинктов в человеке, неизбежно должен был оказаться в оппозиции к такому обществу. И Гамсун, несомненно, отрицательно относится к нему. Изображение «двойных» консулов, депутатов сейма, ученых сухарей, пустопорожних коптителей неба и игроков у Гамсуна—без злобы, но карикатурное. Глан тоже стоит особняком в этом обществе, у него нет с ним никаких серьезных связей. Он — одиночка. Отсюда, между прочим, неожиданность, немотивированность, иррациональность поступков и действий его и других подобных героев Гамсуна. Лишенные какой бы то ни было бытовой почвы и социальных связей — они чудаки и крайне своеобразные люди в своих поступках. Но, относясь отрицательно к обществу Фредериксенов, Гамсун не нашел, не разглядел наиболее смелых и решительных новаторов, которые, вскрывая язвы современного общественного строя, в том числе и провинциального уездного захолустья, видят выход не в попятном движении, а в реорганизации этого строя революционными способами, но на основе всего достигнутого человечеством культурного опыта. *Фредериксены и Ионсены заслонили пред Гамсуном людей этого покроя.* В более ранние годы Гамсун стремился разрешить жизненные противоречия в романтическом и художественном пантеизме, но такой пантеизм был слишком бесплотен, в нем не было ничего конкретного. Удовлетвориться им надолго такому язычнику, каким был Гамсун, оказалось невозможным. И вот писатель находит, как ему кажется, другой путь. Свой абстрактный, общий пантеизм он олицетворяет в Исааке, в земляном пане и в усадьбе Селланро. Он обращается спиной к на-

уке, к политике, к технике, к фабричному рабочему и пытается успокоиться на сельском патриархе. Исаак знать ничего не хочет ни о чем, что хотя бы немного выходит из пределов его раковины и убогого обихода, — не беда. Это-то и хорошо, это как раз и надо. Пусть здесь среди скал и лесов перегорит, перекипит вся сила жизненных, неугомонных токов в человеке, пусть затушится, как у Ингер, как у фрёкен д'Эспер, весь внутренний жар, вся необузданность желаний и страстей. Среди Фредериксенов нельзя жить с таким запасом сил, с такими запросами к жизни, а другое неведомо, далеко и непонятно. Смирись, гордый человек, в поте лица своего, в под'яремном, тяжком труде забудь о своих мечтаниях, о надеждах, о жажде прекрасного, надень на себя благостный намордник, покорись земле, и она даст тебе свое земляное счастье, небольшое, но верное и прочное. Этому учит сейчас Гамсун. С точки зрения научного коммунизма, это — реакционное воззрение, ибо идеал Гамсуна целиком позади.

Отсюда и наивная публицистика, беспомощные рассуждения, размышления и доморощенная философия Гамсуна. А их у него немало, они сильно вредят художественной стороне его произведений и дают часто совершенно ложное освещение столь талантливо-изображаемым им героям. В своей книге «В сказочной стране» Гамсун писал о проповедничестве Л. Н. Толстого: «Я думаю, что можно долго проискать, пока найдешь столько философской бедности, как в сочинениях Толстого». С полным основанием эти слова могут быть отнесены и к философии Гамсуна. В свое время Г. В. Плеханов в статье о Гамсуне «Сын доктора Штокмана» отчетливо вскрыл теоретическую путаницу и реакционность рассуждений норвежского писателя. В самом деле, считать фабричного рабочего бездельником и тунеядцем может только человек, совсем не понимающий, на чем зиждется и чем живет капиталистическое общество. Любопытно, однако, что Гамсун, повидимому, и сам иногда чувствует шаткость и сомнительность своей публицистики. В романе «Женщины у колодца» между доктором и резонером-почтмейстером, устами которого говорит, несомненно, сам Гамсун, происходит такой диалог:

— Фабричный рабочий, — рассуждает почтмейстер, — ...бросает лодку, бросает свое поле, забывает родной дом, своих родителей, братьев и сестер, не заботится о скотине, не интересуется ни деревьями, ни цветами, ни морем, ни небом, но зато он получает другое: Тиволи, общественные дома, рестораны, хлеб и зрелища. И ради всех этих хороших вещей он выбирает жизнь пролетария. И тогда восклицает: «Мы — рабочие!».

— Значит, не надо промышленности? — спросил доктор.

— Как так? Разве раньше не было промышленности?

— Так не надо фабрик?

— Не знаю, что ответить вам. Исключения могут быть...

«Не знаю» и «исключения» не удовлетворяют даже захолустного городского аборигена.

Деревенская идиллия и гармония, о чем говорит Гейслер в «Соках Земли», тоже требует основательных поправок. Неверно, что в деревне человек и природа не палят друг в друга из пушек. А болезни, а голод, а стихий-

-ные бедствия? Временами опустошения, которые они производят, бывают хуже самой ожесточенной пушечной канонады. Поэтому-то человек и стремится устроить свой, им выдуманный «Эдем». Гармония существует в Селланро лишь в той степени, в какой человек является послушным рабом природы и выполняет беспрекословно ее веление. Но как только он хочет выбиться из ее косных об'ятий и утвердить свою личную волю, он вступает с природой в самую напряженную борьбу.

Подобно Оливеру, Гамсун подвергся в норвежском уездном болоте духовной кастрации. Окружавшая его среда оказалась слишком ничтожной для него. В последних романах он пытается найти выход в крестьянском труде и патриархальном быте, он зовет покориться и отдать себя во власть земле. Но Оливер жиреет, тупеет, его лицо становится идиотическим и бабьим. Гармония и счастье Исаака тоже ведут к отупению, к духовному ожирению. Выход ли это? Ведь даже у Оливера инстинкт жизни оказался настолько сильным и непреоборимым, что фантаст, искатель, выдумщик, повеса остался все-таки жив в нем.

По силе сказанного Гамсуна следует принимать «отселе и доселе» и в его последних романах. Образы Исаака, Олины, Ингер, Оливера, Самоубийцы, Мааса, Даниэля созданы могучим наблюдателем-художником, они — реальные типы и как таковые и должны быть прежде всего восприняты нами. Поэзию крестьянского труда, здорового крестьянского земляного пионерства, девственную прелесть леса, поля и скал, чистоту и прозрачность неба, неиссякаемость и половодье сил в человеке, изнуряющую мелочность мещанского городского затхлого быта — это полностью дает почувствовать и эстетически пережить Гамсун. Но Эдем Гамсуна, неприязнь к фабричному рабочему, рассуждения об его праздности и бездельи, отвратное отношение к технике, к науке отдают сильным прозаическим, кулацким, тупым и ограниченным душком. Отчасти они напоминают опростительную философию Льва Николаевича. В целом они навеяны отсталостью Норвегии, затхлостью ее бытового уклада.

Есть еще, впрочем, одна более общая причина. После войны в европейском буржуазном обществе заметно усилилось разочарование в современной механической культуре, и в соответствии с этим многих потянуло к примитивному, к первобытному, к звериному. Отсюда «Тарзаны», негритянская музыка и танцы, интерес к восточной мистике. Такие настроения, отражающие общий декаданс буржуазной культуры, повлияли, очевидно, и на Гамсуна, хотя влияние этих условий является в его романах второстепенным и не столь значительным.

Гамсун с величайшей любовью отзывался о нашей классической литературе. Особенно он выделял трех писателей: Тургенева, Достоевского и Толстого. Тургенева он ценил за прекрасное сердце, гуманизм и культурность. Достоевского норвежский писатель считал безумцем, фантазером и гением: «Для определения его величины нехватает нам меры, он стоит особ-

няком», писал Гамсун. Толстого он называл плохим мыслителем, и все-таки он казался ему древним пророком, а по поводу «Войны и мира» и «Анны Карениной» он заметил: «Никто не создавал величайших произведений поэзии в этом роде» [1]). Тургенев, Достоевский и Толстой, несомненно, наложили свой отпечаток на творчество Гамсуна: Тургенев повлиял на него романтикой любви и чувством природы, Достоевский — своей особой фантастикой и иррациональностью поступков своих героев и, наконец, Толстой — своим могучим реализмом, простотой языка и общим языческим восприятием жизни. В последних произведениях влияние Толстого заметно усилилось. Не только реалистическая манера письма, ясность языка Толстого отразились в еще большей степени, чем раньше на Гамсуне, но, как мы видели, и философские идеи Толстого, его проповедь опростительства основательно вспомянуты писателем. Общность некоторых бытовых, хозяйственных и культурных условий в прошлом Норвегии и России (преобладание крестьянства, уездного быта и т. д.) создала благоприятную почву для воздействия на Гамсуна наших русских классиков. И по той же причине Гамсун нам особенно понятен и известен.

Отмечая влияние русских писателей на Гамсуне, мы не хотим сказать, что Гамсун подражал им. Нет, у него — свое, особенное творческое лицо. Стиль Гамсуна вполне индивидуален. Своеобразный юмор — усмешки втихомолку, шутливый намек и недоговоренность, легкая парадоксальность, передача диалога в третьем лице, естественная наивность, умение рассказать о страшном и трагическом, как о самом обычном, примирительный тон, соединение романтики с реализмом, чисто гамсуновский неореализм — весь этот причудливый и вместе с тем простой и изящный языковый и образный сплав создают необычайно привлекательный стиль художника. Наш неореализм многое взял от Гамсуна.

В последних романах эти особенности стиля Гамсуна сохранились, но стали более зрелыми и спокойными. Усилилась реалистическая струя.

Есть еще одна черта, изобличающая в Гамсуне огромного писателя «божьей милостью» — любовь к человеку, чуткость к его горю и радостям. Как мягко и любовно освещены Исаак, Оливер, Ингер, Самоубийца, сколько внимания к ничтожным, казалось бы, мелочам крестьянского труда, к житью-бытью калеки-кастрата! Вот чему следовало поучиться у Гамсуна нашим молодым писателям, ибо человека, человека труда, как это ни странно на первый взгляд, у нас сплошь и рядом забывают среди нашей литературной суеты и петушиных кружковых боев. Слабая сторона художественного творчества Гамсуна здесь заключается в некоем безличном и общем примиренчестве. Гамсун проповедует, что нужно быть милосердным и не относиться строго к людям. Совет неправильный и расплывчатый. Наша эпоха — строгая. Она требует любви к одним людям и беспощадной строгости к другим.

[1]) Кнут Гамсун, В сказочной стране. Пережитое передуманное Кавказе, Изд. Саблина, 1906 г.

А. Безыменский.

С. Пакентрейгер.

Комсомольские поэты прямолинейные и непримиримые. Они ставят ударерение на существенном. Что является решающим для наших дней? Что вторгается не только в шахту углекопа, во французскую палату, но и в лабораторию профессора Павлова и в кабинет стареющегося Бернарда Шоу? Земной корабль накренился, потому что не утихает «ветер, ветер на всем божьем свете». Он одинаково задувает в шахту уэльского углекопа, в хату болгарского крестьянина, в шанхайскую прядильню и в американский суд, убоявшийся старика Дарвина.

Время взывает, время требует политического поэта, художника политического слова — вот на чем ставят ударение комсомольские поэты. Можно приводить исторические и неисторические опровержения: так ли следует ставить вопрос о социалистической поэзии и на политическом ли слове этой поэзии следует ставить ударение, но комсомольцы-поэты самым фактом своего существования утверждают, что иначе быть не может, по крайней мере они иными быть не могут.

Такими их надо брать, такими изучать. Как люди, как граждане, как поэты они вышли из шторма, духовно родились, формировались и закалялись в годы диктатуры, вместе с отцами проложили себе дорогу в историю, на гребне Октября увидели горизонты мирового социализма, «ползли на брюхе в грязи» во время отступлений, оскаливали зубы и оттачивали волю к победе в борьбе с мятежниками, подымавшимися против революции, кровью оплатили завоевание политической власти и ныне оплачивают подчас суровой ценой сохранение своей сущности и возможности ее реализации.

Люди сегодняшнего переходного политического дня, они проводники политически заостренного, политически оформленного искусства.

Задача, так поставленная, крайне ответственна, неимоверно трудна и, конечно, не все из них могут, окажутся и оказываются подлинными политическими поэтами. Иные из них только хорошие, преданные солдаты, а иные одушевленные агитаторы.

Быть политическим поэтом — значит найти максимальные художественные средства, вооружить друга и окончательно разоружить врага. Всякая беспомощность, неуверенность и — самое худшее — нарочитость и подделка

достигают обратных результатов: — не только не разоружают врага, но окончательно отталкивают друга.

Безыменский — из лагеря комсомольских поэтов. Первые его строки насыщены новой социалистической психологией, свежей, крепкой, подчас и грубой.

Комсомольцы — это ведь первые представители молодого русского надпольного социалистического поколения.

Комсомолец это и есть реальный живой Адам, которого усталые поэты кануна революции, очумевшие от удушья предвоенной жизни, искали и не могли найти в замшелых фолиантах древности, в ветхих гербариях истории.

Комсомолец — это социалистический Адам — участник и творец той грозы, которую подготовили отцы. У него свои аппетиты, свои желания. Он не только алчет социалистического мира. Он строит его молодыми руками, молодыми мозгами. У него не только социалистическая психология, но и. если так можно выразиться, социалистическая физиология. У него свой глазомер, свое обоняние и осязание. У него свои строительные планы, завещанные ему Лассалем, Марксом, Бебелем, Лениным.

И вот послушайте. Он игнорирует ту весну, в честь которой слагали гимны поэты всех времен и народов. Он игнорирует ее сознательно. Он сбрасывает ее пока со своих политически-поэтических счетов.

Я слышу — мне кричат: послушай, что такое.
Весна — а ты поэт — а в пятках нет огня.
А я в ответ молчу. Я за весну спокоен.
Придет
И расцветет
Без меня.

И море пока не входит в сферу его политической поэзии.

Сознаюсь, море. Я не спорю:
Да, ты красивей, чем стихи —
Не буду петь стихов о море.

И что твоя мне мощь и тишь
И ветра за волной погоня?
Хватать лишь звезды можешь ты
Мозольнопенкою ладонью.

А звезды не заменят труб.
Одни лишь звезды нам — убоги.
Мне ближе, мне роднее труд
В каменьях вьющейся дороги.

В этом игнорировании весны и моря чуется, конечно, схематический, слишком схематический социализм 1919—1921 г.г., ибо, с точки зрения зрелого, сознательного, зрячего социализма и весну и море со всеми его стихиями

придется взять в оборот, придется подчинить планомерной человеческой воле. Но комсомолец только в начале реального, социалистического пути. Он знает:

Иная весна
Есть,
И этой весне без меня
Не расцвесть.
И надобно ей
Не огня,
А тока,
Каплей весеннего сока,
Сока мускулов и мозга.
Я по асфальтовым стволам городов
Теку
К почкам весенним — заводам,
Это не гость, не весна бестелая,
Эту весну сам делаю.

Он не «поет», не славит весну, не растворяет в ее наговорах и соблазнах. «Кто боится за девичьи губы», а он «за дымящиеся трубы». Он сам делает весну государственную, рабочую, социалистическую. Он — рыбак, продработник, грузчик, каменотес, лудильщик и счетовод государственной весны пролетариата. И потому жизнь пахнет строительными, вкусными социалистическими запахами

Ах, как пахнет жизнь.
Как пахнет вкусно жизнь.

На общем фоне свежей социалистической психологии выделяются две особенности в поэтических работах Безыменского. Одна берет свое начало в грозной, жесткой колыбели комсомольской—в гражданской войне. Это — его историческая няня Аринушка. Войну эту он слышит и сегодня. Она не угасает. Ее отблески он различает и улавливает даже в пустяках, в мелочах, в обыденных взаимоотношениях своего общества, живущего в новых условиях. Эти отблески одновременно будят воспоминания и пророчат будущее.

На первом этапе поэтической работы комсомольский поэт раскрывал это начало органически, без тени надуманности и теоретизирования. Оно не было вскормлено политграмотой. Может, политграмота и способствовала его оформлению, но оно сказывалось правдиво, до последнего поэтического миллиметра.

Политические истины вырастали и подымались из колыбели комсомольца в образах русской исторической конкретности. Политическая истина облекалась плотью вещей, животных и людей. В противовес пролетарским космистам, всякую реальность умножающих на фантастические миллионы и миллиарды абстракций, Безыменский фантастические миллионы и миллиарды революции пытается показать через узенькую щель маленьких обыденностей и реальностей.

Оттого его рассказ о котиковой шапке, полученной летом по ордеру из распределителя, воскрешает не только наш 21 год, но и вызывает в памяти германский 23-й, и, когда воображение ваше до краев насыщено этими голодными военными и воинствующими годами, и комсомолец-поэт рассказывает о социальных контрастах новых годов, вы верите во «встревоженный» котик, верите, что

Будет день,
Мы пред'явим
Ордер
Не на шапку,
На мир.

Социализация вещей, стихий и животных, внедрение в них политического смысла очень искусно выражены в рассказе о «Море, камне и котенке».

Аналогия между камнем, вырастающим в ком человеческих усилий — шоссейную дорогу, с ячейкой — придорожным камнем социалистической дороги, начало которой глянуло из тьмы глаз мяукающего котенка, — это уже некоторое индивидуальное поэтическое завоевание.

Страсть социализировать глаза, камни, дороги, страсть облекать политические помыслы, надежды, воспоминания, в физическую оболочку обыденностей и реальностей — вот та первая особенность, которая присуща Безыменскому, как поэту. Она оказалась в нескольких первоначальных вещах: «О шапочке», «Валенки», «Партбилет» и др.

Это было залогом того, что поэзия Безыменского не изменит политике и политика не изменит поэзии. Однако в дальнейшем многие политические вещи Безыменского утратили поэтическую измеряемость.

Об этих вещах мы поговорим к концу, а сейчас обратимся ко второй особенности поэтических работ комсомольского поэта.

Эту вторую особенность я бы назвал лирикой созидания. Мы уже отметили наиболее удачные мотивы материального созидания, где отдельные образы подогнаны под категорический императив: работай.

У него солнце потеет, пыхтит, кисти — колеса, дни кладут камни, мост — наборщик, май — фабзаяц. Эта упрощенность и рационалистичность некоторых образов часто превращает гимны материальному созиданию в абстракцию, производственную риторику.

Куда проще, убедительнее, интимнее лирические рассказы о социально-психологическом и моральном созидании. В этом смысле выделяется рассказ о шкете, которого автор случайно задел плечом, за что получил камнем в спину.

Однако в этой области у Безыменского на первых порах не хватает возможностей развернуть принудительную, убеждающую силу поэтических мотивировок. Он очень часто сбивается на обыкновенные перечисления, на повторения, теряющие свою новорожденную свежесть. Ему с трудом удается развернуть внутренний механизм того, что называется законами необходимости, неизбежности в теме, в сюжете и обусловленности в психологии воспроизводимых фигур.

Самое существенное: — ему здесь очень часто изменяет его индивидуальный поэтический измеритель, которым он бессознательно пользовался, изучая глаза котенка, фойе театра, фигуру шкета, облик матери.

Он не расшифровывает мелькающих с неимоверной быстротой фактов новой жизни, не фиксирует внимания своего и читателя на типичных, чересчур часто нагромождает их в обильном количестве. Вместо того, чтобы вернее сжать тесным кольцом отобранных фактов основную идею, основное настроение, основной образ, побудить, заставить читателя творчески приобщиться к социалистическому созиданию, он разбрасывается и расплывается.

В самом деле, прочтите отрывок его рассказа о «Петре Смородине».

Вот он пылающей речью
Старый ворочает мир,
Миг — и винтовку на плечи.
Он — полковой командир.
В Пскове ли, Ямбурге, Нарве,
Белогвардейца бьет,
Миг — в заводском зареве
Снова тачает болт...
Вот заседаний сотни.
Тезисы. Книги. Листки.
Митинг. Ячейка Субботник.
Фабрики. Села. Полки.

Это же рифмованная регистрация фактов, особенно в последнем четверостишии. Так можно исписать целую книгу рифмованных исходящих.

Провалы эти исчезают в других стихах, особенно в позднейших рассказах: «Профессор», «Журнал» и в песнях «Лениндень», «Партбилет № 224332».

Здесь отдельные образы иногда оправдывают недостатки целой вещи. Здесь лирика созидания напоена молодой, мужественной радостью.

Созидание партии он передает иногда с такой же упоенной уверенностью, как и моральное созидание низового подростка, вышедшего на исторические просторы. Только, кстати, совершенно излишне щеголять декоративными, бальмонтовскими прописными заглавными буквами. Они не удлиняют поэтического впечатления ни на один вершок.

И вот если с точки зрения этих особенностей самого поэта подойти не к его маленьким рассказам-песням, рассказам-стихам, если перейти к попыткам большого масштаба, к «Комсомолии», «Городку», «Войне этажей», то придется отметить сползание с той поэтической высоты, которую поэт взял в начале.

В «Комсомолии» перед поэтом стояла трудная, почетная и художественно-соблазнительная задача — открыть лицо первого русского молодого надпольного социалистического поколения, приобщить читателя к истокам грозного рождения комсомольского Адама, запечатлеть необыкновенное в человеческом подростке, человеческое — в необыкновенном подростке.

Но автор не завязал своей задачи вокруг «эпического» узла и потому не разрешил и не выполнил ее.

В «Комсомолии» нет опорного пункта, нет костяка. Страницы или картины «эпопеи» можно переставить в любом порядке. Первую поставить последней, а последнюю — первой.

Васьки, Петьки, Ахрютки, Гончаруки, Оси, Кости, Володьки мелькают часто только как имена человеческие, а не как живые образы живых комсомольцев. Столько лиц! Хотя бы одно из них прошло через все страницы со всей своей психической и физической биографией. Сделайте опыт: вычеркните некоторые из них. «Эпопея» решительно ничего не проиграет в своем равновесии. А попробуйте в любой классической поэме или эпопее выкинуть какое-нибудь лицо. Будет зияющая пустота. Равновесие нарушится и вещь окончательно будет испорчена.

Это не значит, что решительно все в «Комсомолии» не выдерживает критики. И здесь есть кое-какие удачи у Безыменского. Некоторые комсомольцы недурно схвачены живыми черточками и в живых положениях, начиная от самого автора, заснувшего с винтовкой в руках на губкомовском столе и разбуженного «немарксианским» сапогом, и, кончая Мишкой, показывающем наивно-мелькающие пятки: он сбежал со сборов перед кулацким восстанием, чтобы внести членский взнос в профсоюз. Самое кулацкое восстание передано строчками сжатыми и быстрыми, как выстрелы в цепи.

Есть увлекающая правдой сила в том пафосе презрения, каким автор в 7-й главе обливает своего хозяина — олицетворение армии обывательских жаб в сюртуках, поносивших цивилизованным кваканьем террор и диктатуру.

Очень убедителен, хотя и не нов, прием в третьей главе: швейные машины поют гимн комсомолкам, без устали шьющим красноармейское белье.

Один из наиболее удачных образов, образ Мани, девушки гражданской войны, — запечатлен именно в этой главе.

Остальные персонажи не заслужили у Безыменского и того количества строк, которое он уделяет Мане.

Но именно эти более или менее удачные места подчеркивают, что вещь построена по принципу обыкновенной описательности. По элементарному принципу фиксирования событий и имен, как мелькали они перед глазами автора. Они не перегруппированы, не отсортированы, не взвешены и не измерены поэтическими измерительными приборами. Ведь эпопея требует не только исторического — в данном случае девятнадцатого — года, но исторических событий и лиц. И физиология изменяет автору. Нет той осязательной и обонятельной силы в передаче вещей, какими отмечены первые работы.

Единственное оправдание — в общем духе — мужественной радости и под'еме, какой насыщены описательные строки.

Общий жизнеутюрный тон «Комсомолии» очень часто подрывается п а р а д н о й, внешней обрисовкой войны, какую ведут комсомольцы и с врагом, и с невежеством, и с отсталыми товарищами. А ведь эти «войны» требуют куда более углубленной передачи освещения.

Можно бы примириться на том, что «Комсомолия» — ряд плакатных очерков, если такая терминология возможна.

«Нерасторжимая связь с поколением», о которой говорит тов. Троцкий, органичнее взята в маленьких вещах Безыменского. Если бы тов. Троцкий к этой вещи подошел с тем же требовательным математическим критерием анализа и синтеза, с каким он подошел—ну, хотя бы—к «150.000.000» Маяковского, он, конечно, снисходительно не включил бы все части поэмы в формулу: Безыменский — это надежда и обещание. Эта формула целиком покрывает те маленькие вещи, которые мы разобрали в начале, и только очень немногие места «Комсомолии».

К «Городку» следует пред'явить бо́льшую требовательность, чем к другим работам, потому что автор пытается показать читателю, как изменилось «уездное» лицо России за время войны вплоть до того момента, когда рабочий водрузил над нею знамя своей власти.

Очевидно и Безыменский чувствовал, что с этой вещи больше спросится, чем с другой, потому что снабжает ее внушительными эпиграфами и коротеньким предисловием, что «принимает на себя ответственность за нее», однако не указывая, за что именно он будет отвечать.

А отвечать в сущности не за что. Эта работа решительно ничем не отмечена. Это не поэма, а дневник, записи о захолустном городке. И они не содержат ни одного оригинального штриха. В довоенном уездном лице городка автор не только не отыскал таких особенностей и черточек, какие бы до сих пор не отмечали другие, а, наоборот, зарисовывает банальные стороны, дает банальную схему, которая стала общим местом.

Толки об удорожании сахара, скопидомство лавочников, послеобеденный сон, флиртующая молодежь и офицерщина — вот оно довоенное лицо.

Казалось, молодой комсомольский автор мог бы осветить нам не только сонно-лавочническое и офицерско-флиртующее уездное лицо, но и тех, о ком он широко вещает в эпиграфе, кто к концу поэмы водружает знамя рабочей власти.

Этого, в первую очередь, ждешь от свежего пера комсомольского поэта, который цитатой из Горького подготовляет нас к такому ожиданию.

Вся поэма стала бы тогда на ноги. События не приходили бы извне, не делались бы по принципу «вдруг». Вдруг — война, вдруг — городок без царя, вдруг — над городком ревком.

Вот, скажем, мобилизация. «Мобилизация, — писал некогда тов. Троцкий, — пробуждает, ставит на ноги и призывает к правительству самые отсталые народные слои. Их семьи насильственно вырываются из безразличия и заинтересовываются судьбой страны. У всех этих слоев мобилизация и об'явление войны пробуждает новые ожидания. Смутные надежды на изменение того, что есть, на перелом к лучшему — охватывают самые темные массы, сразу выбитые из равновесия нищеты и рабства. Здесь происходит то же, что в начале революции, но с той решающей разницей, что революция связывает новые пробужденные народные слои с революционным классом, война же —

с правительством и армией. Как там все неудовлетворенные нужды, все затаенные обиды, все надежды находят свое выражение в революционном воодушевлении, так здесь те же самые социальные чувства принимают временно форму патриотического опьянения» («Война и Интернационал», т. I).

Достаточно прочесть эти строки, чтобы уездную мобилизацию осветить светом социалистического смысла. А у Безыменского внешнее, никакими социальными помыслами не расшитое, описание манифестации, приевшееся описание офицерского бала и вдруг:

Но что за говор в глубине
В окне, где шепотливый митинг,
Кто шепчет там «война войне»,
Кто шутит спичкой в динамите?

Здесь все до последней степени фальшиво с точки зрения исторической. Мобилизация в России тоже вызвала временное превращение «социальных чувств в форму патриотического опьянения». То, что политически зорко оформлял Ленин и наиболее передовые представители партии, то у масс оформилось, когда она прошла через чудовищную фабрику войны и окончательно отрезвилась социально и политически от патриотического опьянения. Эта формула—война войне—преображенная вместе с другими политическими формулами, могла, конечно, только венчать поэму.

Как нет социально-психологической и исторической диалектики и правда в изображении уездной мобилизации, так нет ее и в февральских и октябрьских моментах городка. Они решительно ничем не подготовлены, ничем не мотивированы.

И это потому, что с самого начала поэт не связал пробудившегося от сна городка с революционным классом.

Надо было сразу же показать не только надпольное, но и подпольное, подспудное уездное лицо, чтобы читатель поверил в его февральскую и октябрьскую фазу.

Если неудачи «Комсомолии» и «Городка» следует мотивировать, раскрывать и доказывать, то к «Войне этажей» это совершенно неприменимо. Там пороки являлись продолжением поэтической добродетели. Здесь нет ни пороков, ни добродетелей. Поэзия здесь не ночевала. Это залихватский жилищно-кооперативный фельетон, где тема классовой войны переложена на мотивы «Гоп, мои гречаники» и «Ламца дрица о-ца-ца».

Вся эта вещь лежит вне пределов литературно-общественной критики.

Оползни и провалы, которые были отмечены в поэзии Безыменского, кроются в том, что он, дорожа своими политическими помыслами и убеждениями, заслоняет ими реальный материал действительности вместо того, чтобы

критически сочетать и сплавлять его с этими помыслами и убеждениями. Это особенно резко сказалось в «Войне этажей».

Как политика изменяет свои приемы и методы, в связи с меняющейся исторической обстановкой, так принуждена менять свои методы и приемы и поэзия, связанная с этой политикой. Каждому овощу свое время.

«Первая книжка Безыменского вместе с невошедшей в нее поэмой («Комсомолия») как бы замыкает определенный период, если хотите, определенный возраст нового поколения, нашей смены. Поколение это растет, юноши становятся мужами», — писал тов. Троцкий о молодом авторе.

Вместе с поколением должен расти и мужать поэт этого поколения и не только как коммунар, как гражданин и человек, но и как мастер.

Не только свои приемы, какими Безыменский на первых порах пользовался бессознательно, следовало возвести в степень возмужалого мастерства, не только уточнить свой поэтический инструментарий, но использовать инструментарий больших мастеров, их приемы архитектуры, усвоить на индивидуальный лад и свои новые вещи о новой жизни, оснастись опытной и крепкой рукой. С высоких тонов пафоса нужно спуститься на тон обыкновенного разговора. Поэтому и удались Безыменскому те стихи, какие написаны как рассказы. Это же даст ему возможность оглянуться критически на действительность и на самого себя. Это может помочь ему перейти из рядов поэтического ЛКСМ в непримиримые ряды поэтической РКП.

Письма из Турции.

Константин Юст.

I.

Ангора, --

Ангора и Константинополь. Республиканская столица крестьянской Анатолии и величественный город султанов, греческих лавочников, левантийских банкиров. Не в пример прежней столице, совершенно не отражавшей (и не отражающей) жизни и быта подлинной Турции и представлявшей из себя концентрацию гнезд отечественных и европейских паразитов на теле всетурецкого крестьянства, Ангора — воплощение неприкрашенной анатолийской действительности, тип всех других внутренних городов Турции, и особенно тип послевоенный, после пожаров, кровопролитных погромов, основательных грабежей. Скрипучая «кагни» (арба), с пологом, сделанным из грубого черного войлока, женщины в их невообразимо грязных и рваных шароварах, в цветных ситцевых кофтах, стада овец, почти ежедневно проходящие по улицам, — все это чистая, настоящая, всамделишняя Анатолия. Таковы внутренние турецкие города, характерные, хотя и безобразные, и в этом национальное значение Ангоры, в этом оправдание ее безобразия.

Воистину безобразна и убога Ангора, — разросшаяся анатолийская деревня, в которую султаны ссылали из Константинополя неугодных им чиновников, в том числе и тех, смертная казнь для которых заменялась поселением в нынешней столице. Воистину безобразна и убога Ангора, несмотря на отремонтированные римские мосты, несмотря на десятки древних водопроводов, которые берут сейчас из-под разбросанных повсюду кладбищ свою зараженную мутно-грязную воду, дающую плотный осадок серой земли. Быстрая желтая речка, пробегающая через город, окружена нечистотами и малярийными лужами на огородах, разбросанных на всем ее протяжении, из нее жадно пьют больные, покрытые язвами сельские быки, в нее на окраинах сваливают грязное зловонное белье, по которому женщины, босые и зимой, крепко колотят длинными палками, — это называется стиркой (мылом служит рассыпчатый зеленый камень, добываемый в двух-трех станциях от Ангоры).

Во время войны целыми днями горели греческие и армянские кварталы, в проулках суетливо шныряли красные, зловеще красные от пожара фески, растаскивая жалкие пожитки гяуров, и когда пустырями облысела áнгорская деревня, когда с грохотом и треском рухнули крыши с четырех самых больших европейских домов, когда в ущелье в дыханьи ветра стало внятно чувствоваться зловоние трупов, вскрытое дождевыми потоками, которые через новые кладбища пробили себе путь к речке, — Турция, бежавшая из Европы, сделала тогда из Ангоры свою новую столицу.

День рождения Мохаммеда, — как гласит старое мусульманское предание, — был ознаменован почему-то весьма неприятными вещами: константинопольские женщины, наследницы прекрасной Елены, вдруг произвели на свет целую массу невиданных уродцев, в дремучих волнах Нила забились какие-то загадочные чудища, и само солнце, животворное чудо пустыни, уменьшилось на целую треть в своей окружности. Организация в Ангоре власти Великого Национального Собрания Турции произошла одновременно с кровавым нашествием греков, вооруженной оккупацией Константинополя, достройкой ангорского клуба фатального для судеб Турции «Иттихада» и — гибелью в новой столице последнего цветка. И в том, и в другом случае большинство предзнаменований не оправдалось Ислам побывал в Африке, в Индии и под стенами Вены, а Турция, в соответствии со своим грубым восточным юмором, выкупала греков Константина в неприветливо-холодных волнах Средиземного моря и поместила свой Меджлис в только что отстроенном зале иттихадистского клуба. Вещим оказалось лишь одно предзнаменование. Со времени установления в Ангоре власти националистов ни в одном дворе, примыкающем к любой ангорской сакле, нет ни одного цветка, тем более потому, что никто из турок и не собирался разводить цветов. Временно жилище человека на земле, — и что значат цветы перед лицом Бесконечного!..

Судьба, — это птица, привязанная к затылку человека. Взмахнула своими черными, пропитанными дымом войны крыльями, сделала прощальный круг над старым вещим Босфором, над поблекшими минаретами и обветшавшими кипарисами Стамбула, слетала в далекую чужую Лозанну и затем свила свое гнездо в древней крепости анатолийской Ангоры. В прежней столице срыты легендарные укрепления и форты, и из султанского киоска «Топ-Ханэ» Европа зорко стережет Константинопольскую Турцию. В прежней столице живет капитуляция, живут и работают всякого рода «смешанные трибуналы». Турция, подлинная Турция, убежавшая с европейских берегов в родную Азию, крепко засела в безобразной, но независимой Ангоре, ближе к крестьянину, подальше от английских дредноутов и французских аэропланов. Лишь вода спит, — враг не спит никогда. Далеко врагу до Ангоры, нищего, но горячего сердца анатолийских «мехмеджиков», и потому, — «иншалла», — быть столице в Ангоре, если не всегда, то надолго.

Грустно вступать на бедную ангорскую землю на другой день после волнующе-нежного прощания, на станции Хайдар-паша, с кружевными минаретами Стамбула, мерцающими, точно длинные белые свечи, в утренних обла-

ках тумана, после многочасового об'езда красочных берегов Мраморного моря и затем просторного, дикого, заросшего зеленью озера Сабанджа. Еще стоят перед глазами высокие стены Эски-Серая, крутые скаты крепостных стен Еди-Куле, дымятся вдали, на синем Мраморном море, тяжелые глыбы Принцевых Островов, еще не забыто другое море, «Море Деревьев» («Агадж-Денизи»), простирающееся в сторону Ангоры на много верст от Измида, но внезапное утро вдруг пробуждает в мертвенно-сером гористом плоскогорьи, пустынно лишенном зелени, отливающем иногда ржавыми пятнами залежей железа и хмуро-грязным свинцом малярийного болота. Чем ближе к городу Кемаля, чем ярче разгорается жгучее южное солнце, тем реже на горизонте может отдохнуть взгляд на одинокой группе низкорослых деревьев, тем пустыннее пробегающие мимо горы и долины, тем мертвее окрестная земля, когда-то чудесно плодородная, когда-то житница Анатолии. Тихо и почти безмолвно, точно стыдясь своей корявой наготы, встречает пришельцев маленькая грязная станция, с правой стороны которой жмутся к полотну новые однотонные военные постройки. Впереди сбившиеся в кучу серые сакли, громоздящиеся друг на друга, слепленные из соломы и грязи, лишенные какой бы то ни было окраски и потому сливающиеся с бесцветно-серой землей. Справа от шоссе, ведущего в город, почти никогда не высыхающие болотистые лужи, — это они орошают несколько скученных здесь огородов. Два-три тощих деревца, с листьями, постоянно серыми от осевшей пыли. Если идет дождь, перед вокзалом грязь, как-то особенно тоскливо действующая на нервы, в солнечную же погоду облака едкой пыли. Здесь же, по соседству с небольшим станционным зданием, верхний этаж которого, по особой любезности, отведен французскому генералу Мужен, разбросаны кучи всевозможных отбросов, уничтожением которых занимаются лишь собаки (должно быть, в благодарность за то, что их так умилительно воспели Лоти и Фаррер), солнце, дождь и ветер. Такова Ангора из Константинополя, во всем своем убожестве, во всей своей неприглядности, — Ангора, как она есть.

Несколько иное, более примиряющее и менее внезапное впечатление создается при в'езде в столицу Турецкой республики со стороны Инеболи, на утомительной, хоть и затейливо расписанной разными красками телеге, после шестидневной тряски по непроезжим проселочным дорогам. Оборванные, постоянно усталые и унылые крестьяне, их мрачные села, изредка попадающиеся по обеим сторонам пути, постоялые дворы с глиняными нарами и множеством всякого рода насекомых, хотя и пшеничный, но серый, повсюду смешанный с песком хлеб, — все это уже задолго создает нужное настроение, уже готовит к самому худшему, и поэтому Ангора, Ангора из Инеболи, кажется менее унылой, менее давящей на сознание. Люди равны, как ровна поверхность наполненного чана, но разны их временные земные жилища.

Кругом горы, застывшие, угрюмые, серые. Как будто бы не было руки человека, как будто бы анатолийский турок, вдруг очнувшись от мертвой спячки, быстро-быстро, в течение одного дня, соорудил из грязи, смешанной с саманом, несколько сотен лачуг и землянок и затем снова заснул, еще более

ленивым сном. Чуть ли не в центре города, на безлюдных склонах горы, вершина которой покоит остатки башни Тамерлана, до сих пор еще можно встретить десяток жирных куропаток, а в окрестностях, на расстоянии десятка верст, древние озера попрежнему покрыты тысячными стаями диких гусей и уток. Вот уже пять лет, как в Ангоре заседает национальное правительство, и Меджлис говорит о мировой роли новой Турции, — но в столице Турции со стороны местного населения не видно, как и прежде, почти никаких усилий к улучшению жизненных условий. Мутная грязная вода засоряет почки, с каждым летом малярия выхватывает из среды ангорцев все большее количество жертв, министры гигиены сменяют друг друга, точно в чехарде, расходуя тощий бюджет на содержание чиновников и заменяя один хороший план оздоровления Ангоры еще более великолепным, а бесталанная столица пребывает все в той же позиции, и жители ее болеют и мрут не в меньшей пропорции. Когда Ангора была простым вилайетским захудалым местечком, известным в Европе лишь своим полуразрушенным храмом Августа, да разве еще козами и кошками (хотя ангорские кошки, на самом деле, происходят из восточных вилайетов), местная греческая и армянская буржуазия, спасаясь от болезней, пыли, грязи и дурной воды, устроила в окрестностях несколько дачных поселков. Во время последних войн, когда националисты довершили экспроприацию христиан, дачные поселки, все эти Кечеверены, Ак-Тепе и Чан-Кая, стали резиденцией новой власти, представители которой теми или иными путями захватили «дачи» в свою полную собственность. Естественно, что положение массы от этого нисколько не улучшилось. Черная собака, белая собака, — все равно собака. Своя ли буржуазия владеет дачными местами, либо иноземная, — ангорские чиновники все равно живут в мерзких санитарных условиях, с тою лишь разницей, что после перенесения сюда столицы число их сильно возрасло, увеличив, понятно, и общую сумму болезней и смертей. К тому же, дачные поселки приносят весьма малую пользу и завладевшей ими буржуазии. Во всех этих ангорских Версалях, Потсдамах и Петергофах природа почти столь же сурова, как и в самом городе, — разница лишь в меньшем убожестве домов, в наличии при дачах редких фруктовых садов, в более чистом воздухе, здоровой воде и отсутствии зловония. В результате частая смерть вырывает своих жертв пачками не только в среде чиновничества, но и из рядов депутатов Меджлиса, болезнь валит в постель, друг за другом, наиболее самоотверженных и работящих деятелей национально-революционного движения, начиная с Исмета и самого Кемаля, и на кладбищах, окружающих Ангору со всех сторон, роются и роются новые могилы.

В кабинетах министров развешены на стенах причудливые планы новой Ангоры, составленные уже давно немецкими, французскими и американскими инженерами. В архивах правительства можно найти целый ряд концессий, выдававшихся иностранцам при первом желании с их стороны приступить к обширным работам по приведению Ангоры в благоустроенный вид, — начиная от исторически-знаменитого проходимца Честера и кончая швейцарцем Фонжаллазом, англичанином Кеннеди, американской группой Елен. Прави-

тельство, напрягая все свои возможности, постоянно стремилось, в целях поощрения, положить фактическое начало строительному и восстановительному этапу в жизни Ангоры, отрывая средства от других насущных дел и предоставляя их для нужд столицы. И, тем не менее, тяжелый ангорский воз и поныне там. Концессионеры, прибывавшие в Ангору, оказывались, в большинстве, мелкими жуликами и авантюристами, мечтавшими о том, чтобы, заполучив концессию, заложить ее в каком-либо наивном банке, либо перепродать легковерным, буде таковые найдутся. Иногда это были простые шпионы, прибывавшие в Ангору с целью ведения экономической разведки. Были и восторженные друзья, дававшие Кемалю горы обещаний, достойно восседавшие на банкетах, которые давались здесь в их честь, произносившие весьма нежные речи о новой Турции и затем тихо и бесследно исчезавшие, оправдывая мудрую турецкую поговорку: «С другом ешь и пей, но дела никакого не имей». В числе этой последней категории коварных друзей был и пресловутый «туркофил», швейцарский полковник Фонжаллаз, один из родичей как раз того Фонжаллаза, который оправдал убийц Воровского. Немалую роль в этой инертности иностранных предпринимателей играло прямое и резкое воздействие со стороны антантовских посольств, решивших всеми путями мешать делу восстановления Ангоры и, тем самым, принудить Турцию вернуться в Константинополь. По примеру иностранцев продолжают игнорировать Ангору и портовые турецкие буржуа, издавна находящиеся на службе у европейского капитала и послушно творящие волю иностранных посольств. Ангорская буржуазия еще недостаточно богата для того, чтобы взять на свои средства отстройку города. В конечном счете, планы упорно остаются планами. Более или менее крупные постройки ведутся лишь правительством (Меджилис, здания отдельных комиссариатов), да разве еще знаменитый эвкафом, разбухшая мошна которого не могла не обратить на себя внимания, и который вынужден был взять на себя подневольную роль первого «частного» предпринимателя.

При материальной помощи (крупный заем) и моральном воздействии того же неунывающего правительства постепенно сдвигается с мертвой точки и столичное городское самоуправление, ангорское «беледие». Ангора увидела, наконец, электричество, которое, как и полагается, проведено только в кварталах, заселенных лавочниками, депутатами, самими отцами города и владельцами более или менее крупных домов. На немногих «главных» улицах начат ремонт мостовых, который, хотя и медленно (традиционное «яваш-яваш»), но продвигается вперед. Однако беледие не может работать без экзотики. Вместо того, чтобы устроить в Ангоре хотя бы один цветник, хотя бы один более или менее сносный сад, затейные отцы города раз'езжают по заграницам, расходуя крохотные городские доходы на «изучение европейских муниципалитетов», при чем главный отец, «беледие реиси» (городской голова), доходит в этом отношении до кавказских анекдотов, устроив, напр., поездку в Румынию для изучения тамошнего рабочего законодательства, которое, мол, является лучшим в мире. В столице лишь один убогий кинематограф, в столице нет никаких общественных зданий, за исключением небольшого

зала «Тюрк-Очагы», имеющего универсальное значение, но зато на одной из окраин растет новое превосходное тюремное здание, окруженное крепкой каменной стеной, а на двух главных улицах появились машины, предназначенные для поливки мостовых. Недаром турки говорят: «На каждый горшок найдется своя крышка», — чем же беледие не является этой своей крышкой для убогого, дырявого, столичного горшка...

Строят, строят в Ангоре мостовые. Немецкие рабочие, привезенные из Берлина, проводят электрические столбы. Но — все это делается лишь в двух-трех центральных кварталах. Путешествие по всей остальной Ангоре, и особенно в безлунную полночь, продолжает оставаться проявлением если не геройства, то смелости. Узкие с самыми нелепыми зигзагами улички, специфические ароматы которых заставляют зачастую скромно закрывать нос. Никаких названий, никаких номеров, — бредешь по лабиринту бесчисленных закоулков, руководствуясь лишь инстинктивной памятью и постоянным спутником электрическим фонарем, ибо повсюду ямы и лужи, при каждом шаге вывороченный камень бо̀льшего или меньшего размера. Дома окружены высокими земляными стенами, стыдливо скрывающими внутренний быт от каждого нескромного взгляда, и летом между ними постоянно стоит отчетливо видный глазу столб едкой пыли. Повсюду бесчисленные мелкие лавчонки, располагавшиеся раньше лишь на Коюн- и Балык-базарах (нечто вроде ангорского Сити), а сейчас, когда Ангора крепко стала столицей, прущие прямо из-под земли, где это лишь возможно, и чуть ли не еженедельно. Постройка новой лавки, всегда внезапной, неожиданной, производится в течение нескольких часов. В глиняной стене, выходящей на улицу, вырубается топором квадратное отверстие, высотою в рост человека. С другой стороны стены, во дворе предприимчивого хозяина, ставятся вдоль и поперек несколько отструганных досок, пространство между которыми обмазывается грязью, смешанной с соломой. Стена, выходящая на улицу, закрывается досками, которые распахиваются по середине, и новое торговое предприятие готово. В этих дырах торгуют и обитают, здесь же оперирует горбатый парикмахер, сюда приходит поторговаться толстая безобразная матрона, сердито прикрывающая тряпкой свое из'еденное оспой, а все же женское лицо, но чем существуют ангорские лавки, все имущество которых оценивается зачастую в пять или десять лир, кто покупает у новых купцов, безропотно и целыми днями просиживающих «у себя» на пороге, — это такие вопросы, которые требуют особого изучения.

В газетах пишут о республике, о результатах ликвидации халифата, о борьбе с восставшими курдскими шейхами, о начавшемся раскрепощении женщины, — обывателя, классического, массового обывателя это мало интересует. Ангора-столица смутила его прежний бездумный покой, обложила его саклю новыми налогами, увеличила цены на предметы первой необходимости; он зол на республику, он представляет из себя вполне готовый материал для обработки оппозицией, и единственным утешением для него является лишь рост квартирной платы и увеличение в 15—20 раз стоимости клочка принадлежавшей ему земли. В процессе обжуливания соседа, в процессе обмана

и подкупа правительственных чинов, ангорский обыватель уже давно потерял веру в такие пустые слова, как патриотизм и нация, ибо армянских и греческих соперников уже нет, и производить патриотическую экспроприацию уже нельзя. Коран, мулла, мечеть, все эти нелепые понятия и их прежний смысл подверглись основательной переоценке даже в наиболее рутинном мозгу, где уже давно начался медленный («яваш-яваш»), но верный прогрессивный процесс. Но вековые привычки, вековая психология Ислама еще крепко держат в своих руках быт ангорского мещанина, его семейный уклад, основную структуру его миропонимания. Косное, варварское анатолийское мещанство эверским султанским боем избивает и топит в Трапезонде группу турецких коммунистов, создает ехидные ядовитые басни о жизни реформатора Кемаля и подучивает своих детей встречать камнями проходящего возле фонтана гяура или европейскую женщину. Ночью во многих земляных стенах в специально устроенных для этого отверстиях теплются по инерции белые свечи над прахом здесь же спящего мертвым сном первого владельца дома, а из-за стены, из запрятанного от людей внутреннего мира, долго несутся протяжные, звериные крики избиваемой женщины. Слышит сосед, но лишь крепче закутывается в теплое одеяло. Слышит случайный прохожий, но торопливо ускоряет свой шаг. Священная Кааба была когда-то белее снежной лилии, но нечистые женщины загрязнили ее своими поцелуями, сделали чернее мрака. Мало кто из ангорцев делал хадж в священную Мекку; вот уже два года, как Ангора, поссорившись с Хуссеном, фактически запретила этот хадж, но долго еще будет расплачиваться турчанка за свою «нечистоту», провозглашенную Кораном, и за узаконенное Мохаммедом свое ничтожество перед мужем. Поблекнул мулла, обкарнала республика его силу, но «хоть и с отрезанными ушами и носом, осел продолжает оставаться ослом». Ткут муллы свою цепкую паучью сеть в темных зловонных кварталах предместий, прыткие дервиши вербуют соучастников для радений, которые происходят уже в нескольких местах города, обиженные паши из «прогрессивной» партии ведут пропаганду против реформ, и ангорский мещанин, ангорский обыватель становится в первые ряды этой аудитории.

Много, много зла принес тюркизму Ислам, запрещавший литературу, каравший проблески искусства. Ангелы никогда не входят в тот дом, где имеется картина художника, — так учит Ислам, и в редком ангорском доме можно встретить даже олеографию, даже лубочную картинку, даже иллюстрацию, вырванную из случайной книжки. Поэты и писатели — это исступленные лжецы и грешники, пишущие под наитием сатаны, — так провозгласил Мохаммед, когда его слишком доняли язвительные вирши языческих арабских поэтов, и ангорский обыватель, в массе своей, знает, по проклятой привычке, лишь священные божественные книги. Передовой буржуа, либеральный депутат Меджлиса, крупный чиновник, долго живший в Европе, они открывают перед европейцем дверь своего дома, вводят его в круг своей семьи, но крепок в рутинности своей массовый мещанин, и простое знакомство с его женой, сестрой и даже матерью столь же недоступно для европейца, как и женитьба на мусульманке. В Ангоре, турецкой столице, рядом

с республиканским Меджлисом, ликвидирующим медрессе и шариатские суды, безмятежно на крышах соседних домов попрежнему вьют свои гнезда длинноногие аисты, священные хранители мусульманского семейного очага, — что же делается там, в глубине Анатолии, куда лишь ветер доносит отзвуки реформ, легенду о новой жизни, сказку о республике?.. Как же не быть клерикально-реакционному мятежу курдских шейхов, когда «Джумгуриет» не смогла еще завоевать предместий Ангоры, окраин своей новой и в то же время бесконечно старой столицы?..

Утром завтрак из одного яйца и кружки «йогурт» (разбавленное водою кислое молоко). По сохранившемуся здесь старому национальному обычаю, в полдень обед из невообразимой «чорба» (суп) и залежавшегося куска баранины. После обеда опять работа (служба) и, наконец, весь вечер в кафэ, за единственной чашкой приторно сладкого кофе, бесконечно однообразной игрой в нарды и чтением, от корки до корки, единственной местной официозной газетки, изо дня в день заполняющей свои колонны отчетом об очередном заседании Меджлиса, скучной, но обширной передовицей и двумя десятками об'явлений, если не считать нескольких телеграмм. Иногда — кино. Иногда появление в кафэ рассказчика, поющего речитативом старые турецкие сказки на-ряду с анекдотами на тему дня. Почти всегда стакан «ракы», смешанной с кусочками приторной мастики. Такова формула жизни ангорского обывателя, его так называемой общественной жизни, нарушаемая лишь болезнью, смертью или в дни Рамазана, когда обедать приходится за закрытыми ставнями ресторана (чтобы муллы знали, но не видели), и когда вечерняя игра в нарды, вечерняя чашка кофе затягивается далеко за полночь. Лучше яйцо, но сегодня, чем курица, да завтра, — так говорит ангорский мещанин, и эти слова определяют всю его психологию, все содержание его жизни, такой же безобразной и убогой, как и сама Ангора.

Ангора город древностей. В 150 километрах от нее находится древняя столица хеттитов, но почти никто из ангорцев об этом не знает. В Ангоре еще сохранились обломки храма Августа, но они беспрепятственно расхищаются, и во многих домах можно встретить куски прекрасных мраморных римских колонн. Они же служат надгробными плитами на могилах. В Ангоре имеются сохранившиеся до нашего времени фригийские львы, но лучший из них служит подставкой, седлом для дубления кож на одной из окраин города, в скалистом ущелье, где справа, на вершине, дожди и ветры продолжают разрушать остатки замка Тамерлана, а слева, на неприступных скалах, медленно, но верно гниют величественные средневековые укрепления. Вверху, в крепости, в двух небольших комнатушках помещается ангорский музей, где хранятся совсем недавние образцы турецких национальных костюмов, неполные коллекции разных монет, обломки древнего фаянса, кутахийские вазы, и здесь же, на открытом воздухе, вот уже несколько лет валяются в грязи прекрасные античные статуи. В Ангоре, как и во всей Турции, на всякий плач есть свой смех. Говорят, что именно здесь у царя Мидаса выросли когда-то ослиные уши, но помнить, знать об этом ангорский обыватель не хочет. Гораздо лучше яйцо, но сегодня, чем курица, да завтра.

При дворе константинопольского султана и халифа был создан, сравнительно недавно, первый и вполне хорошо поставленный большой симфонический оркестр. Выбросив султана в Сан-Ремо, а халифа в Швейцарию, республика перевела этот оркестр в Ангору, дала ему звание «оркестр президента республики», и этот оркестр, соответствуя общим демократическим тенденциям главы «Джумгуриет», каждую пятницу играет для жителей Ангоры в небольшом зале «Тюрк-Очагы». Ангора и здесь верна себе, верна своему серому глиняному быту: зал, вмещающий лишь до 200 человек слушателей, зачастую бывает наполнен меньше, чем на половину, при чем в большинстве слушатели состоят из приезжих депутатов, офицерства и иностранцев. На Девятую Симфонию ангорского обывателя ничем не заманишь, но зато в одном из концов города, по дороге в поселок Кечеверен, растет и преуспевает квартал домов терпимости, тоже достояние европейской культуры, привившееся здесь крепко. В вине и в любовных утехах турецкий мещанин даже перестал хитрить с Кораном, перестал лицемерить, ибо сам Мохаммед сделал мусульманским религиозным праздником как раз пятницу, т.-е. день, посвящавшийся у до-исламских арабов культу Венеры. Ангорский обыватель спокойно напивается «ракы», благо республика должна была пойти на отмену сухого режима, и часто посещает проституток, а в итоге к ангорским хроническим малярикам неустанно прибавляется и увеличивается число обывателей, больных венерическими болезнями. В результате последних войн целые вилайеты Турции полны венериками, — Ангора, столица Ангора, хочет и здесь стоять на первом месте.

Убога и жалка анатолийская столица, и головы ее обывателей такие же серые и унылые, как эти глиняные сакли. Но во многих ангорских домах, как и везде на Востоке, неустанно бьют фонтаны, всегда бодрящие, всегда живые, какая бы грязь ни была в бассейне. В грязной, малярийной, мещанской Ангоре день за днем и физически и духовно растет крепкая республиканская молодежь, и не мулле, не длиннобородому шейху остановить этот рост. С ужасом видит обыватель, как нечестиво бунтует молодежь против всех незыблемых заветов, подтрунивая над Кораном, иронизируя над путешествием Мохаммеда на самое верхнее седьмое небо Ислама и демонстративно, не за закрытыми ставнями ресторана, обедая и завтракая в священные дни Рамазана. Вечером, по шоссе, идущим лучами от Ангоры к дачным местам, все чаще и чаще можно встретить турецких юношей и девушек, идущих под руку друг с другом и ведущих оживленный разговор на политические темы. Плюнет обыватель, осыпет проклятьями встречный мулла, солидно восседающий на ослике, и в ответ раздастся лишь здоровый, жизнерадостный, звонкий смех. Молодежь организуется, организация молодежи пользуется особым покровительством со стороны вождей революции, турецкие юноши и девушки жадно слушают по вечерам, в том же, но уже переполненном зале «Тюрк-Очагы», волнующие лекции о Великой Французской революции, о клерикализме и лаисизме, о великой революционной роли европейских и особенно русских университетов, и нелепые сказки Корана о создании мира прочно и навсегда заменяются книгами Дарвина. На молодежь

вся надежда республики, в молодежи все будущее Ангоры, — новой, с каменными домами, крепкими неломкими и горячими сердцами, с зелеными садами, в которых будут расти всевозможные цветы, Ангоры без Мохаммеда, но с заводом. Молодые турки, выступившие на сцену в 1908 году, через горы трупов и пропасти ошибок привели феодально-теократическую империю к нынешней буржуазно-демократической Турции, но сейчас они, несколько раз перелинявшие, проделавшие много переоценок, сейчас эти прежние младотурки и иттихадисты, заседающие в Меджлисе, уже отцы и даже деды. Нынешняя ангорская молодежь, выходящая на поле жизни в условиях республиканских и демократических, когда на земле рушатся троны и чертоги, и когда на «вечно-сонном Востоке» ведется вооруженная борьба с шейхами, муллами, эмирами и халифами, — нынешняя турецкая молодежь еще дальше двинет вперед Ангорскую Турцию, и не так уж далеко то время, когда в Трапезондах и Сюрмене Турция сбросит в море не коммунистов, а мулл и шейхов, когда вместо Корана и других священных нелепостей, народный учитель будет читать детям о жизни и трагической смерти Мустафа-Субхи и когда на нынешнем красном знамени республиканской Ангоры полумесяц станет серпом и молотом.

Ангора, 1925.

Соли камские.

Бор. Пильняк.

Вступление:

Из того, очень большого чемодана впечатлений, который я везу из моих летних полетов, — такого большого, что я (со своим двадцатифунтовым чемоданчиком вещей, ибо больше нельзя брать с собой на самолет) казался себе погонщиком большого стада овец, при чем овцы были непослушны, при чем овцами были мои наблюдения и мысли, — из этого стада-чемодана я беру сейчас память о городе Усольи, о солях камских, чуть-чуть гофмановскую память — русски-гофмановскую, когда из чемодана ползут овцы — —

Выпись из письма:

«...поели колбасы и пошли на берег к самолету, таскали воду, бензин, покрышки, масло, — убрали, сели покурить, покурили, — потом пошли в самолет, сели и — полетели, летели сто сорок верст. И даже обидно, как все это просто, — смотришь: внизу веровочка реки да квадраты полей, да изредка деревушки с церквами такими, как в окнах кондитерских — из сахара. Я взял за норму, что я: рожден летать, все пустяки, вот долетим до места, молока купим, — жарища, чорт ее подери! — Летал я на своем веку очень много, особенно в молодости; последний мой полет был на аэроплане, — те в юности — во сне: так куда же поэтичнее летать во снах, никакая действительность с ними не сравнится! В действительности — сидишь, подпоясанный за брюхо, посматриваешь — и судьбе благодарен, что продувает, не жарко... только считай себя «летать рожденным», — а то, если о земле раздумаешься, о том, что «рожден ползать»: тогда — ерунда, киснешь. Думай о том, что прилетишь — молока попьешь, холодного, с погреба...

...и:

и лирическое отступление:

был я далеко на юге, где никогда не бывает снега, — был я в Арктике, где круглый год снега и льды, — летаю я теперь на самолете в местах, где железная дорога в семистах верстах, над глушайшими местами русскими — на прекраснейшем изобретении человека, — был в Германии, был в Англии (в скобках: забыл написать еще две особенности полета: там в высоте:

не чувствуешь этой высоты, — и еще там совсем не чувствуешь быстроты полета, только осознаешь его, когда видишь, как со скоростью секунд бегут под тобой полосы полей), — был я во многих местах, видел я дичь, и культуру, и север, и юг,—и сны— —и во образах, в представлениях, когда думал и фантазировал, все было гораздо величественней и необыкновенней, чем в действительности, — на самом деле все обыкновенновато, ко всему привыкаешь... но, из всего, что я видел (и это и есть ключ к этому лир-отступлению), больше всего разили меня, пьянили, восхищали — человеческие любовь и — человеческое знание, труд, культура...».

— — самолет—среди чувашей, татар, пермяков, зырян, лопарей Самолет — прекраснейшее, что создало человечество, машина, воплотившая сказки и мечтания тысячелетий человечества. Зыряне, вотяки, пермь — те, что до сих пор молятся пням. Невероятная комбинация, — комбинация, которую может создать только Россия.

П е р в о е:

...нас умывают рассветы: Кама — наш умывальник, небо — наше полотенце, красные кони горящего востока — кружева на полотенце, синие леса на земле — та перина наша, на которой коротали ночь мы. И самолет наш — совсем не Юнкерс на поплавках, не сказочный даже горыныч: летящий комок мыслей и революции самолет наш, прилетевший в эти места, чтобы делать революцию, чтобы делать революцию — сталью и знанием...

В т о р о е:

Сказано еще от евангелия о том, что Петр есть камень, но Петр же есть и с о л ь земли. Урал здесь называют Камнем и земли под'уральские — подкаменными. Все здесь пропитано солью, на завалинках у новых изб кладут здесь соль, чтоб солнце втопило соль в дерево, ибо тогда стоят избы столетиями. На солях камских нет ни чахотки, ни тифа, ни холеры, а деревья округ растут в сорок аршин ростом и в два человечьих обхвата. — «Время застит, — время закрыло, — сказал мне товарищ Батин, — но я все же вижу через века, как просолились эти места еще от Ивана Грозного, заселителя «Перми Великой — Чердыни» и Солей Камских, — как засолилось время «именитыми людьми» Строгоновыми, царями — Василиями-собирателями подкаменными (дом от них и собор стоят в Усольи), — здесь я узнал имя Ермака, покорителя Сибири — Василий Тимофеевич Аленин. Время застит,—но видно, как Турчаниновы в городе Соликамске растили для санкт-питер-бурхгского ее величеств Екатерины и Елисаветы двора — растили: бананы! — «Именитые же люди» Строгоновы ушкуйное, сиречь разбойничье, происхождение свое от вольной велико-новогородской вольницы — засолили надолго.

...Из Чормоза мы полетели в Усолье, бывшее село Соликамского уезда, ныне город (при чем Соликамск стал селом Усольского района). Там встретили нас комсомольцы — стариннейшим русским приветствием: все четверо мы, поднятые на руки, полетели в воздух. Комсомольцы называли себя кратко—«Комса» (—Качай их, комса, выше, валяй, комса!). Над сотней рук мы взлетали на воздух и падали на сотни рук, чтобы вновь полететь в высь. Это совсем не то, что летать на самолете, — это много менее удобно, — но... как сказать, какими словами передать то чувство благодарности, хорошей неловкости, товарищественности, которое сразу нас, прилетевших с воздуха, чужих — сразу сделало нас и товарищами, и собродягами в земном пути к будущему с этой усольской, соленой и ушкуйной — комсой— —?!

...Утро. Летуны ушли на берег, на полеты. Я остался один в номере, чтобы сидеть над машинкой (и приходила ко мне сторожиха с чаем, с пирогом, с черникой, со сливками, с пышками, очень сытно; я спросил ее, сколько я должен ей, — и она замахала руками: — помилуй, батюшка, гость дорогой, помилуй!). Так вот сидел я над машинкой, а за окном была провинция, как столетье, хуже гоголевской, с заборами в версту, с деревянными тротуарами, с пылью в поларшина, со строгоновским собором и с домом строгоновским за углом (и отбивали на соборе часы каждую четверть, малиновым звоном), — с домами мамонтовской сосны и резными крыльцами, — не гоголевская провинция, а — ссыльная! И как раз против моих окон было отделение местной народной милиции (подо мной, в нижнем этаже была починочная мастерская велосипедов ссыльного Лившица, — но велосипедов я там не видел). Окна в милиции были открыты, все там было мне видно. На реке заревел пропеллер самолета. Тогда из дома милиции на двор выбежал человек в форме; на дворе стояла оседланная лошадь; он вскочил на нее и помчал; вслед за ним на улицу выбежал второй человек в форме, — он махал руками и орал: — «назад!» — тот, что мчал, тоже махал руками, но ничего не ответил и скрылся за углом. По улице шли рысцою пешеходы. Тот второй, последний раз махнув рукой, вернулся в дом и стал названивать в телефон. — «Райком?! райком?! — Вася, слышишь, Вася, — у меня все убежали, ничего не могу поделать, — Митя и тот ускакал сейчас... Что?.. — смотреть, как летают... Вася, Вася», — вдруг его голос оборвался на Ва, — он бросил трубку, вылетел на улицу, подстегивая на ходу кабур, — крикнул что есть мочи: — «Закрывай лавки, складай удочки, — все на полеты!!» — и карьером на своих на двоих помчал за угол, за строгоновский дом. Улицу помело ветром, — в две минуты всех как языком слизнуло, только один ссыльный Ливщиц обиженно сказал внутрь мастерской о том, что эту невидаль он и в Москве видел. Милиция с открытыми дверями осталась пустовать. В день полетов Усолье не работало. — — На ночь в день нашего прилета охранять самолет прислана была полурота коммунаров. — — И в тот вечер, сидя в кооперативном трактире за стерляжей ухой, при чем трактир специально для нас

отпирался, мы узнали последнее событие Усолья: о поджигателях. Появились в городе поджигатели, говорят, подбрасывают записки, говорят, ходят с портфелями, говорят, весь город спалят; во всяком случае на улице «III Коминтерна» (так и написано на заборах) или, быть может, на другой улице в течение двух дней загорались дома и — каждый раз через дом.

Ссыльная провинция, — не даром весь город делится на ссыльных и — так, на своих — —

Я полагаю, что улица в Усольи не случайно названа «III Коминтерном», — ибо для строгоновского соликамства мало Третьего Интернационала — нужен третий Коминтерн. —

Здесь прокуратура рылась в Советском законодательстве, чтобы под'искать статью, коей карать бы нижеследующее массовое деяние. Роют могилы детей, отгрызают (обязательно зубами) руку ребенка и сушат ее. Сушеную руку носят с собой охотники по лесам и жулье, — ибо эта рука отведет и руку закона, и лапу медведя. Запрашивали центр, как поступать с виновными в таких деяниях.

Павел Андреевич Бакин, коммунист, рабочий, краевед и литератор, редактор местной газеты, жаловался мне, что много находят костей мамонта и никак их нельзя донести до музея: потому что местная пермь считает кости мамонта «му-нянью» — земляным хлебом — целебным средством и ест его. Недавно нашли целого мамонта и — две деревни собрались его есть. С'ели.

Здесь есть села, целиком пораженные сифилисом (несмотря на то, что на соленых землях ни чахотка, ни тиф, ни холера не берут). В такое село заехал ссыльный. Был он на грех человеком здоровым. Пришли к нему местные крестьяне. Посмотрели его, потрогали, ничего не сказали и ушли. На другой день пришли к нему старики, мирно сели, сказали: — «слово скажи, — скажи слово!» —

— Какое слово? —

— На здоровье. Почему ты здоровый!

Правильно ссыльный сказал, что никакого слова он не знает. Мужики на слове настаивали и соглашались за слово заплатить. Слова ссыльный не знал и не сказал. Мужики ушли. — Но на другой день они пришли вновь — с дрекольем и топорами: — «слово скажи, — скажи слово!» — Ссыльный сказал, что слово он скажет завтра — и ночью сбежал из этого села, прибежал полусумасшедшим в город.

У реки Доеги в деревне медведь у двух крестьян по корове задрал. Мужики решили медведя извести. Выследили, где он проживает в лесу, круг по лесу вокруг медведя отметили, наложили костров да и запалили лес. Сгорело лесу десятин полтораста. Сгорел ли в лесу медведь, неизвестно. — должно быть, убежал.

На реке же Доеге, в Майкорском районе, — земли ведь здесь подкаменные, надкаменные, рудные, магнитные, серебряные, золотые (из окна у меня сейчас виден Уральский хребет, Полюдов Камень), — так вот на реке

Доеге лесник нашел поляну и на поляне глыбами лежало освинеченное серебро. Сообразил лесник, что, ежели про это серебро прознают, — понаедут старатели, начальство, народу навалит, — мирному его житию конец придет, суматоха будет: навалил на полянку лесу, сжег, еще навалил, еще сжег, — сокрыл поляну по добру-по здорову.

За Полюдовым Камнем, на хребте шел инженер. Сыскал избушку. Живет крестьянин. Так и так, мол, — жизнь! Крестьянин свел его к ручью, копнул лопатой, рассыпал с лопаты: — «смотри, господин инженер, — чистое золото. На золоте живу, а хлеба нету!» — —

Есть в этих подкаменных местах и остяки, вогулы. Так там мандаты даются так: «сельский совет, РСФСР и прочее», — а потом просто хлебом приклеено гусиное перо и крестик по неграмотности. Там на сотни верст реки да леса. А мандат такой — золото: значит он: — «вези такого, как перо»! — И мчат остяки и вогулы с такими мандатами людей — на лодках и на телегах — со скоростью паровоза: — летят, как перо!..

...Ночью в Усолье ходят с колотушками, стучат колотушки: караулят — поджигателей. Днем я ходил в местный исправдом, осматривал: сидят там трое подозрительных, — ничего, просто парни, как парни... — —

От строгоновских времен — просоленный сохранился быт. Подкаменные земли, ушкуйные памяти. Земли изобилуют и промышляют люди — зверем, лесом, рекою, камнем, солью. Направо, налево, кругом — сотни верст леса и камня. Быт прослоился Грозным, Строгоновыми, Петром I. Крепостное право здесь отмерло—не в 61-м году прошлого века,—а этак лет десять тому назад. Впрочем хаить народ очень не следует: лес, зверь, камень, Кама сделали людей такими крепкими и кондовыми, как лес, зверь, камень и Кама.

По праздникам ходят закамские на эту сторону: этак соберется человек двадцать-тридцать друзей, вооружатся дрекольем, топорами, вилами, — жердью сажени в три длиной и идут по улице, на этой стороне. Встретят человека: «взгреют». Песни поют. На стенку лезут. «Стремно» идут, — «шухорно» на свет белый поглядывают. Самое большое удовольствие — тесто мешать: прошибут жердиной раму и месят ей в избе, точно тесто скалкой в окарене. Потом уйдут к себе за реку. Через неделю эта сторона на ту отправляется — тоже с дрекольем, топорами, вилами, с косами-которыхами, — на той стороне рамы выставляют. Делают это мирно, неспеша, толково; иной раз человека убьют, — тоже дело невеликое; надо же мужикам ушкуйное раззудить плечо.

...По эту сторону Камы — трубят трубы солеваренных заводов, — Усолье. По ту сторону дымят заводы — Дедюхинские, заштатного города, соли. Вдали дымит боже-бананный город Соликамск. — Сели с Батиным на лодку, переплыли Каму. Дедюхинский завод будет на-днях справлять двухсотпятидесятилетие: так это двухсотпятидесятилетие — не со дня его существования, оказывается, а — с того момента, как забрали себе завод мест

монахи. Жил завод под именитой рукою именитых Строгоновых. Перестраивался завод последний раз при Екатерине, — так с тех пор и стоит. Давно бы пора его на слом, — но бревна его просолены навсегда и он стоит, соль варит. Паровая машина на нем от 77 года, от турецкой кампании: раньше работали лошадьми (как и до сих пор работают на кое-каких заводах). Показывали мне в Дедюхине амбар, коему двести тридцать лет: стоит. От времени бревна порыжели, побурели, — лупится на них соль, вылезла на них соль кристаллами и стекает сосульками, точно мороз в сорок градусов. Водит нас по заводу староста и мастер Петр Васильевич по фамилии Москва, человек видевший все на свете, что есть кругом этих мест на сорок верст: дальше он не бывал. Привел нас на «скважину»: глубокий колодезь, в него вставлена труба, как в самом обыкновенном колодце; качается над колодцем насос, — выкачивает «рассол»: пахнет рассол серо-водородом, отвратно. Над скважиной сделана крыша, с петухами, чуть покосившаяся. Рассол по желобам течет в чаны. Сделана над чаном крыша, обвисла крыша сосульками соли, изукрашена кристаллами. Из чана, по мере надобности, поступает рассол в варницу, в новый чан, который называется грен. Под греном находится печь с тягой в трубу саженей в пять высотой. Варница похожа на соляной амбар, на такой, какие есть в каждом старом русском городе, оставшиеся от соляных откупов, — только варница из дерева. Печь под греном горит, вода испаряется и соль садится на дно грена, алмазами. Оттуда, со дна, собирают соль лопатами и кладут ее на полати над греном, чтобы сушилась. Проведены в варнице рельсы — нововведение: на них — руками, конечно, — вывозят в амбары соль. Вот и все производство соликамской соли, столь древнее, что соли эти перепадали к пирам и Грозного, о чем есть старинные грамоты. Рабочие на заводе ходят просоленные солью, хрустит она на них, поблескивает. Петр Васильевич, по фамилии Москва, об'яснил мне, что на солях не бывает ни чахотки, ни тифа, ни холеры: очень полезно на соли работать. Но зубов у рабочих нет ни у кого. Впрочем, рабочими их трудно назвать: надо какое-то иное слово: старатели, что ли. Революция эти заводы закрыла, дав их в ненадобность. Заводы пустили сами старатели: работают артелями, каких инженеров и в помине нет, — всем управляется староста. Вечевая тельность здесь еще здравствует. Это — не плохо. Машина 77 года, которая из скважин качает рассол, очень коптит. Соль блестит сорокаградусным морозом. Завод в день нашего прилета — стал: старателей слизнуло с него всех до чиста: смотреть, как летает самолет — —

...Усолье встретило нас тем, что мы полетели в воздух. Усолье не ждало нас, ошиблось на несколько часов, не пришла телеграмма и мы видели с самолета, как карьером мчали извозчики, верховые, как потоками катился народ. Стали мы верстах в двух от города: предстал пред нами весь город в две минуты, — комса понесла нас в воздух, а остальные стояли в безмолвном ужасе (потом, в полеты, один крестьянин, спрыгнув с самолета, — запрыгал теленком от радости, без лишних слов). Самолет окружила полурота.

Взмыленные лошади конмилиции храпели: — «осади назад!» — Крестьяне за несколько дней до нашего прилета собрались из дальних — за сорок, за пятьдесят верст — деревень. Все начальство собралось на мостках. Оркестр охрип. Мороженщик и торговки открыли торговлю... — Потом два дня город ходил обалделым...

...Я помню от детства: это было в Можае. Мне было лет семь. И тогда в чайную общества трезвости привезли — первый граммофон, — первый граммофон во всем городе, один из первых граммофонов в России. Мой отец долго и серьезно обсуждал, — можно ли меня взять послушать граммофон, не подействует ли это на детскую психику. Мама настояла, чтобы я пошел. Была декабрьствующая зима. Весь город не мог войти в чайную трезвости, — и тогда подрядчик Гудков, плотник, собственноручно выставил зимние рамы, чтобы можно было слушать на улице. Мне трудно сейчас передать, каким священным благоговением перерodил тогда мою ребячью душу граммофон: тогда, должно быть, впервые у меня осозналась, почувствовалась гордость того, что я — человек, — гордость — за человека, за человеческое знание и силу... — — Я присматриваюсь к лицам вот этих ушкуйников, что собрались на берегу, — я вспоминаю Можай: в их лицах я вижу себя. Но кроме того я думаю еще и о том, что — тот почти-мистический граммофон, который перерождал меня, — такими буднями стоит теперь — вот здесь, в Дедюхине у старосты Москвы: я верую в человечество и я знаю, что, когда моему сыну будет столько же, сколько мне, — он напишет о самолетах так же, как я сейчас написал и о граммофоне, — или даже еще проще, потому что он знает слово антаплан и может его отделить в воздухе от птицы...

Соли Камские!

Я писал чуть-чуть саркастически о солях камских. Это мне нужно было к тому, чтоб сохранить перспективу. Но мне стыдно перед соликамцами потому что я плачу им не одинаковой монетой, — потому что встретили они нас очень большой радостью и очень большой нежностью. И неправда что у меня нет к ним нежности, благодарности и — радости за них.

...Но мы опять в воздухе. Дальше, дальше в леса, в чердаки. Мы высо над землей. Горный хребет рядом. Закат. Дальше, дальше. — Копылов маш рукой и кричит. Я не разбираю, — тогда он шлет записку: —

«Прощай Кама. Перелетаем на Вишеру».

Потом мы перелетели на Колву. Перед нами Полюдов Каме Под нами — «Пермь Великая — Чердынь», — как звались эти места при Гр ном. Самолет идет на посадку, звенит в ушах — —

...Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в раз'яренном океане... —

это сказал Пушкин,

народ это же говорит словами о том, что — **с м е р т е л ь н о е м а н и** Пушкин не знал упоения полета. Но вечерами, оставшись одни, мы четве летящих, капитан, пилот, борт-механик и я, — мы вместе с Пушкиным зна

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неиз'яснимы наслажденья. —

Мы знаем:

Есть упоение в бою, —
Есть упоение в полете...

— вечерами, одни мы говорим о полете, о воздухе, о стихиях, о смерти, о сотнях тех возможностей, что есть, что были, когда — как — гибли в воздухе, в полете люди. Мы говорим так потому, что на земле у нас — как сказать, какое слово употребить? — тоска, темленье по полете. — Когда с большой высоты на самолете быстро идешь вниз, звенит в ушах, булькает по жилам кровь: — стало-быть, чем выше уходишь от земли, тем покойнее кровь, нет никакого звона, — так хорошо думать — так хорошо думать там над землей — о земле той, что внизу. И есть, и есть подлинное, физическое наслаждение полета, стремленья, опьяняющее наслаждение высоты!..

Розариум.

Ольга Форш.

Не один москвич удивится, если ему сказать, что на этой площади фонтан не похуже римского. Впрочем, вина и на нем: необласканный взорами, бьет он изредка, как-то не к случаю, будто вспомнит, что фонтану надо бить, и забьет...

Клумбы видней: из разнообразнейших трав здесь цветут то портреты вождей, то силуэт огромного Ленина, рядом, чуть меньше, его же мавзолей и еще меньше — целиком с меридианами и Европой, земной шар. На этой площади, под столиками нарядных кафэ, как в Венеции на пьяцца Сан-Марко, мальчишки ищутся в голове. Свой улов они собирают в коробочку с целью шантажа чистоплотных граждан в многообразных городских тупиках.

— Дай пятачок, а не то запущу!

И дают, ускоряя до бега шаги. Где тут вязаться с мальчишкой, звать милицейского? Вдруг метнет из коробочки и даст стрекача...

Вокруг клумб, уцелевшие от царского строя, давно позабыв свои Альпы, старухи швейцарки пасут нэпманчат. Но чужую страну они презирают сейчас окончательно: то сто лет не могли дотянуться до кантонов с коровами и свободами, то вдруг сорвались, возомнив обскакать всю Европу, назвались — СССР.

Однако презренье не мешает швейцаркам откладывать и ныне на книжку червонцы, как бывало отложены были ими «николаевки»...

Швейцарки приходят рано, садятся плотно. До времени с мест встают грузно, но чтобы разнять ссору питомцев, или вдохновленные не в меру крупным скандалом.

Вот намедни мальчишка непостижимым путем влез на крышу Большого театра и, охваченный незаслуженным высокомерием, которое у каждого родит высота, как верблюд, пустился плевать вниз на публику. Публика пришла в ярость. Позвали милицейского. Милицейский пожарных. Из кишки поливали мальчишку...

В ассирийских шелках, платках, бусах, со множеством змеисто-черных кос зацветают то тут, то там цыганки, исходя страстным шопотом в клятвах:

— Мы не цыганки, мы сэр-піянки! Сэрпиянка не может украсть. Давай скорей, гражданин, я морожено кушать хочу!

К полудню на свое место приходит «Невалид-Культяпа», кусок человека с руками без ног.

— Жертва имперьялистской бойни, — аттестуется он, протягивая руку за копейкой.

У «невалида» туловище в глубоком черном копыте, как в зимней калоше. Бывает, что культяп набирается двое и трое. Ритмически, как в балете уродов, они вскидывают руками, и шуршат копытами по камням. Вечером они считают выручку и ругаются так забористо, что проходящий дрогнет и невольно подумает: — Сколько же надо отрезать, чтобы человек перестал считать себя человеком?

А вот не старая еще женщина, на тачке везет обрубок не только без ног — без рук. Лицо казацкое, молодцеватое, с коком взбитых кудрей, шапкою набекрень. Женщина вынула обрубок из тачки и бережно, как ценную вазу, поставила его в нишу, место постоянного сбора. Она взялась было за тачку, чтобы ехать обратно, как безрукий крикнул ей:

— Стой!

И, налившись кровью от приступа гнева, задыхаясь, сказал:

— Посмей мне, посмей опоздать, как вчера, я морду тебе распишу!

Женщина, подойдя близко, стала оправдываться и обещать. Она, как и он сам, все еще помнила его былые мощные кулаки.

Память и воображение, кто измерил их силу?

— Гляньте, товарищ Забыкин, гляньте под стенку, что муравейник кишит!

— Это все, Пашенька, «бывшие». Они себя никак в Ялтах мечтают, лишь, розочки нюхают!

— А почему вы именно их признаете за «бывших», чай на лбу не написано?

— А портфель? Чиновнику, скажем, учителю и прочим, от рожденья трудящим, портфель, как челнок в машине—знай под мышкой снует, а у этих, у «бывших», т о р ч к о м он, в руке зажат! Так, в дореволюционное время, они бывало тросточку аль веерок зажимали. Д-да, хоть к совбыту они и примазавши и труд и профкнижка у многих в исправности — все ворону видать по полету. Едва открыли розарий — глядь они первые, а на чем пролетарском — глаза прогляди их не найдешь.

В глубине, там, где площадь ограждена зданием цвета драконовой крови и древнейшей белой стеной Китай-города, после долгих лет пустыни разбит чудесный розариум.

— Но это ж Алупка, вообразите все сорта: вот «слава Дижона», «маршал Ниэль», и «Франция», и банкции — нюхайте, нюхайте!

И Аничка, для устойчивости широко расставив ноги в модных лодочках, зарывала пудреный носик то в ярко пунцовые, то в желтые и белые розы. В перерывах, для нового вздоха, она дергала Васю Коврикова за рукав светлого пиджака: нюхайте!

Вася Ковриков, наконец, почти такой же нарядный, как лет десять назад, еще до «февральской», впервые после переворота, нашествия белых,

голодовки, собрался было нюхать вслед за Аничкой розы, но к обоим подошел сторож и сказал:

— Извиняюсь, граждане, здесь не частная собственность, чтобы каждому гражданину себе одному вынюхать запах!

— Ни минуты забвенья! — простонала Аничка и, скользнув голой ручкой под руку прямого и гордого Коврикова, вышла с ним из лабиринта роз на широкую аллею.

— Определенно пара нэпманов! — сказали им вслед мальчишки.

Следом за Аничкой и Ковриковым еще повалили в недавно открытый розариум люди неопределенных профессий, большинство издали отменно нарядные. Однако вблизи наблюдатель мог наблюсти, что пиджаки все из чистки, а белые платья застираны в самостирке. И трехрублевый картонный портфель из магазина канцелярских принадлежностей, у этих людей совсем не то, что, например, горб — верблюду. Портфель у них не снует под мышкой, как челнок в машине: он зажат неумело, чистейшим «торчком» в левой руке. Следовательно, люди эти, по зоркому наблюдению товарища Забыкина, не иные как «бывшие»!

Возможно. Но сейчас-то, но здесь, в розариуме, среди «славы Дижона», «маршала Ниэля», огромной, как капуста, «Франции» — «бывшие», опять стали те, прежние, запрещенные.

Первые розы вызвали прошлое.

Разноцветные травы для произрастанья вождей и алые, беспримесные колера маков, георгин и герани — пусть давно уже совцветы и цветут, как «агитка»... но розы?

Розы «Франция», «маршал Ниэль», желто-клубничные ремонтанты, розы, как духи Coty, как поэзы Северянина — несомненное П р о ш л о е.

— Последние розы мне запомнились в Одессе, в букете Керенского. Он держал его левой рукой, правая была на перевязи. И, вообразите, очаровательно сказал: — «Моя правая рука распухла от беспрерывных гражданских рукопожатий!».

— А женщины, говорят, целовали ему, как архиерею...

— Мне, представьте, особенно памятны гирлянды красных роз на похоронах лейтенанта Шмидта. Какая встреча! Море ярко-синее, катер с алым гробом встречает все одесское духовенство. Золотые митры, красные знамена... ведь вот было же возможно соединение церквей!

— Что до меня, я помню последние розы на собственной свадьбе. И пудреные носики, за восемь лет революции и гражданской войны, постаревшие, чуть в морщинках, пытались забыться в благоухании алых и чайных. Но опять, как к первым, ко вторым и десятым подходит к ним сторож розариума и с бесстрастием говорит:

— Граждане, здесь не частная собственность, чтобы каждый гражданин мог себе вынюхать запах!

И неотвязные овода-папиросники: го-го, га-га-жиганул нэпманов!

Платья здесь были: удлиняющие рост туники, телесные чулки, высокие каблучки, носы туфель преострые. Женщины в этом виде, те, кто читал

про гетер в век Перикла, себя считали гетерами, прочие просто ходили волнисто, на остановках вывернув ногу так, чтоб высоким казался под'ем.

И мужчины, в тот тихий вечер, в розариуме, от коротеньких брюк, от цветных носков и душистого мыла из «Жиркости» — ощущали себя, как, бывало, перед рядом побед.

По лицам взволнованным и глазам ушедшим далеко, видно было, что многие себе воображают какую-то «встречу» иную, не в этом розариуме, рассеченном пополам городскими уборными, которые за затейливость ската крыши не один близорукий принимал за вход в оранжерею.

Нет, иную встречу, где-нибудь на водах. И не с этой дочкой спекулянта-папаши, положившей ему отманикюренную ручку на рукав, а встречу с той... ну, сейчас эмигранткой.

Женщины мечтали не об этих потрепанных «осовеченных» остатках «порядочной» партии, а о тех бесспорных с «заповедным» имением.

Розы, розы.

— Этакое рассезонное счастье, зря столько тут насадили, перевод народных денег! На с'езде рабочих в Лилле...

Нет, не перешел товарищ Забыкин, как обычно, в грозно-длительное выступление против мирового капитализма. Попав под руку с Пашенькой в одуряющий лабиринт, где взапуски благоухали: «слава Дижона», «маршал Ниэль», и «банкции», и «Франция», — он внезапно умолк.

На повороте к нежным желто-клубничным ремонтантам с запахом свежего чая он в последний раз, защищаясь, сказал:

— Зря столько роз, зря насадили!

Но через десяток шагов, понижая голос и слегка пожимая смуглую ручку Пашеньки, почти комсомолки, «политически развитой», но едва ли, едва ли «идеологически выдержанной», что ему до сих пор и мешало сходить с нею в ЗАГС, товарищ Забыкин сказал:

— Паша, ты мне всего дороже в жизни, после партийного билета!

Еркапе ты нам папаша,
Женотдел мамаша наша
Во... и боле ничего!

Ураганом неслось чрез розариум звено «Кооператор» с вожатым Катей Бобриком и с красным расшитым знаменем. Торопилась Катя на смычку с «пикорами», неся в кармане собственную первую корреспонденцию в «Стенгаз».

И тотчас на скамеечке, два подростка — кандидатки в звено, зашептались об опасностях пионерского дела, о том, как зловредны им «скауты», ну, конечно, белогвардейщина...

Ловить надо скаута и препровождать его в детмилицию, потому что едва скаут завидит пионера, как кинется на него, словно тигр, и, схватив за тот конец галстуха, которым можно затянуть петлю, вмиг удушит его.

О том, был ли такой случай или только еще может быть, дети не знали, но им стало страшно, и они побежали домой, чтоб учиться друг на друге, как подвижной узел красного пионерского галстуха заменять неподвижным, которым уже нельзя удушить.

Ах, как нехорошо в цветнике роз и нарядов увидать пятно темных старух! Идут они мерной поступью, не глядя по сторонам и знай кряхтят себе о вечных грошовых приходо-расходах.

— Одним социальным нипочем не продержишься — и всего-то семь рубликов в месяц!

— И я прямо скажу: живу на вожделении квартиранта.

Иждивение — вожделение, путают.

А закат-то какой! над квадригой Большого театра пожар; здесь у древней стены — легкой зелени океан.

Прекрасный фонтан скульптора Витали, на который ни один москвич никогда не глядит, бьет сейчас не водой, а мельчайше-жемчужными бисеринками. Сверху вниз, из-за зубцов древней башни, одни уставились на фонтан, зловеще чернея в закате, две трубы громкоговорителей.

— Ну, совсем трубы страшного суда, посмотрите, — прерывает вдруг Аничка жеманности Коврикова, — вот архангелы прилетят, затрубят, и начнется отмененное было светопреставленье! Закат, как огонь, право, страшно...

Одноглаз часов у трамвайной остановки, дрогнув черной стрелкой, передвинул ее цифрой дальше, и сказал Ковриков:

— Через полчаса, Аничка, начнется концерт радио. Из пугающей вас трубы зазвучит не глас судный, а чудесное пенье цыган... однако, продолжимте наш разговор. Один остроумный философ про женское равноправие так сказал: его придумали как самозащиту мужчины, пострадавшие от женских чар. Что касается меня, я ни за что не влюблюсь в коммунистку.

— А на заседании стриженным, небось, шепчете в ухо: безыдейные женщины волновать могут лишь негров... да, да, я слыхала.

— Слуховая галлюсинация! Я всюду верен себе. Но пройдемте ближе к стене наслаждаться цыганами, по программе они — номер первый.

Кровавый закат отгорел. Летние шустрые сумерки пробрались уже в город. Платья, полосатые и змеистые, и разнообразные модные брючки потеряли игру. Черная ресница одноглаза часов прошла еще часть пути и показала время, отмеченное в газете как начало выступления «хора московских цыган». Толпа нарядных, поверивших в праздник людей, сомкнутым строем ринулась под круглые черные рты громкоговорителей.

Над зубцами башен, крестов, красных флагов, подымал в лиловатое, уже сонное небо свою тяжкую надутую кишку сторожевой аэростат. Что-то все неладилось с его спуском, и хлопотали у канатов люди. Огромная его кишка, с каким-то профессиональным придатком, походила на чудовищных размеров раздавленное насекомое медведку, с выпавшей внутренностью.

— Что-то долго нет радио, пойти мне узнать!

И Забыкин, оставив Пашеньку на скамейке, прошел, как свой человек, в какие-то охраняемые двери. Он вернулся смеясь и сказал:

— Изменили маленько программку, ну, будет публике, будет сюрприз! — И, пригнувшись к самому уху Пашеньки, верно что-то отменно веселое прошептал Забыкин, потому что Пашенька с хохотком визгнула:

— Это нам заместо цыган? вот так номер!

— Что поделать — статистика! в целях сугубого предостережения пришло распоряжение, сейчас во всех радио...

Скорым возвратным шагом вступила в розариум экскурсия в трусиках. Кто-то из публики, среди голых попытался было распознать своего, да, поошибавшись, рукой махнул: — раздетые люди то же, что люди в форме: все, как один!

Женщины, воспринимая мужчин в трусиках вроде как мужей или зверей, с фамильярностью, необычной по отношению незнакомого неодетого человека, теребили проходящих:

— Ах, скажите пожалуйста, где это вы так роскошно загорали?

И люди в трусиках, должно быть, в сотый раз, без малейшего юмора отвечали:

— Мы загорели на солнце.

Наконец все занятые своими делами промелькнули, как в фильме, одни за другими, не глядя на розы, ни на черные трубы громкоговорителей, и потонули в дальних улицах. Смерклось. Выделялось в толпе одно только белое. В одноглазах часов вспыхнул свет. Замерли шопоты, обмен взглядов.

Граждане взволнованы. Чудеса радио — все еще новинка, и каждому мнится, что он, только слушая громкоговоритель, — уже участник «успехов техники».

— Цыганский хор не идет первым... не знаете ли что́ в замену?

— Тоже пение? Ну, все равно, все будет чудесно, здесь первые артисты...

Две черных трубы, при электричестве ставшие больше, чем днем, набрались силы, в них заструилась жизнь, и внезапно, взамен цыганского хора, покрывая своим медным зыком дзенькание велосипедистов, тарахтанье трамваев, как проповедник, вознесенный над головами воскресной нарядной публики, зычный голос наркомздрава членораздельнейше возгласил:

— Ве-не-ри-чес-кие за-бо-ле-ва-ния!

И черные трубы пошли извергать.

Картина болезни, опасность заразы, лечение...

Это было коварное облитие варом неостерегшихся, подошедших слишком близко под стену осаждаемой крепости.

Как шарахнулись, как отпрянули! И короткие модные брючки, и туники: полосатые, змеистые и глазастые.

А вдогонку, то предостерегая, то угрожая, то понося за совершенное уже блудодейство, их членораздельно хлестал баритон наркомздрава.

Упоенные мечтами и розами, нарядные пары вдруг были прослоены гнусным микробом. Все теперь стало опасно, все было нельзя. Зараза, как змея под цветами, коварно таилась и в поцелуе, и в закуренной папиросе, и кто же ее знает где? Быть может, даже в улыбках и взорах.

И по-библейски, до седьмого колена, пугали возмездием черные трубы.

Отскочив друг от друга, попятились было в сумрак недавние пары, но стрельнул из-за верхних зубцов столп прожектора и, выбросив свои щупальцы, слепительно осветил убегающих.

В тот же миг, как сорвавшись с цепи, высокоторжественно взвился со своим странным отростком и тяжелой кишкой аэростат. Чуть покачавшись на своем канате, он, чудовищным насекомым — медведкою, установился над городом.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Хозе Мария де Эредиа. Трофеи. Пер. Д. И. Глушкова. Гос. Изд. Ленинград 1925. 207 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Нашей молодой культуре предстоит еще долгие годы разбираться в огромном наследстве, полученном от старой Европы: многое хорошенько проветрить, чтобы выдохлась долголетняя пыль, чтоб не пахло лежалым; выбросить старый хлам, изъеденный молью; извлечь из покоробившихся ящиков все ценное, все нужное для жизни.

«Трофеи» Хозе Мария де Эредиа—одна из таких ценностей, образец высокого литературного искусства. И, конечно, не один и не два молодых писателя обрадованно взяли в руки нарядный томик, недавно выпущенный Госиздатом.

Но каждый подлинный современник нашей стремительной эпохи сейчас же спросит себя после этой первой радости: насколько своевременна, актуальна эта книжка.

Правда, создатель «Трофеев» вдохновлялся древней Грецией и Римом, экзотикой Востока, героями старых испанских романсов, неудержимой настойчивостью завоевателей золота. — И, вместе с тем, только близорукий увидит в Эредиа одного лишь бесстрастного мастера исторических декораций. Среди этих декораций разыгрывается многоактная драма — судьба человечества. Смена культур, исторический процесс, не знающий остановок — вот основная тема Эредиа, воплощенная в буйных кентаврах и мраморной статуе, в величественном герое и в безвестном земледельце. Жизнь изменчива и преходяща, но поэт любит ее во всей ее преходящей красоте. (Недаром один французский аббат обвинял автора «Трофеев» в том, что он, вместо того, чтоб размышлять о загробной жизни, предпочитает изображать пьяного Вакха.)

И в то же время Эредиа — не художник отдельных мгновений: каждый его сонет связывает в один туго затянутый узел целую жизнь человека, целую эпоху из истории человечества. Его стихи полны напряженной и страстной мысли.

Эредиа отвернулся от своей жалкой современности, как отвернулись от нее и французские символисты. Но те ушли от нее в мир мистики и мечты, он имел мужество остаться на земле. Пускай лишь в силу того закона антитезы, о котором говорит Плеханов, лишь из протеста против тусклого безвременья конца XIX века, — все же голос Эредиа полон мужественной и су[illegible] силы, и в этом — созвучие поэта с нашей [illegible]ой.

Литературное мастерство Эредиа целиком вышло из школы французского Парнасса, поставившей себе целью — еще в лице своих основателей Т. Готье и Леконта де Лиля — «ликвидировать» старый романтизм, с его сумбурным индивидуализмом, безудержной мечтательностью, пренебрежением к жизненной правде и смещением исторической перспективы. Искусству романтиков противопоставлялось новое искусство — объективное в изображении жизни и взыскательное к форме.

«Трофеи», вышедшие в 1893 г., подготовлялись автором в течение десятилетий. Недаром за это время в его библиотеке было собрано столько книг — и по истории, и по точным наукам, — недаром у него перебывало столько путешественников, исследователей неизвестных стран, — Эредиа имел возможность не хвататься за первый подвернувшийся образ, а выбирать, как знаток.

То же — и в области поэтического воплощения. Преодоленная трудность была для него уже не трудностью, а новым способом художественного воздействия. Последнее прежде всего относится к излюбленной им форме сонета, строфической конструкцией которого, как отмечалось уже не раз, еще более подчеркивается рельеф основного поэтического образа.

Эта художественная организованность— опять-таки одна из особенностей, делающих книгу «Трофеев» актуальной для нашего времени, которое выдвинуло, в плане общей организации жизни, и частную задачу — организацию искусства.

Самый факт появления «Трофеев» на русском языке — нельзя не приветствовать. До сих пор имелось несколько русских переводов, большей частью, лишь отдельных стихотворений Эредиа (В. Брюсова, Эллиса, М. Волошина, Чуминой, С. Соловьева и др., сборн. Вл. Жуковского), но давно чувствовалась потребность в новом полном переводе. Работа Д. И. Глушкова, давшего в своей книге почти все сонеты Эредиа, восполняет этот пробел. Однако, как всегда бывает, и в данном случае приходится пожалеть, что перевод не передает всех особенностей подлинника.

При переводе «Трофеев» Д. И. Глушков пользовался приемами стиля, которые были выработаны русскими символистами бальмонтовского толка. Точный и скупой язык Эредиа нередко подменяется глубоко чуждым ему расплывчатым словотворчеством: «морской горизонт», «l'horizon marin» превращается в «безгранность морскую»; «ясные ночи», «nuits sereines» — в «сокровенный мрак» и т. п. (Пристрастие к «бальмонтизму» сказалось и на предисловии переводчика, очень субъективно и односторонне обрисовывающем «Трофеи».)

Своеволие переводчика отразилось и в подчеркивании технических терминов, так осторожно вводимых Эредиа в свой поэтический словарь: в подлиннике «соль» — «le sel» и «иод» — «l'iode», в переводе — «иодистый и хлористый растворы». Это уже из учебника химии!

Некоторые строки тяжелы и неуклюжи: «Для Демона семьи честь жертв равно мила», «Воздвигну жертвенник в честь Дев подземных волн». — Между тем, язык «Трофеев» плавен, и синтаксис закруглен, несмотря на смелые для французской речи перестановки.

Невыносимым галлицизмом, совершенно бессмысленным на русском языке, звучат заключительные строки стихотворения «Ложе»:

Дубовый, на-крепко сколоченный, простой,
Иль кипарисовый, с отделкой золотой,
И ярким пурпуром величественных сеней,
Блажен, кто может спать спокойно и светло
На отческом одре, где много поколений
Пришло счастливо в мир и в вечность отошло.

Книгу спасает то «живописное начало», то искусство выбора и сопоставления образов, которым определяется в «Трофеях» их художественный центр тяжести. Даже утеряв свою ритмическую выразительность, свою пленительную словесную оболочку, образ говорит сам за себя.

В переводе можно отметить, впрочем, и несколько явных искажений смысла. Особенно досадно за знаменитый «Вечер после битвы». У Эредиа — солдаты, считая погибших товарищей, смотрят, как вдалеке, подобно сухим листьям, кружатся лучники. У переводчика эта картина совершенно погибла:

Но сумрачны глаза оставшихся солдат.
Как мертвая листва, немые легионы
Глядят, стирая пот, как движутся колонны
Фраортских лучников в холодном блеске лат.

(Надо заметить, что этому сонету не посчастливилось и в переводе такого умелого переводчика, как С. Соловьев.)

Все же переводы Глушкова не хуже обычных наших стихотворных переводов. Исправить наиболее грубые ошибки лежало на обязанности редакции, тем более, что переводчик умер, не успев довести до конца свою трудную задачу.

Другое упущение редакции — отсутствие хотя бы кратких примечаний, необходимых даже для «квалифицированного читателя»: без них многие исторические

и мифологические иллюзии литературный прием, широко применяемый Эредиа - остаются совершенно непонятными.

И все-таки — книга дает много интересного, нужного и красивого как поэту, беллетристу, так и просто читателю. Голос Эредиа в переводных его стихах звучит несколько приглушенно, — но все же он звучит, но зато он звучит для многих. В этом большая заслуга нового издания.

Приятно, что изящная обложка (Марка Кирнарского), многочисленные иллюстрации, почти безукоризненная печать (типография «Печатный Двор») и хорошая бумага не очень повысили продажную цену «Трофеев» (1 р. 50 к.).

В заключение приходится приписать неприятный постскриптум относительно «предисловия к русскому изданию». — Напрасно кто-то поставил под ним свои скромные инициалы Б. Л. — оно, почти целиком, без указания источника, дословно списано из недавно вышедшей в Париже монографии сербского исследователя (Miodrag Ibrovac. J. M. de Heredia. Paris 1923), этот беззастенчивый плагиат лишь наскоро сдобрен несколькими цветистыми фразами.

Валентина Дынник.

Александр Жаров. Ледоход. Стихи. Предисловие А. В. Луначарского. Госиздат. М.—Л. 1925 г. 132 стр.

Нет сомнения, что Жаров талантлив, революционен, что его произведения радуют краснощекой энергией бодрого комсомольства. Под многими из расточаемых ему похвал мы готовы подписаться. И тем не менее Жаров кажется нам чрезмерно расхваленным поэтом. — Он не столько дал, сколько можно и должно от него ждать. — В его строках бродит пока много чужой крови. Некоторые отрицательные черты футуризма и раннего имажинизма оказывают на него сильнейшее влияние. И прежде, чем подняться на вершину, с которой легче всего перекликаться с Пушкиным (см. предисловие тов. Луначарского), Жарову надо освободиться от многих недостатков, засоряющих его дарование.

Не хороши фальцетные выкрики:

Здравствуй, здравствуй,
Свинцовый простор,
Серошинельное небо,
Здравствуй!
Ветер, смирно!
Косматый, стой
С нами под флагом красным!..

Или:

Солнце,
Склонись головой тощей!
Выкупай в волнах чахоточный
лик.
Тише, ветра:
На Сенатскую площадь
Матросы пулеметы приволокли!

Не хороши потому, что, при «чахоточном» имажинизме, стихи подобного типа с ораторской акцентировкой могут произвести впечатление с эстрады, но бледнеют, как светляки при лампе, когда медленно, графически их читаешь.

Не меньше, чем Жарову, нам желательна советизация земли, но советизация природы в поэзии — прием не художественный, не убедительный:

Я — делегат небесной рати
И от весеннего ЦЕКА,
Я — солнце — нынче председатель
И на земле и в облаках.

В другом месте:

Смейся, ветер. Бродяга, смейся.
Агитируй в лугах, хвастун!
Ты не пробовал красноармейцем
Годы стоять на посту.

Ведь не называли же никогда большие поэты солнца и ветра — губернатором, министром, президентом, хотя многие из них и были архи-буржуазны. — Прием этот, правда, не жаровский — он ведет свое начало от Маяковского. Но и в Маяковском это снисходительное похлопывание по плечу солнца — «на короткую ногу с природой» — не лучшая из черт поэта.

Совершенно лишены «эмоционального заражения» такие вот публицистические строки:

Еще недавно колыхался воздух,
И скорбным стоном полнилась земля:
Ей жалко потери Ленинского мозга,
Ей жаль, что Ленина
Нет больше у руля.

И для того, чтобы спасти эту бесцветность от газетного холода, Жаров прибегает к излюбленному своему приему—подогреть ее при помощи ораторского повышения голоса, примитивным восклицательным знаком:

Такой потери мир труда не ведал...
Но надо плыть!
Эй, мира рулевой,
Веди корабль! Корабль веди к победам. —
Без Ленина,
Но Ленинской рукой!

Положения, как видим, Жаров не спасает. Публицистика остается публицистикой.

И совсем уж плох финал цитируемого стихотворения:

Хранит богатство
Ленинского мозга
Земли рабочей
Голова.

Это и не поэзия, и не публицистика. Хуже и того, и другого. Из ста поэтов — девяносто девять не найдут здесь поэзии. Из ста рабочих — девяносто девять не сразу поймут смысла. Многие из стихов Жарова не до конца проработаны. Торопливы, неряшливы. Плохая образность сочетается в них нередко с сомнительной грамматикой и синтаксисом.

Завод у Жарова величествен и целомудрен, работа на нем ширится, как полдневный запах. И этот же завод:

......в певучем содрогании
Разноколиберною бранью
Пересыпает горизонт.

Солнцу поэт рекомендует:

Гони, гони свои лучи
На коллективное купанье.

А это что значит? —

Либкнехта ужаленные взоры
Солнцем над трибунами цветут.

Растрепано и не по-русски написано четверостишие:

Новый день. Месяца и года
Свежей кровью вливает в вены...
Нет, не надо! Не будем ждать
Сыновей на третью смену.

Это не нарочито вырванный клок, а начало стихотворения, в котором и такое неудачное во всех отношениях место:

Кто сказал, что вот эта рука,
Уцелевшая под Перекопом,
Рысь размеренную маховика
Не догонит до галопа?

Случайно не вычеркнутыми из текста кажутся нам нижеследующие строки, в которых много безвкусия и мало четкой остроты:

Все равно не успею я
Крепко на плечи жизни усесться,
Выйдут дочери и сыновья —
Владетели дорогого наследства...

(так говорит Жаров о пролетариате, возглавляющем революционную Россию).

Не всегда благополучно сочетание времен:

А было так:
Со всех сторон
Москву оцепит вечер,
Займет один, другой район...

Таких вот поэтических клякс можно набрать в книге Жарова еще целые пригоршни.

И все же, несмотря на перечисленные недостатки, «Ледоход» — книга живая, улыбающаяся, свидетельствующая о том, что в Жарове много солнечных сил того класса, который пришел на смену старому до-революционному человеку с расщепленной психикой, больными нервами вечных колебаний меж белым и красным цветом. Жаров органически слит с нашей действенной, мужественной эпохой. Но поэту надо много, очень много над собою работать, чтобы за книгой солидных обещаний, каковой мы считаем «Ледоход», последовали произведения безупречных

поэтических достижений. В стихотворении «Спросонья» Жаров говорит:

Долго, склонившись к моей подушке,
Когда веет кругом тишиной,
Александр Сергеевич Пушкин
Разговаривает со мной...

Пожелаем поэту, чтобы Пушкин перешел от его подушки к его письменному столу.

Федор Жиц.

Недра. Литературно - художественные сборники. Книга седьмая. М. Изд. «Недра». 1925. 294 стр. 2 р.

В седьмой книге «Недр» только «Страна родная» Артема Веселого действительно глубоко берет, разворачивает самые недра революции, а частью и литературы.

«Страна родная» — это кусок романа, повидимому, начало его. Основным языковым тоном повествования взят мужицкий сказ, вернее — мужиковский (не бабий) говор — крепкий, гулкий, матерщинный, в редких случаях добродушный и осторожливый. Но, взявши его за основу, Артем не удовлетворяется одной только стилизацией под мужицкий говор. Артем постоянно обрабатывает его, сдвигает другими, им самим отысканными новыми словами и словосочетаниями. Много таких мест, где, например, остается мужицким, говорным синтаксис, но лексика наполовину своя, артемовская, сделанная либо под этот же говор, либо самостоятельно. Это чрезвычайно ценно, потому что чистая стилизация — путь наименьшего сопротивления.

Композиционно повествование не обнаруживает особой стройности. Оно состоит из ряда крупных и мелких эпизодов и казусов, приверстанных один к другому в порядке только элементарной хронологической последовательности, а в сумме развертывающих картину жизни и смуты одного из глухих, но беспокойных заволжских уездов в годы продразверстки, комбедов, чрезвычайных налогов и крестьянских бунтов.

Героев много. Но каждый из них прежде всего мужик. В каждом дан прежде всего некоторый сборный мужицкий характер, разно проявляющийся в зависимости от той обстановки, в которую он попал, и от той роли, которая ему определена в жизни Клюквинского уезда. Если он попал в председатели исполкома и ему определено нести административную работу в условиях 1919 года, то он хоть и Капустин, Иван Павлыч, побывавший в Сибирь-тайге и еще где-то; а все-таки прежде всего он — мужик, и администрирует по-мужицки. Если он дезертир и бунтовщик Митька Кольцов, — он и дезертирует и бунтует сугубо по-мужицки.

Давая такого рода сборные характеры, Артем с большим уменьем обнаруживает в каждом из них также и индивидуальные черты, делающие каждого живой и ощутимой фигурой.

В основных эпизодах, из которых слагается магистраль повествования, выступает сама мужицкая масса. Эти эпизоды — большею частью, — столкновения массы с руководителями, с представителями власти, с героями повести, — то, что определяет и тему всего разбираемого куска романа в целом.

В характеристике отдельных выступлений массы возражения вызывает один прием, может быть, не сам по себе, а потому, что слишком уж часто и без вариаций он повторяется. Артем дает «голоса из толпы», под-ряд, не прикрепляя их ни к какой определенной фигуре, примерно, так:

«Шатались улицей, сбивались в кучки:
— Начисто гребут.
— Без милости...
— Как хочешь, так и клохчешь...
— Мы, гыт, голодны...»

И так далее. Из недостатков следует еще отметить, что автор вообще не особенно удачно пишет про любовь: мало нового как в самой ситуации любви Ефима и Гильды, так и в разработке ее. Кроме того, фигура Ефима отдает нарочитостью и дешевой карикатурностью. Иногда не очень удачно «образничество» автора — но это лишь в отдельных случаях. Попадаются идущие вразрез с основным тоном мужицкого говора штампованные литературные фразы — но тоже только в отдельных случаях.

Но сконцентрированность внимания автора на мужицкой массе, которая хара-

ктеризована не со стороны, а изнутри, человеком той же мужицкой стихии, а не посторонним наблюдателем, уменье показать эту массу даже в индивидуальном характере, плотная пригнанность всех средств изобразительности и выразительности к выполнению этой основной задачи, самостоятельная работа над мужицким языком — все это не малые достоинства; окончательное суждение о вещи в целом, однако, должно быть отложено до появления романа целиком.

В сборнике есть еще рассказы Никандрова, Бибика и Яблочкова.

Никандров рассказывает о том, как трудно в наши дни интеллигентной женщине, разошедшейся со своим мужем, жить в Москве без квартиры и службы. Старые знакомые от нее отвертываются, приют ей дает ее бывшая горничная со своим мужем — шоффером. Оба весьма милые и простые люди, и так это по народнической старинке оказываются они в глазах героини и автора носителями «неприкрашенной народной правды». Рассказ называется «Любовь Ксении Дмитриевны» — но любви в нем нет. Есть раздраженная переписка героини со своим бывшим мужем и возврат ее к нему после того, как она кончила курсы машинописи. А любовь, как мотивировка этого возврата, только подразумевается.

Бибиком в рассказе «Даешь Минск — Баку» изложен эпизод в вагоне-теплушке с участием неизбежного «балтийского матроса». Бибик не задумывается над человеческим характером. Оттого и не знаешь, что сделает его герой в тот или иной момент рассказа: выпалит из нагана или струсит.

Рассказ Яблочкова «Петр Буянов» написан без запинок, как биография — вот так: сначала Петр Буянов жил с отцом в лесу, потом где-то пропадал, потом появился из центра за хлебом, вызвал крестьянский бунт, чуть-чуть не был убит, несколько дней скрывался в голом и страшном виде в лесу, спасся с приходом красного отряда, — и все время своим поведением старался оправдать свою фамилию — Буянов.

Н. Юргин.

Борис Пастернак. Рассказы. Кн-во «Круг». Москва — Ленинград 1925 г. 106 стр.

Книга прозы с именем поэта на заглавном листе обычно вызывает подозрение в дилетантизме или случайной работе, вообще о чем-то необязательном для автора. Между тем это глубоко несправедливо. Достаточно вспомнить Пушкина и Лермонтова, чтобы опровергнуть этот педантический предрассудок, основанный, быть может, на нескольких неудачных примерах, о которых мы обычно говорим «проза поэта», как бы желая подчеркнуть какую-то серединность, смешанность двух глубоко по существу различных художественных методов в отношении к тому, что называется «миром».

«Проза поэта» — это может быть и высшей похвалой, и крайним порицанием в зависимости от того, какой смысл вкладывается в эти понятия. Если поэту удалось перешагнуть какую-то тонкую границу восприятия чисто поэтического, или — лучше скажем — лирического — и удержать себя в рамках необходимого для прозаика объективного созерцания — он даст прозу, до конца проникнутую тем чувством слова, той внимательностью к явлениям, которых можно искать только у поэтов. Ведь в сущности в каждом хорошем прозаике так или иначе скрывается поэт, независимо от того, удавались или не удавались ему рифмованные строки.

Мы думаем, что рассказы Пастернака принадлежат к хорошему, настоящему виду «прозы поэта». Ее поэтическая подоснова сказывается в некоторой фрагментарности, незаконченности, — пусть это будут минусы, но эта же поэтическая подоснова создает совершенно особую форму художественного зрения, художественной внимательности.

В этом необычайность книги, держащейся на границах дневника или исповеди (художника, конечно), почти физически ощутимой обнаженности всего душевного состава.

Основная предпосылка этой исповеди — единство и глубочайшее сродство всех явлений, их тесная переплетенность, мы бы сказали предельная интимность. Это и составляет поэтическое сердце книги, которую нужно читать медленно погру-

жаясь в отдельные строчки или страницы и не предъявляя к ней наспех заимствованных и дурно понятых суждений о фабуле или сюжете. И если самое трудное говорить необычайно об обычном, уметь показать «надоевшее» так, что мы с изумлением «узнаем» и говорим — «как мы это видели и не знали»,— то все это дано в этой удивительной книге, трудной вовсе не потому, что Пастернак не владеет фабулой, а потому, что его единственная фабула — громкий, во весь голос, разговор о том, о чем мы не умеем говорить или говорим только шопотом. Поэтому семья и детство его основная тема, и повесть о Жене Люверс, ее медленном росте (мы чуть не сказали — долголетнем пробуждении) — не случайно удалась лучше других. Человек медленно прорастает сквозь дремучую толщу мира, его на каждом шагу окружают неслыханные чудеса, очень, впрочем, обычные — улыбка матери, сияние звезды и более прозаический свет лампы. Сквозь все это он, удивляясь, называет свое собственное имя и находит имена для окружающего. Этот момент нахождения имени или слова и есть начало того, что мы называем прозой или поэзией. Вот еще в каком смысле перед нами исповедь художника, погрузившегося в глубоко первобытную почти дословесную жизнь ощущения, первого испытания. Так обусловливается особый способ рассказывания, движущегося описанием частностей и деталей. Каждая частность и каждая деталь расположены, как некоторое подневольное открытие, как необходимая работа нашего художественного сознания, с трудом прокладывающего свой путь сквозь обычное — необычайное, знакомое — неизвестное.

Таковы эти рассказы, которые мы и можем теперь определить, как автобиографию художественного сознания, останавливающегося на всем, потому что в этом и есть его назначение. Поэтому еще раз: книгу Пастернака нужно читать медленно, по строчкам. По ней можно научиться очень многому, прежде всего — подлинному художественному зрению и художественному вниманию. Ее основная суть в стиле, в том как автор находит слова, сплачивает их и создает ту редкую и густую насыщенность, которую следовало бы назвать поэзией прозы, или, если хотите, реализмом в настоящем смысле этого слова.

К. Локс.

В. Шишков. Торжество. Шутейные рассказы. Гиз. Ц. 1 руб. 20 коп.

В небольшой книжечке В. Шишкова «Торжество» собраны его последние (далеко, кажется, не все: так нет «Спектакля в селе Огрызове», рассказа одного калибра с «Торжеством») рассказы из разных «Перцев» и «Му», но среди них есть настолько сильные и настоящие вещи, что они сделали бы честь и серьезному журналу...

Напрасно только автор думает (название книги, по крайней мере, на то указывает), что лучшим рассказом в этой книге является давший название книге. «Нетель» куда смешнее, правдоподобнее и смешнее, и, что главное, в рассказе «Нетель» есть уже то чувство горечи за человека и человеческое, что заставляет читателя не только смеяться, но жалеть и думать, чего в «Торжестве» совершенно не имеется: просто анекдот, хорошо рассказанный и, несмотря на бытовую выписанность и полную реальность всего происшедшего, мало все же характерный — в наших пошехоньях и не то еще наверно бывает, достаточно поглядеть судебные отчеты (да и столица: чего стоит только крылатое—бац и нет старушки!..)— суть не в этом, суть в том, что рассказ мухоморный, выдумка же подчас реальнее жизни в искусстве, такова суть настоящего искусства...

Смешно и только...

Ничего: в этом дело!..

В смысле занятности гораздо интереснее Иван Пузиков, с литературной стороны сильнее разработанный, несмотря на почти отсутствие словесных «эффектов», выхваченных прямо изо рта мужика, чудом избежавшего ликвидации безграмотности, ох, мало ли у нас в СССР лыка не вяжут, но едва ли юморист целиком может опираться на эти недочеты во всеобщем образовании нашей сиволапии...

По крайней мере Шишкову-то такой опоры не нужно...

У него богатое настоящее знание русского простонародного языка, слова и

без того метки и кусливы, чтобы ставить их еще в деффективные ковычки, можно было бы автору совершенно избавиться от них и это было бы лучше...

Так некоторые «сурьезные» беллетристы полагают, что если они к каждому слову диалога будут прибавлять -тя или -те (Вань-тя, Мань-те!), так это, дескать, будет очень народно, красиво и... стильно...

Дело, конечно, не в этом, не в словцах и не в флективных придатках к ним, зависящих от выбитых в драке зубов куда больше, чем от всей природы русского стиля и языка: дело в общей целостной структуре рассказной речи, черпающей свою силу и крепость из неиссякаемого источника, которым был и будет «наш великий, наш русский язык»!..

Шишков стоит как бы на грани между обычным смехотвором и настоящим юмористом; обойдись он построже с мухоморной частью своих рассказов, обопрись исключительно на свое безусловное богатейшее знание языка и народного быта, забудь о необходимости непременно, подчас во что бы то ни стало, насмешить, показывая только два пальца, и перед нами были бы произведения и силы внутренней большой и большого искусства.

С. К.

Д. М. Четвериков. Сытая земля. Рассказы. Изд. «Прибой». Ленинград. 148 стр.

Сборник назван по одному из рассказов: «Сытая земля».

В предчувствии чего-то бодрого, крепкого раскрываю книгу и читаю:

«Большой палец прополз по бубну: Др-р-р-п-п. Колыхнулись узорны сподннчки, плахты. Скрипка припала к плечу, лязгнула струной. И враз, как по уговору, лопнул бубен, забился блестящими серьгами. Смычек лизнул по струнам, ж-жи.

— Э-эх — ходила, говорила, приговаривала.

Уж летит, подбоченясь, парубок, выкидывая ногами. Ленты взметнулись закрутились, так, так!

Старухи в такт гопака потряхивают головами в очипках, дядьки притоптывают чоботом, подливая в чашки горилки».

Пахнуло на меня фламандской беспечностью, которая так нужна теперь литературе — неврастеников слишком много.

Но дальнейшее содержание рассказа ничего общего не имеет с началом.

Оказывается, что центральному персонажу, Павлу Крушу, не по себе, в танцах он участия не принимает:

«Скучно, думает Павло, прислушиваясь, как шуршит поспелое яблоко, падая с хрустом на землю».

Отец думает: женить надо сына, старухи полагают, что «пошептать надо». Причину тоски и сам Павло не знает. Но случайно попал он в кинематограф. Увидел на фильме движение шумного города и сразу оживился. В город потянуло с непреодолимой силой. Распрощался навсегда с сытой Полтавщиной и ушел к неведомым берегам.

Не правда ли, более чем случайно мотивирован уход Павло из деревни в город?

Печать этой же не мотивированной случайности и на других рассказах книги.

А ведь механизм поступков человека должен быть как-то показан. Иначе рассказ сбивается на необязательный к обращению анекдот, хроникерскую заметку. Правда, возможен и импрессионистский налет на тему. Но тогда требуется от художника сюжетная острота, экстрактной крепости образное слово, — умение вдвинуть в две—три странички сжатую пружину, которая в читателе распускается в нечто значительное, запоминающееся. Этого, к сожалению, нет в рассказах тов. Четверикова. Маленькие сценки его напоминают чернильный рисунок на эмали. Потер слегка тряпочкой и никаких следов от рисунка не осталось.

Говорит ли автор о трагическом («Колечко с камушком», «Шинкарчуки», «Тавро»), говорит ли о смешном («Аэроплан», «Табак», «Госпожа идеология», «Шкаф»)— всюду он одинаково легкокрыл и невесом.

Выделяются в книге великолепные две вещицы — «Шайтан» и «Двадцать три версты».

Первая — из жизни татар, о борьбе старого и нового поколения, свежо и стильно написана, вторая — со сдержанной серьезностью и отличным мастерством дает трагическое настроение от расстрела конвоирами пленных солдат.

Федор Жиц.

Ю. Потехин. Люди заката. Роман. Изд. «Жизнь Искусства». Ленинград 1925. Стр. 300.

Среда, в которой разыгрывается действие романа, — белая эмиграция на Балканах. Ее нравы, ее жизнь, ее состояние обрисованы автором самым убийственным образом: полное разложение, грязный разврат, цинизм, воровство, расхищение общественных денег, пресмыкательство перед теми правительствами, в «гостях» у которых эмигранты в данный момент находятся, совершенное отсутствие какой-либо движущей, одушевляющей идеи. Герой романа, Сергей Талузин, бывший «адъютант его императорского высочества великого князя Сергея Михайловича», уголовный преступник, убийца и аферист, является здесь, пожалуй, уж наиболее привлекательной фигурой: это, по крайней мере, человек сильный, энергичный, авантюрист в крупном масштабе. Остальные просто мелкие жулики, мародеры.

Помимо Талузина, в центре романа — еще две фигуры: жена его, Нина Евгеньевна, которая ничем существенным не отличается от обычной героини романа, и офицер Вешкин, куколка, из которой вылупится будущий сменовеховец. В начале романа мы видим его на распутьи: он изверился в своих прежних верованиях, дезертировал из белой армии, но выхода не видит: пока в нем лишь отвращенье к войне и страх перед большевиками. Но постепенно он все больше начинает чувствовать, что советская Россия это и есть настоящая Россия, а эмигрантская — призрак, фантом. Когда красные войска подходят к Варшаве, он ощущает в себе патриотическую гордость. Дальнейшая эволюция Вешкина обрывается (вместе с романом), но автор намекает на возможность продолжения ее в особой книге.

В романе можно явственно различить две струи: с одной стороны, приключенческую (быстрые темпы, загадочные исчезновения, переодевания, убийства, сыщики и т. д. — в таком духе разработана история Сергея Талузина), с другой — психологическую (темпы вялые, замедленные, обстоятельные дневники и письма, вещие сны и предчувствия и т. д. — Это, когда автор переходит к Нине Евгеньевне и Вешкину). В манере Потехина проскальзывает некоторое сходство с эренбурговской. Впрочем, стилист он несравненно более слабый. Психологизм его тоже не первого сорта. Но двух крупных достоинств у романа, во всяком случае, отнять нельзя: его занимательности и его значения, его убедительности как художественного документа, характеризующего жизнь и нравы белой эмиграции.

А. Лежнев.

П. Иванов. От станка к баррикаде. Роман. Изд. «Прибой». Ц. 1 руб. 40 коп.

Понемногу мы начинаем отвыкать от неверной, ошибочной в искусстве мысли, что о рабочем непременно лучше всех напишет сам рабочий, и о революции непременно должен лучше всех написать сам ее участник...

Конечно, вне всякого сомнения, важно социальное происхождение, воспитание, весь воздух, в котором протекала писательская жизнь, но также не менее важно и то, что на-ряду со всеми этими вполне и непреложно существующими в писательской судьбе реальными факторами есть некий ирреальный фактор, чрезвычайно часто и реально дающий себя чувствовать: это фактор перевоплощения в своих героев и в ту среду и жизнь, которую писатель хочет отобразить в своем произведении...

Из рабочей среды в будущем несомненно может появиться новый... Оскар Уайльд, а, скажем, из мелкой разночинной среды совслужбы—бытописатель революции.

Неизвестно: на чьих плечах покоится «голова безумца»!

Так, роман рабочего и революционера П. Иванова не кажется нам произведением высокой значительности и скорее придется

согласиться с той частью предисловия т. Сосновского, где высказывается твердая надежда, что «настоящая книга когда-нибудь окажется полезной для будущих художников»...

Б этом никаких сомнений быть не может.

Тот же т. Сосновский очень правильно указывает, что П. Иванов, «новичок в литературе, совершенно неискушенный в технике литературного творчества, зато хорошо знает технику революции».

Имея дело в данном случае с литературным произведением, нам кажется не лишним указать автору на непреложный в романе факт: отсутствие какой бы то ни было формы, какого бы то ни было литературно-художественного замысла делает роман чрезвычайно неправдоподобным, героев — почти фантомами, невоплощенными в словесную плоть, и, несмотря на то, что пишет сам участник событий, события эти кажутся надуманными, и словно всего этого не было, тогда как все говорит за то, что... как раз наоборот: было, было, было!..

Достаточно беглого, любого, небольшого примера:

Главный герой разговаривает с рыбаком:

— Добрый вечер!— остановился Чакрыгин, оглядывая блестевшую холодом реку.

— Спасибо! — выпрямился рыбак, бросая в корму черпак.

— На сазанов? — оглядел пахнущего рыбой лодочника Чакрыгин.

— Нет, сомов думаю сзывать, — подтянул мягкий кушак рыбак.

— Дело хорошее! — взглянул на поднимавшуюся красную луну Чакрыгин.

— У вас спички есть?—свернул папиросу рыбак.

Чакрыгин гибким движением подал спички.

— Самый лов сейчас, — закурил рыбак, освещая лохматую бороду и коричневое лицо.

— Большие сомы ловятся? — заинтересовался Чагрыгин.

— Когда как, — сплюнул в реку рыбак. — Фунтов десять, двадцать, а иногда — пуд и больше.

— А самого большого, какого весу вам удалось поймать?

— Больше трех пудов не доводилось...— вздохнул рыбак.

— Давно ловите? — посмотрел на суховатого рыбака Чакрыгин.

— Как титьку бросил сосать, так и ловлю, — засмеялся рыбак.

Так с рыбаком рассусоливал бы по меньшей мере эн-эс, заговаривая зубы издалека и заискивающе засматривая в «глаза народа», еще далекого от общего духа бунтарства. Да и сам-то рыбак... больно вежлив!

Неважно: был ли этот разговор у самого автора с рыбаком или он его выдумал, важно уметь с рыбаком разговаривать, уметь слушать, как разговаривает рыбак, и, самое главное, знать тайну преображения того и другого в высшую реальность искусства, когда все это переносится на бумагу. Чтоб быть простым в искусстве, надо иметь «хитринку».

Такого преображения с начала до конца в романе нет и при таком отношении к слову и быть не может (будет продолжение романа).

Роман П. Иванова по своей природе, в сущности, относится к тому типу беллетристики, который у нас в последнее время начинает занимать совершенно самостоятельное место в истории литературы последних лет. «К новой жизни» Решетова, отчасти «Неделя» Либединского, многое другое менее талантливое в том же направлении, и, наконец, вот роман П. Иванова — все это вместе создает особый род «вспоминательной поминовенной литературы», часто приближающейся к типу мемуаров, конечно, только с другим духом и материалом.

С этой стороны роман П. Иванова уступает в яркости и художественной правдивости всем вышеперечисленным его тезкам.

С. П.

Д. Хаит. Мост. Повесть. Рабочее издательство «Прибой». Ленинград 1925 г. Стр. 84.

Сюжет прост и несложен: от разрухи до нового строительства. Взят трафаретно без всяких внутренних и внешних коллизий. События разматываются ровным, однообразным клубком, «ноющим», как больной зуб. Ни одного яркого момента. Ни одного яркого лица.

Это все такие моменты, с которыми можно было примириться; в худшем случае они оставили б пустое место. Но в книжонке этой есть то, о чем надо поговорить: есть ужасающая безграмотность как в смысле простой речи, так и в смысле знания рабочего быта.

Язык книжонки:

«грязь хлюпалась под колесами» (стр. 9); «Орлов зацепился глазом» (стр. 18); «Пахов вскидывал глаза» (стр. 19); «стальным молоточком ударилось слово» (стр. 24); «глаза бегут зверками» (стр. 25); «он запахивает рот платком» (стр. 26); «ветер крутился в волосах» (стр. 31); «он запахивался дымом» (стр. 34); «Левин крутнул руками» (стр. 52); «Пахов крутнул головой» (стр. 73) и т. д.

Не лучше обстоит дело с сочностью и «образностью» этого языка:

краснозвездная точка; биллиардношарая голова; кнопколицый рязанец; мокрошинельная масса; тряхнул рыжеволосьем; тряхнул каштанами (это про волосы, очевидно, каштанового цвета!); в бумагах барахтались вопли; масленые бутерброды (автор, очевидно, не понимает значения слова «бутерброд»); стрелка часов царапалась к двум, и т. д.

Звукоподражания у автора «изумительны»: из горла шло хлип... хлип...; из рукомойника вода кап... кап...; в воде слышалось ууть... ууть...; барышни на машинках пам... пам...; стучала по клавишам тук... тук...; колокольчик дрзынь... дрзынь...

Всего не перечислить. Здесь и «распоряжение» о введении нэпа, и сейчас же на партсобрании решают сдавать помещения в аренду:

— Завтра, ну послезавтра вы будете выдавать ордера на торговые помещения. (Разговор в день получения декрета.) Тут же, кстати, принимается объявление в газету от синдиката (тоже дня через два).

А на 77-й странице «крейсер закружился у берега вальсом». Приличная лодка и та не стала бы этого делать по двум причинам: во-первых, если закружиться, то не вальсом, а в вальсе; а, во-вторых, у берега слишком мелко. Для крейсера это неподходящее: весьма он грузен для этого дела.

Но оставим все это в стороне и подойдем к самому большему злу, приносимому такими книжонками. Я хочу сказать о том языке, на котором говорят в книге Ханта рабочие, красноармейцы и вообще «низший» персонал.

Это не язык рабочего, а язык «для рабочего», преподносимый халтур-фельетонистами и выдаваемый за «настоящий» язык «простонародья».

Из уст рабочего ни одного правильного слова. Грубое, нечуткое коверканье провинциального борзописца, вложенное в уста рабочего.

«Не могу уйтить» (милиционер); «кот наплакала на спецу ету» (рабочий о спецодежде); «гайки у воде...»; «ен должен получить» (матрос); «скусная мамалыга» (рабочий); «Ен не губернатер, ен — ревком» (рабочий); «учерась что говорил?» (рабочий); «разговорились оратеры» (мастер); «на деяле» (красноармеец, вместо на «одеяле»); «фатеры»; «редахтер»; «чичас»; «бывалоча»; «зайдить»; «ерой»; «всамделе»; «требовается»; «ахвицеры»; «как жа»; «кажну неделю»; «дык каюже»; «на себе спытал»; «англичанский»; «по-рассейски»; «каператив»; «мериканский»; «у ей на шляпе эспра»; «партея»; «адиноличная»; «зафком»; на каждой странице десятки таких идиотизмов, выдаваемых за язык рабочего.

И этот скверно-пахнущий маргарин преподносится рабочим издательством для потребы библиотек, уголков и «адиноличных» читателей.

Как хотите, а в отношении непериодических изданий «барахтаются вопли» (как выражается автор «Моста»).

Давным-давно пора «крутнуть головой» на подобную литературу.

Виктор Якерин.

Вяч. Полонский. Русский революционный плакат. Стр. 4 нен. + 192. 129 черн. илл. в тексте и на отд. стр. 62 цветн. литогр. на отд. лист. ГИЗ. М. 1925 г.

Книга, о важности, значении и интересе которой даже и не приходится говорить. Русский революционный плакат эпохи гражданской войны и военного коммунизма имеет столь большое и историческое и художественное значение, что книга, посвя-

щенная этому вопросу, представляет совершенно исключительную ценность. Ценность эта тем более велика, что автор в свое время стоял в самой непосредственной близости к работе над плакатом и сообщает в своей книге такие подробности об условиях и обстановке работы над ним, которые иначе исчезли бы для историков. Сам он не считает свою книгу исчерпывающим исследованием вопроса. Время для этого действительно еще не настало. Но если даже считать эту книгу только материалом для будущих исследований, то и тогда ценность ее громадна. Достаточно сказать, что в ней прекрасно воспроизведено 25% сохранившихся плакатов, и дан очень хорошо составленный список, насчитывающий 854 названия, тематически разделенный на 10 разделов. Таким образом создан тот основной свод, к которому можно будет добавить в дальнейшем, вероятно, не слишком много. Книга эта невольно ассоциируется со знаменитым трудом Д. Ровинского «Русские народные картинки», и если она уступает ему в своей монументальности (в ней нет, например, передачи текста плакатов полностью), то ее историографическое значение едва ли будет меньшим.

Но было бы несправедливым назвать эту книгу только сводкой материалов, приписав ее текстовой части значение только очерка. Достаточно сравнить ее текст с той небольшой статьей того же автора (журнал «Печать и Революция» 1922, кн. 2), из которой и выросла рецензируемая книга, чтобы заметить, что этот небольшой очерк превратился здесь в солидную уже работу. В ней дана не только фактическая история русск. рев. плаката, но и намечена основная линия его развития: со стороны содержания от туманной аллегории в четкой, конкретной, ярко-классовой интерпретации заданий момента, а со стороны формы от первых малоудачных перегруженных композиций к все большему выявлению плакатных свойств лаконичности, моментальности восприятия и воздействия. В начале книги дана краткая история зарождения плаката и очерчены основные его свойства. Не будучи специалистом в области пространственных искусств, автор, однако, сумел сказать о плакате самое важное даже и со стороны художественной. С его оценкой работ отдельных, наиболее выдающихся плакатистов можно в общем согласиться. Сущность же нашего рев. плаката такова, что можно даже быть довольным, что о нем написал не искусствовед, но человек, близкий и к революции, и к политической агитации.

Одной из очень ценных мыслей книги следует признать утверждение, что плакат был искусством революционных масс, что его диктовала живая жизнь, что он — создание «революционной улицы». Это совершенно ясно из сопоставления нашего плаката с плакатами белых, чье бессилие и мертвенность обусловливались органической невозможностью для плаката говорить языком масс. И именно потому, что «этими раскрашенными листами говорила сама эпоха, с ее кровью и слезами, с отчаянием и ненавистью, с ее безоглядной решимостью победить...» (стр. 79), книга сразу же безраздельно захватывает читателя. Пересматривая ее, надолго уходишь в воспоминания о днях, столь недавних и столь героических. Оживает все трепещущее напряжение этих лет с их муками и надеждами, с их нищетой и пафосом. В этих листах снова оживает и оборона Ленинграда, и забота о замерзающем водопроводе... Но интересна эта книга и не только для нас. За границей она, кажется, уже имеет крупный успех, который едва ли требует объяснения.

О ней как-то не хочется писать обычным рецензионным языком, сухим и немного брюзгливым, тщательно выискивая недостатки. Из них, пожалуй, главным является то, что автор забыл упомянуть о тех рисованных от руки, порой грандиозных плакатах и декоративных росписях, которые делались в огромном количестве и в столице и в провинции для различных празднеств и манифестаций. Это следовало сделать, поскольку автор совершенно справедливо отмечает на-ряду с собственным плакатом и родственные ему явления — расписанные вагоны агитпоездов и «Окна Росты». Воспроизвести эти росписи, конечно, было невозможно, так как они все погибли, но упомянуть о них следовало бы. Также несколько неоправдано ограничение списков только литографированными и литогра-

нюрными плакатами. Они, правда основной, подавляющий тип нашего рев. плаката, но хотя бы известные, наиболее интересные типографские плакаты упомянуть следовало. Издана книга превосходно с хорошо переданными иллюстрациями и умелой версткой. Хотя, быть может, в последовательность расположения репродукций хотелось бы внести большую систематику. Под снимками агит-поездов следовало бы сделать подписи, а в подписях под плакатами — проставить годы относительно тех плакатов, датировка которых возможна. Качество издания обусловило его чрезвычайно высокую цену. Было бы желательно видеть книгу переизданной в более дешевом виде для массового читателя, которого она, конечно, заинтересует.

Федоров-Давыдов.

Декабрист И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма из Сибири. Редакция и биографический очерк С. Я. Штрайха. 4 портрета И. И. Пущина. Изд. Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. М. 1925. 368 стр.

Приближается столетний юбилей декабризма. К нему приурочивается большое количество изданий, и названная книга является одной из первых.

Она составлена одним из видных знатоков декабризма. С. Я. Штрайху принадлежит значительное количество статей о декабристах и несколько книг: „Восстание Семеновского полка", „Брожение в армии при Александре I", „Декабрист М. И. Муравьев-Апостол", „Воспоминания и письма", „М. С. Лунин. Сочинения и письма" и др. В ряду этих работ книга о Пущине является самой ценной. Составитель готовился к ней лет десять—отдельными статьями в журналах. Он отлично знаком и с печатной литературой по декабристам, и — не менее того—с архивными материалами. И это благоприятно отразилось на книге.

Она открывается биографическим очерком И. И. Пущина, составленным полно, точно, живо и тепло (пять печатных листов). Затем центральную часть книги занимают знаменитые „Записки" Пущина о Пушкине. Далее следует собрание писем Пущина, потом выдержки из дела Пущина по процессу декабристов, потом примечания к запискам, письмам и процессу, указатель литературы о Пущине и наконец—указатель имен.

Все это выполнено весьма тщательно. Записки о Пушкине выверены по автографу в Пушкинском Доме. Письма собраны в замечательной полноте: напечатано 104 письма, из них 64 — впервые (в названии книги почему-то сказано: „Письма из Сибири". Но в книге собраны все письма Пущина—и до Сибири, и из Сибири, и после Сибири). В примечаниях воспроизводятся и письма к Пущину, много разнообразных сведений и о Пущине, и о Пушкине, и обо всей эпохе. Библиография обильная и хорошо систематизированная. Указатель имен облегчает справки.

Книга одинаково важна и для самого И. И. Пущина, одного из виднейших деятелей Северного Общества, и для поэта Пушкина, и для политической и литературной истории. Необходимо отметить изящную внешность книги.

Книга выпущена комиссией Всесоюзного Общества политкаторжан по празднованию столетнего юбилея восстания декабристов, и это очень удачное выступление.

Н. Пиксанов.

Достоевский. Статьи и материалы под ред. А. С. Долинина. Изд. «Мысль». Л. 1925. Тираж 2.000. Стр. 590+121+V.

Имя Достоевского продолжает не сходить со страниц нашей печати. Рассмотрению его творчества посвящаются все новые и новые книги. Вслед за своим первым объемистым сборником статей по Достоевскому, А. С. Долинин ныне выпустил под своей редакцией второй том, не менее обширный, чем первый.

В сборник вошли статьи по исследованию художественного творчества Д-го, его биографии, текстологические исследования, эпистолярный материал и опыт библиографии Достоевского. Материал разнообразный и разноценный.

Все статьи, посвященные творчеству Достоевского, отличаются своим сугубо-психологическим характером, местами даже переходящим в некие мистические тона, за исключением лишь этюда Гроссмана и статьи Долинина. Статьи все

эти, за исключением упомянутых, читаются довольно тяжеловато и на-ряду с целым рядом интересных мыслей в них встречаешь немалое количество разного рода нудных ненужностей. Прежде всего никому не нужна первая статья — рассуждение Аскольдова о психологии характеров у Достоевского, — трактующая о двойничестве героев Достоевского, о тесной связи образов у Д-го, так как эта статья не дает ничего существенно нового. В. Комарович («Роман «Подросток» как художественное единство») рассматривает построение романа с художественно-телеологической точки зрения, стремясь показать, что принципом художественного единства «Подростка» являются отношения Версилова и Ахмаковой. Б. Энгельгардт рассматривает вопрос об «идеологическом» романе у Д-го. В своей статье, наиболее интересной в этом сборнике, Энгельгардт совершенно справедливо подчеркивает, что Достоевский не хотел быть историком «средне-высшего нашего дворянского круга». Достоевский же, по Энгельгардту, «изображает духовную жизнь интеллигенции в аспекте оторванности ее от народа и почвы». Поэтому у Достоевского нет быта, конкретной действительности, а лишь идеология, нет статики, устойчивости, а есть лишь постоянная динамика, отсюда-то и проистекает то обстоятельство, что у Достоевского не бытовой, а идеологический роман. Этот генезис идеологического романа вообще правильный, хотя, конечно, Достоевский вовсе уж не так сильно был оторван от реальной действительности (деклассирован), как это представляется автору статьи. Динамизм, отвлеченность Достоевского проистекает не столько вследствие оторванности Достоевского от реального, действительности, сколько от самого характера той действительности, которую изображал Достоевский (мещански-буржуазную). Классификация основных идей романов Достоевского носит спорный характер, кроме того, в эту классификацию необходимо внести и социальный принцип. А. Долинин («Тургенев в „Бесах“») подробно и убедительно рассматривает и классифицирует пародийный материал в «Бесах», касающийся Тургенева. Долинин устанавливает неправоту Тургенева, обвинявшего Достоевского, что тот якобы осмеивал «Призраки», им же самим принятые в свой журнал. «Призраки», как целое, в «Бесах» пародированы не были. Л. Гроссман отмечает глубокое стилистическое мастерство Достоевского в создании исповеди Ставрогина, близкой к общей традиции конфессионального жанра.

Биографические исследования возглавляются статьей А. С. Долинина «Достоевский и Суслова», где, на основании дневника последней, рассказывается об отношениях Сусловой к знаменитому писателю. Любовь Достоевского к Сусловой была, несомненно, одним из значительных событий в жизни Достоевского, недаром последний называет ее своим «другом вечным». Любовь их носила типичный «достоевский» характер.

Эпистолярный материал количественно представлен весьма богато, большинство писем имеет, главным образом, значение для биографии Достоевского. Из писем Достоевского к Тургеневу отметим настойчивое желание Достоевского иметь Тургенева сотрудником своего журнала, хотя, как это нетрудно заметить, из соображений не идейных, а из стремлений укрепить положение своего журнала привлечением знаменитого романиста. В переписке Майкова с Достоевским особенно отметим письмо Майкова от 13—VI—79 г. о разногласии с Достоевским по поводу прогрессивного заявления Достоевского на тургеневском обеде. Это разногласие намекает на некое значительное внутреннее социальное расхождение Достоевского и Майкова, быть может, знаменитая дружба Достоевского и Майкова носила, главным образом, житейский характер.

А. Долинин и Д. Абрамович проделали полезную работу по наблюдению текстов повести «Кроткая», отрывков «Бесов» и вариантов речи Достоевского о Пушкине.

Статья А. Долинина «К цензурной истории журналов Достоевского» нужна для внешней истории этих журналов. Особенно нужно отметить неизданное программное объявление «Эпохи».

Библиографический указатель, составленный Н. Соколовым, изучающему Достоевского пригодится.

Не блистающий особыми достоинствами второй сборник о Достоевском в редакции Долинина интересующемуся этим писателем прочитать вообще не мешает.

Арк. Глаголев.

Лестер Джемсон и Коллегия «Плебса». Очерк марксистской психологии. Перевод с четвертого английского издания под редакцией и с предисловием проф. М. Рейснера. К-во «Современные проблемы». Москва 1925 г. Стр. 226.

Л. Джемсон. Очерк психологии. Перевод с английского Л. Дунаевского под редакцией и с предисловием проф. П. П. Блонского. ГИЗ. Москва 1925 г. Стр. 164.

«Прекрасное и сжатое руководство, которое целиком построено на основе материалистического мировоззрения и проникнуто теорией исторического материализма» (Рейснер).

«Нет сомнения, что «Очерк психологии»... сыграет большую роль в истории русской психологии и в качестве очерка марксистской психологии» (Блонский),—так оценивают работу английской лиги «Плебс» и д-ра Л. Джемсона оба редактора двух вышедших почти одновременно русских переводов. К сожалению, именно с точки зрения основных положений марксизма и исторического материализма приходится несколько усомниться в теоретической ценности книги. Я не буду давать исторического обзора путей, приведших к данной ступени «психологии», что отчасти делает в своем предисловии Блонский, а перейду прямо к содержанию книги. Эта «марксистская психология» своими частыми ссылками на таких различных авторов, как Фрейд, Адлер, Джемс, Мак-Даугол, Уатсон и др., при полном почти отсутствии критического освещения изымаемого материала и, что самое главное, наличием ряда внутренних противоречий и неувязок производит впечатление типично-эклектической. Уловить за отдельными, может быть, и верными сами по себе положениями то систематическое единство, которое мы вправе ожидать от работы, ставящей своею задачею дать новое в теоретическом отношении, хотя бы и в масштабе популярной книжки, представляется затруднительным. Тем более трудно видеть в ней психологию от марксизма, который представлен здесь некоторыми своими «общими местами», не связанными, однако, со всем остальным содержанием книги. Это не значит, что авторы вовсе беспринципны или противоположны нам по своей идеологии. Так, тенденцию к объективизму и, пожалуй, обще-философскому материализму, с оттенком прагматизма, достаточно выявляет их настоятельное подчеркивание детерминизма в человеческом мышлении и поведении и, с другой стороны, недоверие к данным самонаблюдения, хотя, надо сказать, ими при этом слишком выдвигается на первый план фрейдовская теория бессознательных комплексов, как всеопределяющей силы, в связи с чем и ум (интеллект) определяется только как орудие предвзятости в руках бессознательного, что, впрочем, не мешает авторам указывать на огромную роль именно сознания в приспособлении человека к среде (§ 48).

Значительно более холодными выявляют себя авторы в отношении к историческому материализму и диалектике. Определив многообещающе в I главе задачу психологии, как изучение способов, которыми человек реагирует на среду, созданную материальными условиями производства, авторы в дальнейшем не только не пытаются указать какие-либо соотношения между «сознанием» человека и его текучим экономическим и социальным бытием, но и покидают вовсе диалектическую точку зрения. Уже во 2 главе они приводят ряд таких одинаково статических, абсолютных определений «сущности» влечения или «цели жизни», как, например, взятое у Адлера, по которому всякое человеческое существо рождается с волей к власти и первенству, тогда как не лучше ли было, эту последнюю черту, стоя на почве выдвинутых в 1 вводной главе положений, попытаться понять, как производную определенных преходящих социально-производственных отношений. Тот же Адлер далее цитируется в главе о «комплексе недостаточности, как факторе человеческого прогресса» (§ 114), самое заглавие которой показывает постановку вопроса, в корне не приемлемую для историка

исходящего из материалистических, не идеологических предпосылок.

Эти черты подхода к предмету нам говорят о том, что авторы, отказавшись от психологии «внутреннего опыта» в пользу психологии поведения, не отказались еще от психологии человека вообще в пользу психологии конкретного классового человека, стоящего на определенной ступени биологической и социальной эволюции. На стр. 26 авторы прямо говорят, что, по их мнению, «человеческая природа лишь немного изменилась за последние 30 тысяч лет». Как это прекрасно согласуется со словами Маркса, цитируемыми в предисловии т. Рейснера, о том, что «действуя... на внешнюю природу и изменяя ее, он (человек) в то же время меняет собственную природу» и приводимыми в дальнейшем же изложении — опять противоречие — несистематизированными примерами того, как «у человека способность образовывать привычки под влиянием общественной или экономической среды часто приводит к аннулированию таких врожденных тенденций поведения, которые унаследованы человеком от его предков, находящихся еще на биологической стадии существования» (§ 104).

В связи с этими взглядами понятен и тот факт, что об индивидуальных различиях авторы говорят с точки зрения общих, неизвестно откуда взятых критериев, что позволяет им утверждать (по данным испытания 1.700.000 человек призванных в армию, заимствованным у Годдарда), что «среднее умственное развитие среднего человека (среднего избирателя в демократическом государстве) оказалось развитием нормального ребенка в возрасте от 13 до 14 лет» (§ 81), или подписываться под такими делениями «темпераментов» (термин этот употреблен здесь в необычном смысле «общего результата взаимодействия между интеллектом и врожденными эмоциональными тенденциями, в процессе формирования поведения») как деление на «устойчивых и не устойчивых» (Троттер), на «твердых» и «мягких» (Джемс) и пр. (§ 84), не обоснованные ни биологически, ни социологически, явно субъективного порядка. Очевидно, дифференциальная психология еще не мыслится авторами, как психология конкретных социально-классовых (и профессиональных) и биологических типов.

То же, что имеется здесь под рубрикой «социальной психологии», очень недостаточно и преимущественно освещает психологию толпы, опять-таки абстрактно взятой, а не «организованного» общества в его жизни, тогда как именно здесь изложение могло бы приобрести специфически-марксистский характер, при условии учета экономических и социальных раздражителей и типических реакций на них, характеристики классов в конкретных исторических условиях, в развитие уже проделанного Марксом (см. предисловие т. Рейснера, а также другие его статьи), наконец, подхода к основным хотя бы образованиям общественной культуры с объективно-психологической стороны.

Ввиду отсутствия всех этих отделов и общей теоретической непроработанности книга, собственно, лишается права называться «марксистской психологией», развитие которой мы еще полагаем на будущее, оставаясь очерком элементов общей психологии и психофизиологии, который с некоторыми, правда, довольно значительными, поправками был бы пригоден как недурная популяризация.

Оба издания снабжены интересными предисловиями редакторов, при чем, однако, только Блонский в своем предисловии делает некоторые существенно-нужные для массового читателя критические предостережения. Издание ГИЗ отличается сверх того наличностью небольшого словарика психологических терминов и несколько меньшей ценой.

А. П—в.

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Мясницкая, Кривоколенный пер., д. № 14. Тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературные края

За рубежом

От земли и городов

Критика и библиография